

Г
Р
А
Н
И

ГРАНИ

GRANI

57

57

Postverlagsort: Frankfurt/Main, Januar 1965

1965

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XX

№ 57

1965 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

*** — «Мы шли этапом. И не раз...»	3
Биография В. Я. Тарсиса	7
ВАЛЕРИЙ ТАРСИС — Палата № 7. (Повесть)	9
Л. Д. — Писатель В. Я. Тарсис и мировая пресса	111
Русская поэзия за рубежом: Дмитрий Кленовский, Анна Запольная, Борис Филиппов, Михаил Дараганов, Ираида Легкая, Борис Нарциссов, Тамара Величковская	117

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ГЕОРГИЙ МЕЙЕР — Фаталист (к 150-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова)	125
ГЕРМАН ЕРМОЛАЕВ — Партийное решение (Резолюция ЦК РКП(б) от 1925 г.).	142
А. ПОПЛЮЙКО — Хирургия «Хулио Хуренито»	158

ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА

СЕРГЕЙ ЛЕВИЦКИЙ — Б. П. Вышеславцев (1877-1954)	164
АЛЕКСАНДРА МАЗУРОВА — Трагедия науки	176
С. КУЧЕРОВ — Собственность в Советском Союзе	182

БИБЛИОГРАФИЯ

Б. Сергеев. Длинный путь (автобиография Питтирима Сорокина). —	
Э. Райс. Люди культурной миссии. — Л. Дувинг. Ожившая старина. —	
С. Левицкий. О религиозно-философском Ренессансе — О. К. Первая боевая организация большевиков — В. Цветков. Новое о Жанне д'Арк.	204
Хронология важнейших событий (январь-июль 1964 г.).	230

Это стихотворение прислано из России. Ни имя автора, ни судьба его неизвестны.

Р е д а к ц и я

* *
*

Мы шли этапом. И не раз,
колонне крикнув «Стой!»,
садиться наземь, в снег и грязь,
приказывал конвой.
И равнодушны и немые,
как бессловесный скот,
на корточках сидели мы
до окрика «Вперед!».
Что пересылок нам пройти
пришлось за этот срок!
И люди новые в пути
вливались в наш поток.
И раз случился среди нас,
пригнувшихся опять,
один, кто выслушал приказ
и продолжал стоять.
И хоть он тоже знал устав,
в пути зачтенный нам, —
стоял он, будто не слыхав,
все так же прост и прям.
Спокоен, прям и очень прост,
среди склоненных всех,
стоял мужчина в полный рост,
над нами глядя вверх.
Минуя нижние ряды,
конвойный взял прицел.
«Садись! — он крикнул. — Слышишь, ты?

Садись!!» Но тот не сел.
Так тихо было, что слышать
могли мы сердца ход.
И вдруг конвойный крикнул: «Встать!
Колонна! Марш! Вперед!»
И мы опять месили грязь,
не ведая, куда.
Кто с облегчением смеясь,
кто — бледный от стыда.
По лагерям, — куда кого, —
нас растолкали врозь.
И даже имени его
узнать мне не пришлось.
Но мне высокий и прямой
запомнился навек
над нашей согнутой толпой
стоявший человек.



Валерий Яковлевич Тарсис

БИОГРАФИЯ В. Я. ТАРСИСА

Валерий Яковлевич Тарсис родился в г. Киеве, в сентябре 1906 г. Его отец по происхождению грек, мать — украинка, Елизавета Ефимовна Приходько. До революции отец Тарсиса работал на складе нефтяных продуктов знаменитой фирмы «Бр. Нобель». После революции он переехал в Баку и работал на нефтеперегонном заводе. В 1942 г. погиб при неизвестных обстоятельствах, при эвакуации этого завода.

Валерий Яковлевич Тарсис учился в киевской десятой школе, которую окончил в 1924 г. Затем поступил на историко-филологический факультет университета в Ростове-на-Дону, который и окончил в 1929 г.

После окончания университета В. Я. Тарсис работал редактором в издательстве «Художественная литература» до 1937 г. Начал печататься в 1929 г. Первая опубликованная книга — «Современные иностранные писатели». Первый рассказ «Ночь в Заречье» опубликован в «Новом мире» в 1935 г. Первая повесть «Дездемона» — в «Новом мире» в 1938 г.

В. Я. Тарсис работал как переводчик. Всего им опубликовано 34 книги переводов.

В 1939 г. писатель задумал большую эпопею о сталинской эпохе, чтобы прежде всего уяснить самому себе, что это такое — социализм. Следует заметить, что писатель смолоду был настроен революционно, и многие из его родни были революционерами. В предвоенные годы Тарсис много ездил по стране, собирал материал для своей эпопеи «Прекрасное и его тень». Но война прервала его занятия.

В июне 1941 г. В. Я. Тарсис отправился на фронт корреспондентом армейской газеты в звании капитана. Принимал участие в Сталинградской битве. Дважды был тяжело ранен (ранения с пе-

реломом костей). Около года пролежал в госпитале в гипсе, без движения. Там познакомился со своей женой, Розой Яковлевной Алкснис. Ее отец — Яков Алкснис, латыш, член партии с 1903 г., брат его командовал советской авиацией и был расстрелян в 1937 г. по приказу Сталина.

Вернувшись с фронта (войну писатель окончил в Иране), В. Я. Тарсис снова взялся за свою эпопею «Прекрасное и его тень». В течение одиннадцати лет ежедневно над ней работал. Четыре тома раскрыли перед писателем страшную бюрократическую твердыню, вырождение советской власти.

В. Я. Тарсис снова принялся за изучение действительности, в этот раз послесталинской. И чем больше он ее узнавал, тем больше приходил к убеждению, что советская власть — не социалистическая, а тоталитарная, полицейская, ничем не отличающаяся в своей основе от гитлеризма. В эти годы им была задумана трилогия «Город Раздольный». Написаны все три романа: «Веселенькая жизнь» (см. Грани №№ 54, 55), «Комбинат наслаждений» и «Тысяча иллюзий». Затем последовали «Сказание о синей мухе» (см. Грани № 52), «Красное и черное» (Изд-во «Посев»), книга новелл, три книги стихов, философские памфлеты и стихи в прозе.

В 1960 г. В. Я. Тарсис решительно порвал с партийной организацией и с руководством Союза писателей СССР. Сначала писателя уговаривали, затем запугивали.

Начиная с 1961 г. писатель настойчиво обращался с просьбой разрешить ему выехать с семьей в Италию. Затем обратился с письмом непосредственно к Н. С. Хрущеву. Ответа не последовало. В течение 1962 г. Тарсису удалось передать за границу свои рукописи. После чего, 23 августа 1962 г. писатель был арестован и заключен в психиатрическую больницу им. Кащенко. В феврале 1963 г. он был освобожден и в настоящее время находится дома. Власти продолжают преследовать писателя: никакой работы В. Я. Тарсис не может получить. Его единственное желание — вырваться на Запад, в свободный мир.

В помещаемом в этом номере журнала новом произведении В. Я. Тарсиса «Палата № 7, во многом автобиографичном, запечатлена история ареста и насильственного полугодового пребывания писателя в тюрьме нового типа, характерного для карательной политики послесталинского периода.

ПАЛАТА № 7

*Раскачка такая пойдет,
какой еще мир не видал...
Затуманится Русь, заплачет
земля по старым богам...*

Ф. ДОСТОЕВСКИЙ

1

ПРОСПЕКТ СУМАСШЕДШИХ

*Каждый старается как можно меньше
походить на самого себя. Каждый при-
нимает уже указанного хозяина, кото-
рому подражает. Однако можно иное
прочесть в человеке. Но не смеют. Не
смеют перевернуть страницу. Законы
подражания — я называю их законами
страха.*

АНДРЕ ЖИД

Стоял сентябрь — месяц увядания, цвели, розовели безвре-
менники. Тоска, словно тяжелая секира, с глухим и неясным гу-
лом раскалывала дни, как дубовые бревна в серые щепки, пах-
нувшие прелым листом.

Может быть, основное и главное для Валентина Алмазова и
заключалось в тягучем, однообразном, слишком медленном тече-
нии нескончаемой реки времени. Возможно, и даже весьма ве-
роятно, что вокруг не происходило ничего существенного, — да
и что еще может случиться в этой шестой части мира, мало-по-
малу превратившейся, в силу неимоверного сужения масштабов
советского крохоборческого существования, в одну шестьдесят
шестую.. Валентину Алмазову давно уже казалось, что даже в
княжестве Монако масштаб жизни обширнее, чем в наглухо за-
крытом концентрационном лагере, где некогда жила, неистово
буйствовала, верила, разочаровывалась и снова буйствовала,
бунтовала святая Русь.

Он шагал — высокий, светлорусый, кареглазый, румяный, моложавый (никак не дашь ему полвека озорного и пропащего круговращения) — как всегда возбужденный, легкой пружинистой походкой по длинному коридору, конца которого не видно было в тусклом мареве утра. Рядом с ним шел геолог Павел Николаевич Загогулин, его ровесник, тоже очень моложавый, краснощекий брюнет, юношески-подвижной, и скрипач Женя Диамант, круглоголовый, медлительный, словно был он уж очень умудрен двадцатью двумя прожитыми годами и безумным хаосом мира, внезапно открывшимся перед ним.

Позади, как всегда, шла толпой чёртова дюжина — постоянная свита Валентина Алмазова, который очень быстро стал признанным главарем тридцать девятого отделения главной психиатрической больницы Советского Союза.

Было еще совсем рано.

Лиловые тени клубились в углах, зловещие и безмолвные. На диванах и стульях дремали, спали, храпели сестры, фельдшера, сиделки, санитары; за окнами качались светло-желтые тени фонарей, громыхали грузовики с бидонами, ведрами, ящиками, перекликались дворники: сквозь открытые фрамуги доносились их голоса, грубые и хриплые; и непрестанно звякали ключи в замочных скважинах, хлопали двери. Вперед и назад по нескончаемому коридору, прозванному Проспектом Сумасшедших, торопливо шли врачи, сестры, буфетчицы, рабочие, иные — бегом, вприпрыжку, другие вразвалку, запыхавшись, как шестипудовая тетя Лена — всеобщая любимица; она только что вернулась с утрени из церкви Никола-на-Посадьях, со всеми приветливо здоровалась, с прибаутками и присказками, и трижды перекрестила Валентина Алмазова, за которого молилась ежедневно, а по воскресеньям заказывала молебен во здравие.

До завтрака оставалось еще более двух часов, но на проспекте было уже шумно, и суетилось множество людей. За эскортом Валентина Алмазова шагали парами и группами, — шла утренняя разминка так называемых больных. Вначале трудно было понять, чем они отличаются от здоровых, но потом становилось ясно, что они тем только и отличаются, что они действительно здоровые, смелые, несгибаемые, неугодные и непригодные для рабского существования.

Шагали люди, измученные бессонницей, бездеятельностью, безвыходностью опостылевшего призрачного бытия. В углах и нишах небольшие группы и одиночки делали утреннюю зарядку,

и, как всегда, громко гнусавил Леонид Соловейчик, требовавший, чтобы дежурная сестра открыла ему шкаф, где хранились продукты больных — приношения родных.

— Я голодаю, я умираю с голоду! — орал он, наступая на оробевшую сестру. Его дряблые щеки, тройной подбородок, живот беременной бабы тряслись от возмущения; на вид ему можно было дать сорок лет, хотя еще только недавно ему минуло двадцать два. Никто не знал в точности, кто он, — каждому Соловейчик врал и сочинял легендарные биографии, за день — десяток версий, явно лживых и противоречивых, — но это его не смущало, и если его кто-нибудь уличал, он говорил жалобно, не находя другого оправдания:

— Но я ведь больной.

Так он последовательно числился студентом-медиком, помощником кинорежиссера, журналистом, чекистом. Отец его — старик, тщедушный и подавленный, — говорил с ним робко и заискивающе, хотя был каким-то ответственным работником; ему было стыдно, так же как и всем остальным, за эту неприятно пахнущую тушу; пожалуй, больше и не было таких отталкивающих личностей среди полтораэта пациентов тридцать девятого отделения. Соловейчик был болен только невероятной распущенностью единственного сына крупного советского бюрократа. Впервые он попал сюда, как и многие другие, чтобы избавиться от службы в армии, а затем отправился в сумасшедший дом после особенно диких походов — краж, спекуляций, изнасилования.

Валентин Алмазов сравнительно недавно находился в палате № 7, где занял тринадцатую койку в углу, около окна с небьющимися стеклами, двойными рамами, наглухо заколоченными и затянутыми изнутри полотняными занавесками, чтобы нельзя было смотреть на улицу, где росли молодые тополя, цвели цветы, бегали кошки, ходили люди, и вообразить, что там идет какая-то жизнь. Но Валентин Алмазов, давно уже знавший, что хаос существования поглотил на его земле все живые родники, имел однако, про запас, как и все настоящие люди его злосчастной страны, один неистощимый родник живой воды, питавший его душу в лихие годы плена. Этот неиссякаемый родник — неутомимое, вечно юное, полное надежд и упований воображение. Оно день и ночь рисовало перед ним картины настоящей, свободной, светлой жизни, которая кипела и бурлила в свободном мире, и

оттого, что он был лишен ее, она казалась ему, быть может, еще во много раз прекраснее, чем была в действительности.

В сущности, для Валентина Алмазова, так же, как и для его друзей, единственным мерилom Прекрасного была свобода. После сорока лет, — страшные сороковины! — каторги и злодеяний, у него и у всех честных русских людей, томившихся в неволе, стерлись представления о добре и зле; вернее, всё казалось злом, и о добре уже никто не помышлял, не вспоминал, разве только старики, еще помнившие незабвенное доброе время, казавшееся теперь потерянным раем.

Валентин Алмазов понимал, что без добра не может быть настоящей жизни, но ему также ясно было, что надо прежде всего обрести свободу, вызволить народ из чудовищного плена, убрать с лица родной земли преступных уродов и затем уже осуществлять новые идеалы Добра, — искать их заново, когда будет зажжен светильник Свободы...

Шум на Проспекте Сумасшедших всё нарастал, — приближался час завтрака. Все с нетерпением поглядывали на закрытые створки буфетной, ждали, когда они, наконец, раскроются и миловидная буфетчица Маша начнет выставлять на стойку тарелки с нарезанным хлебом, сахаром и крохотными квадратиками сливочного масла, а дежурные побегут по палатам, выкрикивая:

— На завтрак!

Некоторые любили подольше поваляться в постели. С них бесцеремонно срывали одеяла, подталкивали. Вот появился на Проспекте и единственный больной — Карен. Впереди выступал его непомерный живот, напоминавший большой барабан; затем выплывала овальная черноволосая голова, вечно смеющиеся миндалевидные глаза, лучистые и мечтательные, тугие малиновые щеки и руки, в непрерывном движении описывающие замысловатые узоры в мглистом воздухе.

Места за столиками в столовой были заняты еще в семь часов утра, — завтракали и обедали в три очереди, — но Карену охотно уступали место. Жалели. Ему было двадцать пять лет; тринадцать из них он провел в больнице, известной в России под названием Канатчиковой дачи. Карен всё время разговаривал, умопомешательство его последовало за менингитом; и говорил он почти только о себе, редко о других, и всегда в третьем лице. Он любил Алмазова и, подойдя к нему, сказал:

— Вот он — Карен мой любимый, Карен мой родимый, ми-

лый, обреченный армянин. А ты зачем здесь сидишь, глупый — не можешь найти лучшего места?

— Не могу, Карен. А где лучше?

— Дома лучше. Была у Карена мамочка Наташа вчера. Принесла Карену рубаху. А домой не берет.

На лице его появилась блаженная улыбка, как всегда, когда он говорил о матери, а упоминал он о ней очень редко. Он умел также ненавидеть. Соловейчика презирал, и когда тот к нему приставал с расспросами, кричал:

— А тебе какое дело?

— А мама твоя красивая, — сказал тот однажды с плотоядной улыбкой.

Тогда Карен размахнулся, ударил его наотмашь так, что из носа Соловейчика хлынула кровь, и он завизжал, как свинья, которую режут.

— Не надо драться, Карен, — сказала укоризненно сестра Дина, высокая, с иконописным византийским профилем.

— Почему не надо? Надо! Он гадкий. А ты красивая, такая ты красивая.

И Валентин Алмазов подумал, что даже этот единственный больной, тоже неизвестно зачем здесь находившийся (ведь он был неизлечим, и его не лечили), был тоже более достойным, чем здоровые окаменелости нелюди, мучившие народ, — Карен умел любить и ненавидеть.

Валентин Алмазов между тем убеждал Василия Голина, художника, изможденного, с выцветшими глазами человека неопределенной профессии, возраста, судьбы, родом из Камышина, что он витает в небесах, а жить надо на земле. Голин вместе с молодым философом Иваном Антоновым создали теорию «раскрепощения советского разума от сталинских оков» и верили, что им удастся убедить нынешних вождей перейти на их позиции, и жизнь станет прекрасной, — оба они соглашались, что так дальше жить нельзя.

— Поймите, наконец, что конфликт нашей эпохи носит характер особый, исключительный, небывалый, — говорил Алмазов. — И, разумеется, не имеет ничего общего с политическими кризисами предшествующей истории. И это чистейший идиотизм узколобых маньяков — утверждать, что возможно мирное сосуществование двух антагонистических лагерей. Ведь сегодня дело идет не о том или ином режиме или системе равновесия, а о главном — быть или не быть человеческой личности. Единственная

непререкаемая ценность на земле для человека — это свобода личности. А коммунисты выдвинули альтернативу: не человек, а коллектив, не личность, а стадо. Но разве человечество пойдет на то, чтобы превратиться в безмолвное и безмозглое стадо? Нет, оно скорее согласится на гибель. И надо понять, что Запад, весь свободный мир ведет борьбу не за торжество каких-то политических формул или систем, а за спасение ЧЕЛОВЕКА от стремления превратить его снова в человекообразную коммунизированную обезьяну. Поймите, понадобились десятки тысячелетий, чтобы из стада выделилась Личность; и вот в человечестве обнаружилось атавистические инстинкты, ностальгия по стаду. И не случайно эти низменные тенденции возникли у «пролетариев», нищих духом, и закономерно их вождями являются узколобые фанатики. Ни один из гениальных мыслителей, которые всегда являются аристократами духа, от Гераклита до Ницше, не мог бы создать столь убогое и жалкое учение, как этот бородатый немецкий филистер Маркс. И только тупоголовые талмудисты наших дней, а также демагоги и злодеи, вроде нашей правящей камарильи, могут за ним следовать. Правда, я ни на минуту не сомневаюсь, что Человек победит обезьяну. Нельзя сомневаться, что в новый век Россия вступит свободная и обновленная, и няньки будут пугать наших внуков зловещей кличкой коммуниста. Однако отмечаю все эти ханжеские коммунистические доктрины — скромность, самопожертвование, мирное сосуществование, сокращение человеческих способностей и возможностей до одной немудреной трудовой операции в жизни-конвейере, доведение потребностей до нищенского материально-духовного рациона. Это — пуританское ханжество лицемеров под революционной маской, новая схоластика, более отвратительная, чем средневековая, новое рабство, страшнее вавилонского.

— Может быть, вы все-таки преувеличиваете, — сказал Голин. Голос у него был какой-то бесцветный, полусонный, вялый, словно он вот-вот уснет, даже глаза у него часто закрывались, когда он говорил дольше, чем одну-две минуты. Настойчивость его казалась не настоящей, а деланной.

— Преувеличивать и преуменьшать, по сути дела, — одно и то же. Ведь вся наша действительность сегодня — гроздь мыльных пузырей на тонкой нитке. Если бы миллионная армия полицейских не охраняла этих творцов и продавцов ярко размалеванных мыльных пузырей, народ давно порвал бы эту нитку, рассеялись бы в пространстве все эти мыльно-пузырчатые иллюзии

вместе с их создателями. Разве можно преувеличивать или уменьшать качества мыльных пузырей? И с одинаковым правом можно называть эти качества достоинствами или недостатками. Все дело в том, как воображение нарисует их тебе. А для того, чтобы нарисовать образ Правды и посмотреть ей прямо в глаза, нужно обладать воображением богатым и смелым, — к сожалению, вы, Василий Васильевич, находитесь в плену у призраков прошлого, совершенно оторвались от реальной почвы и не можете приземлиться. Вы наивны, как рыцарь печального образа, и ваши попытки дальше сумасшедшего дома вас не доведут. О, Боже, какая уйма напрасных жертв! Исааки толпами, уже не по инициативе отцов своих, а по своей собственной, поднимаются на алтари и ложатся под нож тирана вместо того, чтобы самим взять ножи в руки и резать разжиревших жрецов.

— На завтрак, давайте, давайте! — выкрикивал гнусавым голосом фельдшер Стрункин. — Ну что тебе — особое приглашение, Самделов? — крикнул он маленькому, страшно худому старичку, у которого было вечно испуганное лицо, такое жалкое и сморщенное, словно он вот-вот заплачет. Стрункин уже подталкивал его пинками, а когда Самделов сел, крикнул:

— Ну-ка, давай овсяную кашу... живее.

— Михаил Самойлович, ради Бога... не могу есть, я чай выпью... пожалуйста...

— Никаких чаев! Ешь! — Стрункин взял со стола почерневшую оловянную ложку, ткнул ее в миску, потом поднес ко рту Самделова и стал левой рукой разжимать ему губы, попутно потчывая несчастного зуботычинами:

— Ешь, балда, не то в пятое отделение пойдешь.

Пятое отделение для буйных было пугалом, которого все страшились; там ни с кем не церемонились. Могли даже избить до потери сознания, никто за это не отвечал. Всем больным, за редким исключением, говорили «ты», независимо от того, был ли это рабочий, колхозник, ученый, художник или музыкант. Самделов, известный библиограф, был, как многие другие, водворен сюда родственниками, захотевшими избавиться от присутствия нежелательного человека; этот прием широко применяется социалистическими гражданами для того, чтобы расширять свою скудную жилищную площадь, — ведь нередко две семьи живут в одной комнате. Никакого психического заболевания у Самделова не было. И то, что его поместили в тридцать девятом отделении,

которое одновременно служило клиникой института усовершенствования врачей, было большой привилегией.

Кроме единственного безнадежно больного Карена, остальные фактически отбывали здесь наказание, ниспосланное им советской судьбой, более страшной, чем все злосчастные судьбы мира. Непонятно было, почему затесался один больной среди здоровых. Одни говорили, что он просто здесь содержится как наглядное пособие для курсантов. Другие утверждали, что состоятельные родители Карена, — отец и мать были научными работниками, — дали администрации изрядную мзду. Но всё это не имело значения. В этом застенке, где влачили свои дни обреченные узники, Карен был единственным баловнем судьбы.

— Наконец-то я увидел счастливого человека на этой проклятой Богом земле, — как-то сказал своим друзьям Валентин Алмазов. — И в первый раз за полвека.

Карен действительно был счастлив. Пребывая в блаженном неведении, он был уверен, что живет в лучшем из миров, и поэтому его не терзала извечная тираническая мысль каждого человека о том, что нужно улучшить, по крайней мере, свою жизнь, если уж для мира ничего сделать нельзя. Он всегда что-нибудь напевал или разговаривал с самим собой; это было понятно, — у него не могло быть более интересного собеседника, который бы так хорошо понимал его и сочувствовал его радостям и светлой грусти, изредка набегавшей, когда он становился «милым обреченным армянином». Он почти достиг состояния нирваны, не затрачивая на это почти никаких усилий, в то время как тысячи мудрецов достигали его нечеловеческим трудом и нередко ценою жизни. Карен не успел узнать, что такое зло. Все его любили, и даже Стрункин и санитары, походившие на трактирных вышибал, никогда не трогали его, называли ласково — Каренчик, Кареш. Он обладал аппетитом Гаргантюа, и все его угощали сладостями, фруктами, закусками; он никогда не впадал в уныние, только порой слишком бурно выражал свою жизнерадостность, и тогда ему вливали под кожу амиозин для успокоения.

За окнами в лазурно-золотистом воздухе кружатся багряные и желтые листья, мир прекрасен, и где-то вдалеке, там, где заходит солнце, живут люди; живут, а не существуют; а здесь можно только наесться до отвала, потом весь день болтать о жизни там, где нас нет, принять лошадиную дозу снотворного, спать, если удастся.

— Таблетки, таблетки, получайте!

Все покорно выстраиваются гуськом перед столиком дежурной сестры. Отказываться от лекарств нельзя, иначе предстоит болезненный укол. Врачи, ничего не смыслящие в психиатрии, ибо учили их, особенно на практике, только полицейскому шарлатанству, ставили диагнозы, как им вздумается, да это и не играло роли: все равно лечили всех одинаково, — неврастеников и шизофреников, маньяков и параноиков, возбужденных и подавленных; лечили, главным образом, аминоксином, как чеховский фельдшер всех лечил касторкой.

После завтрака — обход. Все расходятся по палатам. Санитарки моют полы, убирают. Больные в ожидании обхода лежат на койках — все в поношенных полосатых пижамах, которые меняют раз в десять дней. Лежат, разговаривают, ругают скверную невкусную пищу, персонал, жизнь, мир.

В палате № 7, где коротает свои дни Валентин Алмазов, всякой твари по паре. Но когда люди разных судеб вытягивают один жребий, перекресток, где они встречаются, становится на время их родным общим домом. А для Валентина Алмазова эта палата стала как бы его священническим приходом — через месяц он уже знал всех своих прихожан.

Их можно было разделить на три большие категории.

Первая, самая распространенная, состояла из самоубийц, потерпевших неудачу в час расставания с постылым существованием. Было общепризнанно, — руководителями, врачами, идеологами, писателями, — что если человеку не мил социалистический рай, он — сумасшедший и его надо лечить. Холопы-врачи, в своей лакейской угодливости перед начальством, услужливо выдвинули теорию, согласно которой только психопат может покушаться на свою жизнь. Стало быть, не ужасные, невыносимые условия жизни, а болезнь толкнула их на самоубийство. Их лечили всё тем же аминоксином — месяцами, иногда годами. Многие привыкли к этому существованию и даже не хотели уходить. «На воле не лучше, а скорее хуже», — говорили они меланхолически.

На Проспекте Сумасшедших почти не видно было пожилых людей; покушавшиеся на свою жизнь были почти без исключения молодые.

Вторая по численности группа состояла из так называемых «американцев». Это были люди, пытавшиеся установить связь с каким-либо иностранным посольством (большей частью, американским — отсюда и происходила кличка) или с туристами из

свободного мира. Среди них были и смельчаки, высказавшие желание эмигрировать.

Наконец третья группа, с менее выраженным амплуа, состояла из молодых людей, которые не могли найти себе определенного места в нашей жизни, отвергали все стандарты, сами не зная иногда, чего хотят, но зато твердо знали, чего *не хотят*. Прежде всего, они не хотели быть солдатами. Им внушала отвращение сама мысль о военной муштре, необходимость с утра до ночи выслушивать казенные истины, которые они считали фарисейством и ложью. Особенно невыносимой казалась им дисциплина. Они не хотели ничему и никому подчиняться, их тошнило от упоминания о *Родине*, общественных работах и нагрузках, которые все-таки приходилось выполнять (почти все они были комсомольцами, а комсомольский билет был почти так же обязателен, как аттестат зрелости для поступления в высшее учебное заведение). Зато пребывание на Канатчиковой даче давало наверняка освобождение от военной службы, что устраивало всех, а многим, сверх того предоставляло время для размышлений, возможность посмотреть на действительность со стороны, можно было помедлить с принятием решений, выбором пути, уйти надолго из родного дома и избавиться от ненавистной опеки родителей. Иным это даже нравилось. Один студент, когда его выписывали, чуть не плакал.

— Учиться мне неинтересно, — жаловался он Валентину Алмазову. — Работать еще меньше. А здесь меня никто не заставляет делать то, чего мне не хочется. Встречаешь много замечательных людей, я уже здорово отшлифовал свой мозг беседами, игрой в шахматы и прочей умственной гимнастикой. А там на воле все заняты только отупляющей глупистикой. И родители не мешают жить. Вы не представляете себе, какой это тяжелый и нудный балласт — все эти родители, особенно, передовые, опытные, образованные. Мой папахен — профессор, его деятельность не раз отмечена правительственными наградами, сентенции и нравоучения валяются на мою бедную голову, как из рога изобилия, обалдеть можно. В официальных кругах принята версия, что у нас нет проблемы отцов и детей. Дети, мол, естественно продолжают героические дела отцов. Но это утверждение, как и все официальные оптимистические доктрины, — ханжество и фальшь. На деле это выглядит совершенно иначе. Дети не только не желают идти по героическому пути отцов, заведшему их в тупик, но попросту не обращают никакого внима-

ния на отцов, в лучшем случае — снисходительно посмеиваются над их героизмом, а порой посылают к чертям. Когда мой высокоученый папахен разглагольствует, мне это в одно ухо входит и тотчас же выходит в другое. Хотя, должен сказать, у нас действительно были настоящие героические отцы, те, которые расстреляны сталинскими сатрапами или которые сейчас отсиживаются в сумасшедших домах и на тому подобных курортах. И скажу вам без утайки: ребята, которым посчастливилось иметь таких отцов, не нам чета. Они знают всему настоящую цену, — и прошлому, и нынешнему режиму, — и знают, что им делать.

— А что именно?

— Не надо спрашивать. Вы сами учитесь этому. И я тоже ваш ученик.

К этой группе молодых, большей частью находившихся здесь по просьбе родных, можно причислить и пожилых, вроде Самделова и Загогулина, тоже находившихся здесь по проискам их близких. Все они пришли в палату № 7, обитель Валентина Алмазова, разными путями, большей частью против воли, поэтому тюремный режим казался им нормальным.

По-видимому, этот режим казался нормальным и врачам, которые, несмотря на удручающую скудность их познаний, всё же не могли не видеть, что больных здесь нет. Но если обитатели Канатчиковой дачи не были больными, то и врачи не были врачами, а просто полицейскими надзирателями над шестью тысячами неблагонадежных граждан. Кстати, когда была основана больница, то и в дореволюционные годы число больных никогда не превышало тысячи. Палата № 7, а потом и все остальные стали называть лечащих врачей — лечащими *врагами*. Сочинили «психический интернационал», в котором были такие куплеты:

Вставай трудом обремененный
весь мир психических рабов,
кипит наш разум возмущенный
при виде лечащих врагов.

Это есть наш последний
и решительный вой,
с аминозином
завянет род людской.

По утрам все дружно распевали этот гимн.

Заведующая отделением Лидия Архиповна Кизяк, женщина неопределенного возраста, неуловимой внешности, но вполне определенных взглядов и профессии — манекен полицейского врача, была уверена, что все эти песни сочинял Алмазов, и просила его не вести антисоветской пропаганды. Алмазов с недоумением смотрел в ее пустые стеклянные глаза, и ему казалось, что если распахнуть халат Лидии Архиповны, то под ним окажется не человеческое тело, а кукла из папье-маше, пахнущая дешевым одеколоном.

— Вы полагаете, что я способен заниматься такой бесполезной чепухой? — спросил Алмазов.

— Это не чепуха, и вы только себе вредите.

— Советская власть всеми своими злодеяниями вот уже скоро полвека ведет антисоветскую пропаганду, — и делом, а не словами, — так что состязаться с ней я не берусь.

Она так опешила, что безмолвно повернулась и почти бегом удалилась из палаты. С тех пор она редко заглядывала в палату № 7; она очень боялась больных, никогда с ними не разговаривала наедине и если к ней кто-нибудь обращался, когда она проходила по Проспекту Сумасшедших, она делала вид, что не слышит, ускоряла шаг и торопилась укрыться в своем кабинете.

Таким же отвратительным полицейским высшего ранга был Абрам Григорьевич Штейн. Он тоже ничего не смыслил в душевных заболеваниях, полагал, как все марксисты, что психические болезни происходят из каких-то функциональных физиологических деформаций, и не признавал никакой души; в самом слове «душа» ему мнилось нечто антисоветское. Он был отталкивающее самоуверен и груб, больные его ненавидели. Остальные врачи представляли собой разновидности комбинированных обликов Штейна-Кизяк с незначительными вариациями. Однако были и счастливые исключения: главный психиатр министерства здравоохранения академик Андрей Ефимович Нежевский и еще сравнительно молодой врач, заместитель Кизяк, — Зоя Алексеевна Махова.

Нежевский, высокий, стройный, с отливающим тусклым блеском серебристым ежиком, с умными пронизательными глазами, веселый, остроумный, подвижной, несмотря на свои семьдесят четыре года, ученый с мировым именем, часто бывал за границей на различных конгрессах, конференциях, симпозиумах, семинарах. На Канатчиковой даче ему показывали только наибо-

лее интересных пациентов, которых врачи боялись и опасались лечить обычными средствами.

Андрей Ефимович знал, что именно надо предпринимать в каждом случае, но еще лучше знал, что настоящее лечение — неосуществимо, конечно, в советских условиях.

Он был последователем Ганди, тщательно изучал индийскую философию и прекрасно понимал, что советская действительность десятилетиями террора, злодеяний, войн, страха, насилия и неуверенности в завтрашнем дне исковеркала все человеческие души, что вполне психически здоровых вообще не существует и не может быть в подобных нечеловеческих условиях и что лечить душевные потрясения можно только одним-единственным лекарством — приемлемым образом жизни; это был основной метод лечения французской школы психиатров. Поэтому он считал, что смешно называть больными манией преследования советских людей, которых уже сорок лет преследуют, у которых отцы расстреляны или замучены в концлагерях. Надо перестать преследовать людей только за то, что советский режим не приводит их в восторг, надо восстановить демократию, которая у нас полностью ликвидирована, представить людям свободу, прежде всего свободу передвижения, ибо многих, очень многих дальнейшее пребывание в советском раю грозит окончательно свести с ума и толкает на самоубийство. Упорно поговаривали, что чуть ли не половина москвичей находится на учете в психиатрических диспансерах. Через одну Канатчикову дачу ежегодно проходит до семнадцати тысяч больных, а ведь существует еще много больниц; например, в знаменитых подмосковных «Столбах» содержалось одновременно до двадцати тысяч душевнобольных. Упорно говорили также, что под Казанью есть специальная психиатрическая больница, где фактически содержатся тысячи политических заключенных. Андрей Ефимович, конечно, знал, что неугодные попадают сейчас не в тюрьмы, а в сумасшедшие дома, и был глубоко возмущен этим лицемерием; таким образом можно было утверждать, что этих людей не подвергают репрессиям, а «лечат».

Андрей Ефимович с глубокой горечью сознавал, что этой беде он помочь не может; его вмешательство вызвало бы отставку, а жить без людей, без труда он не мог. И старался по мере сил помогать отдельным лицам, наиболее достойным. Метод его был незамысловат: лечить так, чтобы не повредить здоровью, какими-нибудь нейтральными снадобьями, и, подержав для видимости

человека месяца два, выписать его как здорового. Авторитет Андрея Ефимовича был настолько велик, что никто из полицейских не посмел бы ему перечить или заподозрить его в недобросовестности. Кроме того, — что скажет Европа? Можно наплевать на своих, но с чужими приходится считаться — мы ведь тоже европейцы.

Когда Андрей Ефимович говорил об успехе советской психиатрии, он добродушно улыбался, — улыбка его была обаятельной и обезоруживающей, — и как-то однажды он сказал:

— Что ж, из чеховской палаты № 6 мы, пожалуй, перешли в палату № 7, более благоустроенную.

«И более страшную, невольно подумал он и вспомнил американскую тюрьму Синг, со всем современным комфортом, — можно ли это считать прогрессом социальной справедливости, морали?»

Палата № 7 была несравненно комфортабельнее палаты № 6, но всё же Андрей Ефимович, постоянно читавший и перечитывавший Чехова, всегда находил, что и сегодня можно было с полным правом повторить чеховские слова как оценку нашей действительности:

«Осмотрев больницу, Андрей Ефимыч пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. По его мнению, самое умное, что можно было сделать, это — выпустить больных на волю, а больницу закрыть. Но он рассудил, что для этого недостаточно одной только его воли...»

Разумеется, обстановка изменилась, внешне всё прилично — чисто, порядок. Однако учреждение это было еще в большей степени безнравственным и вредным, так как здесь не лечили больных, а калечили, и больницу превратили в тюрьму.

Андрей Ефимович Нежевский, академик и главный психиатр, видел нечто знаменательное в том, что он является тезкой чеховского доктора из «Палаты № 6» и что их мысли и переживания во многом совпадают. С большой душевной болью перечитывал он чеховские строки:

«Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но, чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право».

Он мог бы уйти с работы, — возраст вполне позволял ему это, персональная пенсия обеспечила бы его несложные нужды, — но Андрей Ефимович не мог не работать. Он знал, что одиноче-

ство в большой и уютной квартире, «черные мысли, как мухи» (слова из романса, который он пел в студенческие годы) быстро сведут его в могилу — в лучшем случае, а в худшем — приведут его в отчаяние, куда-то на самый край ночи.

И он решил примириться с теорией «малых дел», которую зло высмеивал в юности. Ничего не поделаешь, — у старости другие требования, другие законы. Андрею Ефимовичу казалось, что если ему удастся ежегодно спасать несколько человек от принудительного «лечения», это будет не меньше, чем спасти их от казни, тоже усовершенствованной, но не менее тяжелой для души.

А спасти человеческую душу, может быть, и не малое дело...

С врачами Андрей Ефимович обращался небрежно, даже несколько заносчиво, не потому, что его натуре присуща была надменность, а потому, что не уважал их, не любил, как всех чиновников вообще. А медицинские чиновники казались ему особенно отвратительными, — среди них он выделял ответственных работников министерства здравоохранения, которые захлебывались от сознания собственного величия и хвастались, как истые хлестаковы. И он снова вспоминал слова чеховского доктора: «...Сущность дела нисколько не изменилась: сумасшедшим устраивают балы и спектакли, а на волю их все-таки не выпускают. Значит, всё вздор и суета...»

И что-то страшное, невыразимое вселялось в его душу, когда он читал: «Я служу вредному делу и получаю жалованье от людей, которых обманываю; я нечестен. Но ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла: все уездные чиновники вредны и даром получают жалованье... Значит, в своей нечестности виноват не я, а время... Родись я двумястами лет позже, я был бы другим».

Однако родиться на двести лет позже Андрею Ефимовичу не хотелось. Он часто жалел, что не родился двумя тысячелетиями раньше, в Элладе — стране философов и поэтов. Люди настолько измельчали, что ему даже не с кем было побеседовать по душам; все озабочены мелкими и мельчайшими личными делами, — квартирами, приработком к скудной зарплате, публикацией никому не нужных «трудов», поисками теплого местечка, «доставанием» манной крупы и лапши; а сколько сплетен, интриг, злословия, — какая сногшибательная пошлость! До революции русская интеллигенция была в десять раз выше... Такое невероятное измельчание! Даже читать нечего. Да, прав был Мережковский — «Грядущий хам!» Какой пророк!

Книги советских писателей Андрей Ефимович никогда не читал, а их самих даже не считал писателями, а литературными чинушами, достойными презрения.

У него не было друзей, родные разбрелись по белу свету, с врачами он не общался. В последнее время он, однако, начал сближаться с Зоей Алексеевной Маховой, которую поначалу тоже не замечал. Их настоящее знакомство и последовавшая затем дружба начались при обстоятельствах необычайных, но об этом потом. А пока хотелось бы сказать, что Зоя Алексеевна, которой шел тридцатый год, производила на всех окружающих впечатление обманчивое, — все без исключения представляли ее себе совсем не такой, какой она была в действительности. Высокая, с горделиво посаженной головой на тонкой шее, с темно-каштановыми волосами, с глазами, как спелый чернослив, с каким-то зловещим отливом, властными и строгими, она казалась всем сухой, самодовольной и жестокой, не терпящей возражений эгоисткой, но в действительности она была великомученицей, которая не могла примириться с этой нечеловеческой жизнью и, вместе с тем, не могла уйти от нее ни на шаг, так как любила людей и жизнь со всей присущей ей страстностью, особенно после того, как потерпела окончательную неудачу в семейной жизни. Муж ее, тоже врач, был невозмутимым сухим педантом, одним из тех твердокаменных чиновников, которые морщились, когда при них произносили слова «сердце», «душа», «вдохновение». Детей у них не было, — супруг считал, что дети помешают их «плодотворной деятельности на благо родины», требующей «отдать себя всего служению людям и науке», — так он высокопарно декламировал не раз. Но на самом деле он не служил ни родине, ни людям, ни науке, а только себе. Карьерист и ловкий лицемер, он к сорока годам успел стать одним из помощников министра и ведал всеми психиатрическими учреждениями.

Зоя Алексеевна от него не уходила, хотя и нельзя сказать, чтобы она жила с ним. В стране социализма тысячи и тысячи мужей и жен так жили и живут годами, совершенно чужие и даже враждебные, — разойтись почти невозможно из-за квартирных условий. Можно было зарабатывать любые деньги, но квартиру мог дать только всесильный жилотдел, и приходилось ждать по десяти и даже по двадцати лет, а пока жили, как правило, по четыре-пять человек в одной комнате и даже по две семьи.

Кроме того, высокопоставленный супруг Зои Алексеевны, разумеется, член коммунистической партии, считал развод неудоб-

ным для карьеры. Она пока не возражала, — ей было безразлично, с какими соседями жить. Они почти не встречались, и ей не хотелось терять удобную квартиру, да и идти было некуда, — она вела большую научную работу, в практической повседневности была беспомощной. Да и то, что она жила с мужем в одной квартире, ни к чему ее не обязывало.

Зоя Алексеевна любила свою профессию, боготворила науку и очень страдала от того, что всё происходившее в больнице не было наукой, а только одними правилами, как в палате № 6, так потрясающе описанной Чеховым. Больше всего страдала она от недоверия больных. Она хорошо знала, что когда больной не доверяет врачу, не только вылечить его нельзя, но и невозможно поставить правильный диагноз.

Зоя Алексеевна настойчиво и мужественно преодолевала эту преграду на своем трудном пути. Она часами просиживала с каждым больным, старалась завоевать его доверие. Но слишком часто она ничего не добивалась. И вот неожиданно-негаданно помогло ей одно случайное обстоятельство; в тот день и привлекла она особое внимание академика Нежевского.

2

ГОЛГОФА

— Я предпочитаю, чтобы наступил конец света, — со вздохом сказал Дориан. — Жизнь — слишком большое разочарование.

— Ах, мой дорогой, — воскликнула леди Нарборо, — не говорите мне, что вы исчерпали всё, что дает Жизнь. Когда человек это утверждает, для меня ясно, что Жизнь его опустошила.

ОСКАР УАЙЛЬД

Жизнь беспощадно опустошила всех, кого Валентин Алмазов встречал на своем долгом и извилистом пути.

У большинства даже не хватало сил дойти до врат ада, — в чистилище они так долго засиживались, что у них немели ноги, они уже не претендовали на высшую оценку судей, — ведь процесс этот долгий, мучительный, и никогда нет уверенности, что

тебе удастся доказать твоё право на место в раю или хотя бы в преддверии рая. Судьи Судьбы никого не торопили, у них было много дел и они охотно разрешали претендентам продлить срок пребывания в чистилище, тем более, что оно становилось все более похожим на крошечный ад, — и люди там часто дотлевали, — не каждому дано вынести жар адского огня.

Но Валентин Алмазов, прожив полвека, оставался молодым и сейчас был в самом расцвете своей седой юности. Не думайте, что это фантазия автора, прошло время Бальзака и Уайльда: Валентин Алмазов не сохранил юношеской внешности Дориана Грея; его высокий лоб был изборожден морщинами, волосы приобрели цвет соли с перцем, как говорили его друзья-итальянцы. В общем, — внешность пожилого человека.

Внешность...

Но разве человека в какой-то мере характеризует его внешность? Разве не был прекрасен горбатый урод Квазимодо?

Душа Валентина Алмазова была такой же молодой, неистойвой и страстной, противоречивой, сумасбродной, задорной, влюбчивой, как в незабвенные семнадцать лет. И в этом была его трагедия.

Собственно говоря, единственное, что он твердо знал о себе, — что всегда будет семнадцатилетним, даже если проживет сто лет. У него не было и тени ощущения того, что обычно называют опытом, умудренностью. Напротив, чем старше он становился, тем меньше у него оставалось уверенности в том, что он обладает каким-то ценным опытом или положительными знаниями. Всё увиденное и усвоенное в юные и зрелые годы казалось ему зыбким, эфемерным, недостоверным. Люди, которых он как будто хорошо знал, представлялись ему теперь малознакомыми, и он уже никого не считал своим другом, товарищем, братом. Все родственники, жена, братья, сестры были для него людьми далекими, и он порой удивлялся, что они бесцеремонно входят в его комнату, вмешиваются в его жизнь, дают ему советы; «что этим людям нужно от меня?» — думал он всё чаще, хотя все они были людьми обыкновенными, скорее — хорошими, добрыми, отзывчивыми.

Валентин Алмазов потерял всякое представление о том, что люди вокруг него называли злом, добром, моралью, убеждениями, верой; ему казалось, что всего этого давно уже нет на его родине, которую он считал не матерью, а злой, отвратительной мачехой. Ему трудно было также оценить свою жизнь, поступки.

Жить ему было поэтому невероятно тяжело и мучительно. Знал он только одно: так дальше жить нельзя, немислимо, это не жизнь, а омерзительное существование, достойное пресмыкающихся гадов, а не человека. Слова перестали звучать, они не имели никакой силы, шуршали как сухие опавшие листья, — безжизненный мусор. И чтобы чем-то убеждать людей, надо слова эти переделать. Переделать немедленно. Ведь они же имели когда-то смысл! Он даже думал создать новую грамматику, переменить расстановку слов в предложении, отбросить знаки препинания, оставив только тире, и, может быть, многоточие. Точки во всяком случае исключить, чтобы слова, набегая толпами, теснились, дрались, прокладывая себе дорогу к сердцу и разуму человека; чтобы язык приобрел красоту и силу не от изысканной простоты, а от огненного темперамента, страсти. Достоевский никогда не блистал изысканностью, у него не найдешь ни одного пейзажа, как у Тургенева, Пришвина, Паустовского; но какая страшная силища, — вот как надо жечь глаголом сердца людей! Возможно, что люди тогда начнут искать потерянный смысл слов, — обычным сочетаниям они с полным правом не верят больше, в них нет ничего, кроме лжи, фальши, притворства, мертвечины, особенно в речах вождей, писаниях газетчиков, стихоплетов и вообще всех сутенеров и шлюх, подвизающихся на советских литературных панелях.

Нестерпимая жажда действия — даже священнодействия — мучила, изводила Валентина Алмазова, особенно по ночам. Он прожил много лет, всегда знал непоколебимо, что должен сказать новое слово людям, но страшился как самой последней катастрофы сказать слово, которое не станет делом, которое не станет Богом, претворяющим мир, этот страшный обанкротившийся мир.

Непрерывные годы исканий: он бросался во все крайности, молился в храмах, был коммунистом, но даже не ощутил во всем этом остроты противоречий, — везде господствовала безраздельно та же фальшь, лицемерие, низменные интересы.

Как много богов было и есть у людей, но почти ни у кого нет Бога истинного, и никто, в том числе и Валентин Алмазов, не знали, что такое истинный Бог. Но как безумно хочется найти Его в темной ночи, увидеть Его путеводную звезду.

Звезды перепутий, звезды бездорожья, зловеще-кровавые звезды кремлевские — всё это он видел, — только не путеводные; все виденные вели никуда, в пучину ночи, в небытие.

Он шел один, уверенный в своей страшной судьбе, и еже-

дневно невольно повторял стихи Бориса Пастернака, горячо им любимого:

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

Но Валентин Алмазов не был один — одному и дня не выжить. Вместе с ним были вечные спутники, обреченные искатели, небольшая группа, которая, быть может, уже была чем-то больше, чем людьми: Гераклит, Платон, Зенон из Стои, Овидий, Клавдиан, Шекспир, Бэкон, Паскаль, Монтэн, и во главе всех — Достоевский, который ближе всего человечеству подошел к Богу, но не успел всё досказать о Нем. Валентина Алмазова тайно мучила и приводила в экстаз мысль, что ему выпала счастливая или несчастливая, но во всяком случае завидная доля досказать эту тайну, рассеять туманы, чтобы человечество наконец увидело путеводную звезду.

Жажда томила его.

Как хорошо сказал неведомый индийский мудрец еще двадцать пять веков назад:

«Всё растет жажда безумца (Алмазов давно знал, что все мудрецы, все настоящие люди — безумцы с точки зрения обывателей и полицейских. Мудрец для глупца — опасный безумец), всё тянется она подобно повиликке; он переходит от одной жизни к другой, как обезьяна, ищущая в лесу плодов, прыгает с дерева на дерево (и я был такой обезьяной, искал в лесу плодов и находил только волчьи ягоды, и падал с деревьев, ломая кости, но также сучья).»

Да, Валентин Алмазов был охвачен этой неутолимой жаждой, и страдания обвивали его, как повилика, всё теснее, и казалось ему порой, что они задушат его. В самые тяжелые минуты он вынимал из ящика свои тетради с записками на многих языках и перебирал свои любимые мысли, как Дориан Грей драгоценные камни. При этом он испытывал жуткое физическое ощущение наслаждения; лаская страницы, произносил вслух неповторимые слова, сильные, как заклинания; они звучали для него, как сонаты Бетховена. И приносили ему нечто большее, чем утешение — силы жить.

Вот тихий голос Марка Аврелия:

— Живи так, как будто ты сейчас должен проститься с жизнью, как будто время, оставленное тебе, — неожиданный по-

дарок.

Он так жил уже давно, особенно последние годы, когда ему стало ясно, что коммунизм — это разновидность фашизма, когда он понял, что русская литература больше не существует, и тогда он отдал свои рукописи иностранному журналисту, с которым случайно познакомился. Издатели уговаривали его публиковать произведения под псевдонимом, но он наотрез отказался, хотя знал, что его ждет. Его не интересовало официальное общественное мнение, а подлинного, народного — больше не существовало. Ведь никто в России не говорил уже много лет того, что он действительно думал. В своих высказываниях «общественные деятели» руководились самыми низменными мотивами.

И опять тихий голос Марка Аврелия:

— Если бы ты знал, из какого источника вытекают людские суждения и интересы, ты перестал бы добиваться одобрения и похвалы.

С мучительным стыдом вспоминал он годы своего пребывания в партии. Как он мог так долго не видеть, что все его товарищи, особенно члены партийного комитета, секретари — это просто полицейские! Сейчас это обнаружилось воочию. Когда стало известно, что он передал рукописи за границу, — узнать это не трудно было, он этого не скрывал, а действовал, как всегда, с открытым забралом, — секретарь парткома позвонил ему по телефону и сказал ласковым голосом:

— Валентин, приходи завтра в двенадцать часов в партком, побеседуем, постараемся тебе помочь.

И вот он пришел.

Секретарь парткома, лысый, седобородый, с пустыми водянистыми глазами вышел к нему навстречу в приемную, и Валентин Алмазов сразу заметил, что он ведет себя как-то странно: всегда самоуверенный, развязный, на этот раз он семенил ногами, потирал руки, вид у него был явно растерянный, и заговорил он, как провинившийся школьник:

— А, здравствуй, дорогой. Идем. Знаешь, тут товарищи из комитета госбезопасности хотят поговорить с тобой. Вот... познакомься. Понимаешь, мы решили общими силами тебе помочь, — такое дело, что... ну, вообще...

Чекисты, — один приземистый, лысый, толстый, другой высокий, худощавый, седой, — ходили взад и вперед по комнате, явно не зная, как и с чего начать.

Валентин Алмазов пережил одно из тех мгновений, очень

редких, когда внезапно перерождаешься, становишься как будто сразу на десять лет старше, и всё, что перед тобой годами мелькало в тумане, в сумраке, вдруг становится ярким, выпуклым, приобретает резко выраженное очертание, словно озаренное лучами взошедшего солнца. Он почти не слышал, о чем говорили чекисты, их слова заглушали молоты, стучавшие в его голове; ему стало мучительно стыдно и больно, что всю эту полицейскую банду он в течение многих лет считал состоящей из идейных людей, товарищей.

Лысый толстяк прошамкал:

— Ваше положение тяжелое. Если за границей выйдет ваша книга, мы вас посадим.

— Выйдет не одна... Так что — сажайте. — Алмазов горько усмехнулся. — Значит, все заверения Хрущева о том, что у нас восстановлена социалистическая законность — просто липа.

— Ну зачем же так грубо? Мы надеемся, что вы отзовете свои рукописи... Ведь вы коммунист.

— Пожалуй, — сказал Алмазов, думая, что надо срочно отослать за границу остальные рукописи.

Так окончился его роман с партией, который он считал для себя позорным мезальянсом; как янтарные четки, перебирал он звонкие слова Оскара Уайльда:

Он никогда не впадал в заблуждения, которые могли бы приостановить его интеллектуальное развитие, безоговорочно принимая какую-нибудь веру или систему; он никогда не смещивал дома, в котором ему предстояло жить, с постоянным двором, где можно провести ночь или несколько часов темной беззвездной ночью.

Конечно, в темной ночи Валентина Алмазова не было звезд, и то, что он хотя бы на время принял за них кремлевские пятиконечные, а сомнительный злодейский притон за родной дом, наполняло его душу мучительным стыдом.

Но все проходит.

Валентин Алмазов никогда не испытывал болезненного наслаждения слабых людей, любясь собственными страданиями, своим прекраснодушием и подлостью противников. Надо было стряхнуть сей прах с ног своих как можно скорее; он написал письмо Хрущеву, в котором называл вещи своими именами, и просил разрешить ему выезд за границу.

Ответа долго не было. Прошел месяц, другой, и Валентин Алмазов уже думал, что письмо его останется без ответа, как

это всегда бывает, когда обращаешься к твердокаменным советским бюрократам без фимиама и гимнов, а резким словом правды.

Но ответ всё же пришел.

Очарованный чуть поблекшим, но всё же прекрасным августовским вечером, Валентин Алмазов записывал на итальянском языке то, что нашептывали ему первые желтые листья, плывшие за окном в золотистой лазури заката. Есть какая-то особая сладостная грусть в еле слышном шелесте вестников осени, которую ждешь с тревогой и ожиданием. Когда неумолимый мальяр белит виски, весной уже ничего не ожидаешь, как бывало в юные дни, — ни любви, ни пожаров страстей, ни прекрасных катастроф. Зато осенью всегда ждешь новых разочарований, сознавая их печальную неизбежность. И когда всё новые и новые иллюзии рассеиваются в терпком осеннем воздухе и шелестят, как сухие листья, кружащиеся стайками у обочины дороги, уже не так больно, как в дни первых крушений, — без плача и стенаний хоронишь их в тайниках сердца, ставшего всеохватно просторным, выносливым; и будто не так уж сильно жалят злые осенние мухи; и обо всем этом пишешь непременно стихами, такими хмельными, что от них кружится голова.

Валентин Алмазов писал итальянскую рапсодию на мотивы своих любимых поэтов Джакомо Леопарди и Джованни Папини. И было даже что-то вещее в том, что его лирические размышления о «Трагической повседневности» совпали с его собственной трагической повседневностью, внезапно вторгшейся в его комнату в лице двух полицейских, старшего дворника, всегда служащего в полиции, и еще какой-то носатой бабы, которая, как сообщил старший полицейский, является представительницей «общественности», долженствующей в будущем заменить органы власти в «народном» государстве.

Вид у них был смущенный. Старший полицейский начал виноватым голосом:

— Извините, Валентин Иванович, но мы вас побеспокоим потому, что начальник отделения милиции имеет к вам особый разговор и просит вас приехать. Дело срочное.

— Какие у меня могут быть дела с полицией? Я ведь не вор, не хулиган, — сказал Алмазов.

— К сожалению, мне это неизвестно. Начальник мне ничего не сказал. Но ведь милиция — орган государственной власти, и вы обязаны поехать.

Валентин Алмазов сразу понял, что быть беде.

Жена его тоже это поняла.

— Я пойду с тобой, — сказала она.

— Да, пожалуйста, — разрешил полицейский.

У подъезда ждала машина, синяя, с красной полосой вокруг кузова. В отличие от сталинских «черных воронов», народ прозвал эти машины чумовозками.

В милиции его провожатые тотчас же скрылись. У дверей комнаты, куда привели Алмазова, стоял другой полицейский, менее вежливый, — на вопросы не отвечал. Конечно, никаких разговоров с начальником милиции не было. Через десять минут Валентина Алмазова вывели во двор, — там его ждала санитарная машина. Женщина-врач (специальные полицейские врачи-конвоиры) спросила:

— Вы — Валентин Алмазов? По распоряжению главного городского психиатра вас должны обследовать.

— Сволочи! — тихо сказал Алмазов жене. — Полицейские сволочи даже врачей превращают в полицейских. Но не волнуйся, — такие приемы показывают, что они уже боятся. Обманом завлекли. Коммунистические бандиты не уйдут от народной мести.

И пошел к машине. Двое дюжих вышибал в белых халатах смотрели на него тупо воловьими глазами.

Шел дождь.

Странно, час тому назад небо было голубое, а сейчас дождевые струи назойливо стучали в крышу и стекла машины; сопели вышибалы, низкие тучи плыли по небу; они напоминали Алмазову бегемотов, которых он в детстве видел в зоопарке; город казался незнакомым, чужим, враждебным.

Алмазова привезли на пересыльный пункт, — оттуда круглые сутки отправляли с сопровождающими санитарями больных, лечившихся в московских психиатрических больницах, по месту жительства. В двух маленьких комнатах в деревянном бараке скопилось множество мужчин и женщин. Под низким дощатым потолком плавал дым от махорки и дешевых папирос. Было грязно, наплевано. Из двери уборной, почти не закрывавшейся, несло нестерпимой вонью; засиженная мухами лампочка без абажура бросала зловещие тени на людей; жена Алмазова тихо плакала, дежурный врач — женщина средних лет, утомленная, с страдальческим выражением лица, — говорила, глядя куда-то вдаль, мимо Алмазова:

— Сегодня уже поздно... Доктор Янушкевич уехал. Он бу-

дет только завтра в десять часов утра. Что с вами случилось? Скандалили с соседями? Нет? У вас отдельная квартира? Это ваша жена?.. Ах, вот оно что. Ну, конечно... Не вы первый, не вы последний... Такова судьба всех бунтарей... Хорошо еще, что только сумасшедший дом. Моего мужа расстреляли... Недавно приходил ко мне секретарь райкома, утешал, сказал, что партия не забудет моего мужа... Так они всем говорят... Меня удивляет... неужто они думают, что мы, вдовы и сироты, сотни тысяч вдов и сирот, забудем эти благодеяния партии?

Алмазов слушал молча. Его не удивила бесстрашная откровенность усталой женщины. В последнее время всюду — в трамваях, поездах и особенно в бесконечных очередях — люди всех возрастов не скрывали своего враждебно-иронического отношения к советской власти, к ее мнимым достижениям; и здесь следует отметить то морально-политическое единство народа, о котором так много и пышно разглагольствуют партийные функционеры, печать и радио: люди единодушно поносили советских вождей, особенно Хрущева, особенно с тех пор, как опять исчезли продукты первой необходимости. И чем беднее по виду был человек, тем злее проклинал он очереди, нехватку всего решительно, издевался над мнимыми успехами советской экономики, проклинал дороговизну, ничтожную зарплату, безрукость руководителей, их пустые обещания, которые никогда не выполняются.

— Идите отдыхайте, — сказала женщина, — не отчаивайтесь, ведь вам еще многое придется пережить... Не вздумайте только протестовать — ну, голодовку объявлять или заявления писать, — ведь у нас на это никакого внимания не обращают. Даже на турок и греков подействовали голодовки Назыма Хикмета и Глезоса, — а у нас вы только подвергнетесь издевательствам и ничего не добьетесь. Ведь это не люди, а истуканы, палачи...

Алмазов сел на лавочку. Ему казалось, что всё это происходит во сне. Новая картина из дантовского ада.

Стоявший немного поодаль необычайно худой, — почти скелет, — лысый, неопределенного возраста мужчина, безбородый, как евнух, всё время ухмылялся, поджав тонкие лиловые губы, потом украдкой подошел вплотную к Алмазову и, слегка наклонив голову, заговорил доверительно шопотом:

— Я слышал — вы писатель... Очень интересно познакомиться. Как же вы умудрились уцелеть, если рисковали писать правду?

И в течение какой-нибудь минуты молчания бурей пронеслась в воображении Валентина Алмазова его писательская карьера. Странная, как и вся его жизнь. Он пытался быть советским писателем. Но из этого ничего не получилось. Он буквально приходил в отчаяние, читая рукописи того времени. До того все эти писания были надуманными, притянутыми, беспомощными, — бесспорно значительно хуже, чем у средних бумагомарателей. Теперь ему ясно было, что всё это было закономерно. Не все могут продавать даже свое тело — предпочитают умереть с голоду, утопиться. Но продавать свою душу гораздо труднее. Валентин Алмазов не помнит, когда он перестал быть батраком на литературной ниве. Но он отлично помнит то невыразимое наслаждение, которое он испытал, когда стал писать правду, — с тех пор прошло почти четверть века. Он понимал, что нельзя показать рукописи даже товарищам, — это было бы в сталинские времена равносильно самоубийству. Шли годы, и вот настал час, когда терять уже было нечего. Надо было напомнить миру, что есть еще на свете русский — но не советский — народ, есть честные писатели, — и звать на бой за свободу, разоблачать новых фашистов, душегубов, звонить в набат. Ведь на Западе знают очень мало. Приезжим показывают всё ту же екатерининскую деревню; и даже такие честные писатели, как Колдуэлл и Стейнбек, склонны верить в легенду о советской демократии. Неужели Стейнбек искренне говорит, что не заметил угнетения в Советском Союзе, что писатель здесь может писать то, что он хочет? Неужели он даже не читал многочисленных заметок в прессе о злосчастной судьбе Бориса Пастернака, Александра Есенина? Да... надо раскрыть глаза миру. Надо привести Стейнбека и других деятелей западной культуры в этот заплыванный сарай — пусть он посидит в этом аду с Валентином Алмазовым и убедится воочию, как советский писатель может писать то, что ему хочется. Он тогда узнает, что любые слова правды о советской жизни полицейские называют клеветой. А не задумался ли Джон Стейнбек над тем, что из его двенадцати книг переведены в Советском Союзе только две? И почему? Читатели с наслаждением прочли бы все его книги. Но... А ведь Стейнбек не пишет о советской жизни. Если бы он, не дай Бог, родился в Советском Союзе, он бы не мог напечатать ни одной строки и вернее всего был бы уничтожен сталинскими опричниками или сидел бы сейчас рядом с Валентином Алмазовым в этом аду. Так-то, мистер Стейнбек. Надеюсь, вы на меня не обидетесь за то, что я пригла-

шаю вас в заплеванной сумасшедший дом, — другого места нет теперь в России для честного писателя.

Между тем лысый незнакомец говорил своим шелестящим голосом:

— Любопытная страна Россия — вся ее история исчерпывается формулировкой: сначала во здравие, а потом за упокой. От Петра Великого шагнула семимильно, создала величайшую в мире дворянскую питерскую культуру, горную цепь с самыми высокими вершинами — божественного Достоевского, глубочайшего мыслителя Василия Васильевича Розанова, — и прыгнула в пучину небытия. Была великая Россия, а стала какой-то недо-тыкомкой из Сологубовского «Мелкого беса». Между прочим, величайшая книга, тоже пророческая, как «Опавшие листья», как «Грядущий хам». Ныне и завладели Русью сии мелкие бесы; еще Достоевский их изобразил с гениальным пророчеством, именно мелких — ведь в его «Бесах» нет ни одного крупного, сильного, нет даже тени Люцифера; помните-с младого Верховенского, его чистосердечное признание: мы-де какие социалисты, мы — мошенники. Покатилась в пропасть жизнь российская, и литература — тоже: серый, неказистый мужичонка Шолохов, грошевые лебедевы-кумачи и прочая мелюзга. И вместо гордого Санкт-Петербурга — нищий Ленинград. Помилуйте, по какому праву? Великому городу было присвоено имя его великого основателя, поднявшего Россию на дыбы, а за что же, позвольте спросить, Ленину? За то, что он поставил ее на колени? Но вы не сумеете ответить на этот вопрос. А я ответил. Умнейший человек Столыпин — истинный птенец гнезда Петрова — об этом хорошо сказал, обращаясь к революционерам: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Но для чего, спрашивается, им нужны потрясения? Очень просто. Все эти «пролетарии», которым в конечном счете наплевать на Россию и на весь культурный мир, на самую идею европеизма, хотят хоть чем-нибудь возвеличиться. Идейки у них убогие — ничего нет более убогого и скудоумного в истории мировой и общественной мысли, — так вот, давайте, товарищи, хлопнем дверью, — ничего, если крыша провалится, а заодно придушит жильцов, — и вот хлопают: эти «пролетарии» успели уничтожить несколько миллионов лучших русских людей, а теперь продают и раздаривают Россию направо и налево. А почему? Надо же и Хрущеву заработать себе бессмертие. Он больше ни о чем не думает. А ведь он самый мягкий из них, глуповат, но хватка — хватка мертвая! А

такие пуще смерти боятся правды, — а вы вздумали правду говорить. Нельзя, нельзя, вы воистину безумец. Я — другое дело. Разрешите вам представиться. Профессия у меня неопределенная. То-есть был я всем, как истинно-русское перекаати-поле. Инженером, преподавателем, лектором общества научных и политических знаний, журналистом, ктитором, — и нигде не мог ужиться. Если поверите, — мне пятьдесят семь лет, а можно и не поверить — мне кажется, что прожил я целый век, так много всего было в моей жизни, а выгляжу я на сорок. Даже иные особы опасного женского пола одобряют. Видите вот эту сдобную сестренку? Она меня будет сопровождать в Ростов-на-Дону. Это мой родной город. Чудесный был город когда-то, веселый, богатый. Меня уже туда сопровождают семнадцатый раз, — комната там у меня имеется — законная жилплощадь, — невелика, правда, восемь метров, однако для советского существования пригодна. Но я к оседлости, семейственности, партийности, вообще к любому виду постоянства мало пригоден. Можете себе представить, ни разу не женился, даже фиктивно, а предложений было много, и скажу вам — лестные предложения, даже одна врачиха влюбилась, хотела меня во что бы то ни стало одомашнить, как сибирского кота своего; обстановочка у нее была уютная, шифоньеры, трельяжи, канapé, но я ни к мягкой мебели, ни к мягким бабочкам, ни к сибирским котам тяготения не имею, извольте видеть; и еще меньше к домашнему хозяйству — никак не выношу этой категории материалистической диалектики, даже чемодана у меня нет, только, вот видите, этот выпцветший, потрепанный, выдавший виды бурожелтый портфель. И можете себе представить, удивительная судьба у этого портфеля, почти такая же, как у меня, его владельца (чуть было не сказал — законного, но какой же там законный?): достался он мне прямо фантастически по какому-то не менее фантастическому наследству. Понимаете, был я в трактирчике на окраине, — такая уютная забегаловка, где, главным образом, выпивали отставные полковники. Хороший, скажу я вам, народ, — и выпить может, сколько душе угодно, и болтать может бесконечно, хоть до утра, — а что еще нужно российскому интеллигенту? Вот таким манером мы и судьбу свою проболтали за рюмкой водки, а ее и ткнули у нас под носом. Так можете себе представить, прихожу я как-то ночью, изрядно на взводе, — один отставной так меня угостил, что я и не помнил, как на свою жилплощадь попал, — ну, просыпаюсь в полдень, гляжу — портфель этот самый лежит на столе. И можете себе представить, в порт-

фельчике этом — тогда он был именно портфельчиком, объем и вообще, так сказать, комплектация была примерно вдвое меньшей, — так вот, в портфельчике этом, который, как видите, стал портфелищем, я обнаружил поллитра особой московской, можете себе представить, нераскупоренной, и, как вы сами понимаете, не замедлил опохмелиться. Затем приступил к дальнейшему исследованию и обнаружил пухлую записную книжицу с интересными и поучительными сентенциями, вроде нижеследующих: «Пей — дело разумей. А не уразумеешь дело, снова пей смело. Еще успеешь, уразумеешь». Прельстительная мудрость сентенции этой, можете себе представить, на всю жизнь мне в память врезалась и стала как бы моей путеводной звездой в дальнейшей жизни. Это — в смысле житейского поведения. А в смысле философском, так сказать, пролегоменами стали для меня мудрейшие слова из этой же книжицы: «Время — что посуда. Можно ее наполнить коньяком финьшампань, для услаждения души, а также мочей для анализа в поликлинике на предмет выяснения, страдаешь ли подагрой, раб Божий. Так вот тебе завет мой, раб ленивый и лукавый: наполняй не очень объемистую посудину, отпущенную тебе хозяином времени, не мочей, не отсиживанием за столом и просиживанием штанов в поликлинике, — не о теле брэнном пекись, а о бессмертной душе твоей, — а также памятуй, что у рабов Божьих душа обретает бессмертие, наполняя скудный сосуд времени блужданиями по прекрасной планете, поисками неопределенной планиды, — и Боже упаси — пускать где-нибудь глубоко корень, ибо вся прелесть жизни — в перемене мест. Новый город это — как новая мебель. Старый город — это как опостылевшая жена. То же относится к занятиям. Меняй занятия, как постельное белье, хотя бы раз в два месяца...» Ну вот, значит, стала эта записная книжица моим евангелием. Было в портфельчике еще вафельное полотенце сомнительной чистоты, но чистота — понятие относительное и весьма сомнительное, так же, как гигиена, здоровье и советская власть. И я, будучи инженером по водоснабжению и канализации, — простите, зовут меня Дормидонт Ферাপонтович Фиолетов, — что имя, что фамилия — замечательны! — бросил водопровод, канализацию и запер комнату; обстановка у меня была несложная, — железная койка со скрипом, стол шаткий со скрипом, стул венский со скрипом, алюминиевая кружка, оловянная ложка, еще два вафельных полотенца, две смены белья и библия, которую мне подарила соседка, восьмидесятилетняя старушка, накануне кончины; наследников у нее не

было. С тех пор я стал каждый день читать библию, самую, скажу я вам с уверенностью, опасную и соблазнительную книгу на свете. Не удивляюсь, что «товарищи» догадались и запретили ее распространение, а то ведь, знаете, начитаешься библейской мудрости и хохотать будешь, как оглашенный, над всеми мировыми революциями. И всё тебе нипочем станет, все эти священные реликвии, там, знаете, родина, жена, дети, долг, — всё суета сует и томление духа, можете себе представить, — брось всё и иди за Мной, и тогда души не потеряешь, а будешь сидеть дома — и душу потеряешь. Полюбил я особо Екклесиаста, а судить стал обо всем, как царь Соломон; и за Христом пошел бы охотно, если б Он только легкий путь указал, а то извольте радоваться — Голгофа. Не желаю-с, желаю наслаждаться жизнью, как сказал один философ... Взял я, значит, портфельчик, вложил белье, вафельные полотенца и библию, — он, сами понимаете, вроде забеременел, — и отправился на вокзал. Вижу, идет поезд в город Раздольный — курортная, знаете ли, жемчужина, — давай, думаю, катну в Раздольный; взял, поехал. Приехал. Ну, надо чем-то заняться, а главное — прописаться; не прописывают там на постоянное жительство. А мне, говорю, зачем постоянное? Мне, говорю, и временное подходит. Если, говорят, будет требование местной организации, заинтересованной в вашей деятельности, можно прописать на шесть месяцев без права на площадь. Пошел я по улицам этого прекрасного города. Знаете, советским духом там и не пахнет, город праздничный. Пальмы, бананы, олеандры, магнолии. И предлагают мне, — тоже в забегаловке, один серьезный субъект, — поступить лектором в местное Общество политических знаний, — в общем, читать лекции о переустройстве курорта для блага граждан, о новой технике, космонавтах, Кара-Кумах и еще чего-то. А мне всё едино, — канализацией я решительно уже не мог заниматься. В общем, я трепался года два в этом чудном городе, — болтология повсюду в нашей стране заменяет жизнь и труд, — потом сократили меня, вычеркнули мою штатную единицу; и я тогда случайно познакомился с одним москвичом, поехал к нему в гости, и черт меня дернул написать в ЦК партии письмо, — некий проект прекращения разводов, которые дискредитируют нашу социалистическую державу, поскольку неимоверное их количество переходит в весьма сомнительное качество советской семьи. Помилуйте, до революции в России было за год не больше пятисот разводов, а нынче — миллион. Это не шутка. Статистика явно не в нашу пользу. Я и выдвинул проект, значит:

всем, кто развелся, уменьшить зарплату на десять процентов; кто два раза — на двадцать, и так дальше, без права занимать ответственные должности, ибо разводящийся, да еще многократно, явно не может воспитывать кадры в коммунистическом духе. Кроме того, — взыскания по партийной линии, а также издавать ежегодно сборник «Сомнительные супруги». Было это лет десять назад. Я, как говорится, для смеха написал это письмо. Мало ли идиотских проектов о так называемом коммунистическом воспитании серьезно обсуждают в тысячах комиссий, — как будто человека можно воспитывать в коммунистическом духе! Это всё равно что матерого волка сделать вегетарианцем, да я вам скажу, что можно скорее волка превратить в овцу, чем советского башкибузук в Человека. Ведь не осталось у нас ничего святого, — можете себе представить, — не страна, а форменный бордель; и мне над всем этим посмеяться захотелось... Ну, вызвали меня в ЦК, какая-то упитанная баба со мной стала говорить, а я смотрю, извините, на ее декольте, груди выглядывают дебелие, пахнет духами, и говорю ей: — Знаете, дамочка, мне бы с вами не в скучном кабинете, а в интимной обстановке поговорить, — и так выразительно смотрю на ее декольте. А она рассердилась, куда-то позвонила. Пришел мильтон, а она толстым задом вертит — уходит, а мильтон мне говорит: — Пожалуйста, гражданин, я вас провожу по назначению. — Позвольте, говорю, я не за назначением пришел. — Ничего, гражданин, не волнуйтесь. Вы в ЦК пришли, а не в пивную. Тут знают, где кому место. И отвезли меня на Канатчикову дачу. И пошел я с тех пор колесить. Теперь я уже девятый раз там лежусь. Она стала для меня как бы домом родным, куда я возвращаюсь отдохнуть, о душе подумать. Все меня там знают, и я всех. Чудесная жизнь. Трепись хоть круглые сутки. Плохо только, что время от времени выписывают. Самые интересные люди там собираются. А где еще найдешь теперь интересного человека в России? На воле и поговорить не с кем — уши вянут, как послушаешь какого-нибудь советского мудреца... Вы, видимо, замешкались, а вам самое время... Есенин-сын уже третий раз отдыхает, всё приглашают его. А я уж сам. У меня теперь и специальность есть, — я специалист по бессмертию Хрущева. Каждый год пишу ему послания, как скорее обрести ему бессмертие. Вы, конечно, об этом всерьез не говорите, а то и вам пришьют навязчивую идею и запишут в сумасшедшие. А я нарочно прикидываюсь, — говорю все, что думаю, — сумасшедший, инвалид первой группы — семьдесят два рубля получаю в месяц; не каждый у нас такие

деньги зарабатывает, даже тяжелым трудом; деньги коплю, — ведь на воле я живу редко, а здесь всё бесплатно — коммунизм! Сиживал и в других больницах: у Соловьева, Ганушкина, на Матросской тишине, был и у Гронарева, но здесь, на Канатчиковой даче, больше интересных людей, можно и с женским полом побаловаться. Не боятся разоблачений бабочки. Кто поверит психу? И знаете, я только так разрешил для себя любовный вопрос. Иначе невозможно. Вы скажите, что я эгоист? Возможно. То-есть, безусловно. Помните замечательную книгу Джордана Мередита «Эгоист»? Его герой, так же как я, мучился из-за выбора и все-таки выбрал женщину — ведь он англичанин, ему необходим счастливый конец, а я — русский — для меня обязателен несчастный исход. Но рассуждение очень верное, понимаете, он правильно схватил самую суть проблемы. Вот как он сформулировал: его главным врагом был мир (масса), который смешивает нас всех в одну кучу, который запятнал уже заранее ту, которую мы выбрали, и мы никогда не сможем ее полностью очистить от соприкосновения с грязной толпой. Здрóрово сказано! А я вообще распространяю эту теорию на всё: не только на поиски невесты, — без нее еще можно прожить, — я вместо невесты душу человека, свою душу ищу — идею, мечту, Прекрасную Даму, — и чувствую, что всё это «товарищи» запачкали, загадили зловонным дыханием темной массы, толпы, которая, как справедливо заметил еще Флобер, всегда плохо пахнет. Они хотят, чтобы от моей Прекрасной Дамы пахло трудовым потом, а меня тошнит при одной мысли об этом. Все идеалы загрязнены этой саранчой-массой, и ничего не выйдет, — Фиолетов вдруг рассвирепел, повысил голос чуть ли не до крика, надел на голову пилотку из заглавного листа «Крокодила», подмигнул Алмазову, — да, сударь, ничего не выйдет, пока мы не уничтожим массу, и прежде всего китайцев. Китайцы — это образ безличия. Они все на одно лицо. Самая страшная масса из всех масс. Они могут затоптать всю Европу и даже перелететь через океан. Сделать мост из живых тел — пять тысяч километров могут отлично вымостить двадцать пять миллионов человек, — а их семьсот. Мир для спасения Человека необходимо индивидуализировать, освободить от косной массы, бездушной — ведь у нее есть только желудок. Толпа тянет человечество назад в первобытное состояние, к стаду человекообразных обезьян. А когда останутся только личности, можно будет создать аристократическое всемирное общество личностей. Много не нужно — миллионов десять. Вот тогда будет жизнь по потреб-

ностям — человеческим, а не пайковым, как это планируют коммунисты. Не будет солдат, полицейских, чинуш — разве для Личности нужна тюрьма, суды, чиновная сволочь? — Фиолетов нагнулся к самому уху сидевшего рядом Алмазова, — а уж я постараюсь, чтобы они все стали бессмертными, понимаете, пусть наши женщины будут только любовницами, вакханками, а не няньками, матерями, тещами, — подходяще? — Он опять подмигнул Алмазову. Глаза у него были красные, сердитые. — Вот мое мнение... три кита — личность, бессмертие, безмассовость. Закурим?

— Я не курю, — сказал Алмазов.

— Значит, я зря старался?

— Нет... что вы, очень интересно.

— Может быть, напишете обо мне. Надеюсь, вы не социалистический реалист... Вот, действительно, опиум для дураков. Кончилась литература, искусство. Нечего читать, нечего писать... Я читал на днях, что какой-то институт провел опрос, и самые читабельные книги оказались «Преступление и наказание» и «Мадам Бовари». И вообразил, что эти авторы — Достоевский и Флобер — жили бы при советской власти. Пришел бы к редактору Флобер, а тот его сразу бы социалистическо-реалистическим обухом по голове: — Друг мой, это нетипично, нереалистично: замечательный врач, верный муж, труженик, любит жену, семью, а она имеет каких-то ловеласов. Зачем вы ищете уродливые явления в действительности, да еще не противопоставляете ничего положительного? Опишите героический труд доктора Бовари, а ее — ну, пусть разок согрешит и покается, даже закается, что больше не будет... Потом приходит Федор Михайлович. Ну, с тем дело хуже: — Что вы натворили? Молодой человек, да еще юрист, мыслящий юноша, станет убивать какую-то процентщицу? Да это клевета на нашу молодежь. И эта Соня. Не могла найти себе работу... Нет, нет... всё это никуда не годится. Да... — А теперь вынуждены хвалить: как же, мы тоже не лыком шиты, понимаем, что такое шедевр... «Товарищи» даже не понимают, что такое искусство, литература... Не понимают, что только нетипичные характеры в нетипичных обстоятельствах могут быть героями книг. Найдите мне хоть один типично-стандартный характер в мировых шедеврах. Может быть, Анна Каренина? Или Безухов? Или Иван Карамазов? Или Гамлет? Да перечислять можно до утра... Искусство начинается там, где нарушается норма, покой, типичность. Только идиоты могут говорить, что писатель должен описывать героический труд, счастливую жизнь. Уж не говорю

о том, что нет ни героического труда, ни счастливой жизни, — допустим, что они есть, — что же тут описывать? Тут еще может какой-нибудь работник месткома что-то сказать в отчете, но писателю абсолютно делать нечего... Ну да что говорить, пойду стрелять папиросу...

Настала ночь.

На узких деревянных скамьях кое-кто уже похрапывал. Другие расположились на полу, ели арбузы, тут же выплевывали семечки, швыряли корки в угол. Табачный дым сильно ел глаза. Санитары выкрикивали фамилии очередной группы уезжающих; те поспешно собирали свои пожитки и выходили во двор; там уже стояли машины. Сквозь открытые двери доносился шум дождя.

Валентину Алмазову показалось, что он вновь перенесся в девятнадцатый год, на узловую станцию. И это ощущение было так сильно, что он не мог от него отделаться в течение всей ночи. Под утро ему померещилось, что он спит, его душит кошмар, и он никак не может проснуться. Но не спал он ни одной минуты, а все время шагал по дощатому скользкому полу, стараясь не наступать на спящих, и только на рассвете сел на край лавки, где лежал какой-то старик; хотелось плакать, кричать, но разве тебя услышат в аду?

С той ночи Валентин Алмазов больше уже не выходил из ада, принимавшего разные обличья, и перестал верить в то, что можно отсюда вырваться. Но зато у него возникла новая вера — в то, что ад можно уничтожить. Уничтожить любыми средствами. Разгоралась ненависть.

Всё проходит.

Все чувства слабеют, гаснут.

Ненависть — никогда.

✱

Когда все вокруг спят и лица изуродованы кошмарами или просто разгримированные сном обнаруживают свое отталкивающее безобразие, единственному бодрствующему жить становится трудно.

Это почти невероятная нагрузка — принять на себя *третью стражу мира*, и особенно страшно это в первую ночь в сумасшедшем доме, потому что кажется, что мир сошел с ума и тянет тебя за собой. Спасение только в одном — в больших, просторных, возвышенных мыслях. Они всегда, как мощные порталные краны, вытаскивают душу из трясины; и сейчас тоже уверенно вытаскивали душу Валентина Алмазова из черной топи,

куда ее забросила судьба. Собственно говоря, в этом и заключалось ее главное назначение — всеми силами и средствами губить Человека, если он дерзнул оторваться от стада.

Мысли...

Но кто-то сказал, что начать думать значит начать презирать мир. А разве это легко — ненавидеть дом, в котором ты живешь? И вот первая утешительница мысль: ведь дом, в котором ты живешь, — не весь мир. И если судьба тебя забросила в это логово коммунистических злодеев, то ведь она может и спасти тебя. Ты ведь знаешь, что у тебя есть друзья во всем мире, они думают о тебе, шлют тебе добрые слова.

Творец Всевышний, прости мои грешные и дерзкие мысли. Ты должен простить, ибо мой разум — Твоя неотъемлемая частица. Просвети же меня, ибо я во тьме крошечной — в каком стиле Ты сотворил мир? Я прожил немало лет в искусстве, разбираюсь во всех его жанрах и вижу, что мир сотворен Тобою в стиле страшного гротеска. И, может быть, художники страшного правдивее всех изобразили его, и они-то и суть посланцы Твои — Достоевский, Гофман, Гоголь, По, Иероним Босх, Георг Гроссе, Сальвадор Дали?

Я прислушиваюсь ко всем голосам людей, одаренных разумом Твоим, все меня по-разному убеждали, я соглашался с одними, а потом с их противниками, и никто меня не смог ни в чем убедить. И сейчас в этом безысходном аду я уже ничего не понимаю, не могу отличить света от тьмы и святость Твою от козней сатанинских. И если все — злодеи, то зачем Тебе надо было иных, обреченных, как *учители мои*, и меня грешного, наделить Твоим Разумом на вечную муку? Зачем мы не такие же злодеи, как все? Но зачем задавать вопросы? Лучше биться головой об стенку, разбить ее о камни, чтобы душа улетела к Тебе, если Тебе не угодно ее призвать.

Но я слышу, — и это Твой голос, — что надо еще бороться с сатаной, овладевшим моей злосчастной родиной.

Утро.

Встаю.

3

МУЧЕНИКИ НАЧИНАЮТ ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

— Но ведь десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе, потому что ваше невежество неспособно отличить их от здоровых. Почему же я и вот эти несчастные должны сидеть тут за всех, как козлы отпущения? Вы, фельдшер, смотритель и вся ваша больничная сволочь в нравственном отношении неизмеримо ниже каждого из нас, почему же мы сидим, а вы — нет? Где логика?

— Нравственное отношение и логика тут ни при чем. Все зависит от случая. Кого посадили, тот сидит, а кого не посадили, тот гуляет, вот и всё. В том, что я доктор, а вы душевнобольной, нет ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность.

А. ЧЕХОВ

Утром главный московский психиатр допрашивал Валентина Алмазова. Именно допрашивал, как следователь преступника. В кабинет к нему Алмазова привел стражник, который во время допроса оставался за дверью. Янушкевич даже и не пытался делать вид, что он разговаривает как врач с больным, он даже не упомянул о болезни, видно, привык уже к тому, что он полицейский. Упитанный, розовощекий, самоуверенный, он снисходительно поглядывал на Алмазова, который после ночного кошмара продолжал восхождение на Голгофу уже спокойнее, с высоко поднятой головой, неся свой крест обеими руками.

— Что же вы, голубчик, пишете антисоветские письма в посольство? — ехидно спросил Янушкевич.

— Вы кто? — презрительно посмотрел на него Алмазов. — Тоже полицейский? А я по наивности думал, что в социалистической стране хотя бы врачи не превратились в шпиков.

— Вот видите, как вы разговариваете.

— А я с полицейскими вообще не желаю разговаривать.

— Ну что тут толковать? Отправим вас к Кащенко — там разберут. — Он позвал стражника. — Отведите его.

— Допрашивать не умеете. Еще неопытные полицейские, — сказал Алмазов.

Опять шел дождь. К машине Алмазова проводила женщина-врач, которая дежурила, когда его привезли. Она плакала.

Алмазова как тяжелого преступника сопровождали три стражника: врач и два студента-медика. Последние проходили практику в качестве конвоиров — готовились к полицейской службе.

Тогда впервые Валентину Алмазову пришла в голову мысль, которую он затем проверил и подтвердил множеством фактов: что в советской стране окончательно восторжествовал не социализм, а самый оголтелый фашизм, почище гитлеровского; и он тихо, равнодушно ответил студенту, спросившему, удобно ли ему сидеть на носилках:

— В фашистском застенке спрашивать жертву об удобствах — по крайней мере бестактно. Это напоминает мне анекдот о палаче, который, отрубая голову осужденному, спрашивал его, как вежливый парикмахер: — Вас не беспокоит?

Студенты молча переглянулись. Их взгляды говорили достаточно красноречиво: «Чего с него возьмешь?» Но смолчали.

Потом Алмазов узнал, что у психических «больных» есть одна существенная привилегия — они могут говорить, что им вздумается, как угодно оскорблять медперсонал, — возражать им запрещено. Надо только говорить спокойно, иначе грозит болезненный укол.

Первое свидание с лечащим врачом, заведующей отделением Лидией Архиповной Кизяк состоялось через час после прибытия. Валентин Алмазов с первого взгляда почувствовал в ней тот уже примелькавшийся тип бесчеловечного полицейского, который широко известен под именем стопроцентного советского человека. Его прогноз оправдался.

Они смотрели друг на друга молча, с той настороженностью, с какой обычно сходятся непримиримые враги на смертельный поединок.

Лидии Архиповне Кизяк минуло сорок пять лет, — она была ровесницей Октября, вполне достойной. Карьеру она сделала всеми правдами и неправдами, цепко держалась за свое место, очень боялась его потерять. У нее была только одна страсть —

властвовать над людьми, особенно стоящими выше ее. Вместе с тем, она была труслива, как нагадившая кошка.

— Ну, что ж, давайте займемся, — начала она деловито, — расскажите, как вы заболели, о вашей семье, родных.

— Дурака валять я вам не позволю, — строго, медленно скандируя каждое слово, произнес Алмазов. — Если вы не хотите скандала, то давайте условимся о наших взаимоотношениях...

Кизяк заёрзала на стуле, стала беспокойно озираться, — разговор происходил в комнате для свиданий, и сейчас там никого не было. Но тут вошел санитар, принес какую-то бумажку на подпись. Она с торопливой готовностью подписала бумажку и сказала:

— Володя, отнеси бумагу и приходи сюда.

Алмазов посмотрел на нее так уничтожительно, что даже зарумянились ее бледные щеки.

— Так вот, мадам, я вас врачом не считаю, человеком еще меньше. Ваше заведение вы можете называть больницей, но я его считаю тюрьмой, куда меня бросили, как это водится у фашистов, без суда и следствия. И если вы не хотите скандалов, то давайте условимся. Я — узник, а вы — мой тюремщик. Никаких разговоров о медицине, здоровье, родных не будет. Никаких лекарств, исследований. Ясно?

— Мы вынуждены будем прибегнуть к насильственному методу.

— Попробуйте.

— Хорошо. Посмотрим.

Ничем не напоминали Валентина Алмазова другие обитатели палаты № 7; и совсем другие пути привели их в это богоугодное заведение, — не потому ли они все полюбили друг друга?

— Да, разные мы, но и одинаковые не в меньшей степени, — сказал Павел Николаевич Загогулин, — в конце концов всех нас привела сюда советская власть. Это она исковеркала наши жизни, поэтому мы всё равно как ее жертвы.

— Да, пожалуй, — согласился Алмазов.

Ему нравился Загогулин, походивший на спортсмена, альпиниста. Ему можно было дать лет на десять меньше, чем он успел сколотить. А годы его были нелегкие. Геолог, вечно странствующий по горам и долам, в зной и стужу, по восемь-девять месяцев вне дома, без семьи, которую он любил.

Татьяна Львовна Загогулина была на пятнадцать лет моло-

же мужа. Вышла она за него семнадцатилетней. В ту пору она уже весила пять пудов и походила на солидную тридцатилетнюю даму. Всякое бывает. Человек тонких вкусов в искусстве и поэзии, Павел Николаевич любил грузные женские телеса.

Жили они поначалу хорошо. Оклад и командировочные позволяли Татьяне Львовне нагуливать жир (она была уверена, что только в крупных формах — прелесть женщины), шить туалеты. Но через каждые два года рождались дети. Татьяна их не хотела, но мать убеждала: — Надо закрепить, дура. Отец детей не бросит. Человек он надежный. А тебя вполне свободно можно бросить, потому что ведешь ты себя, как последняя... Хорошо, что Павел всегда в отъезде, а то...

— А тебе что, жалко? Убудет с меня, что ли?

Так они переругивались беззлобно, в общем, жили. Ели очень много — шесть раз в день. И всё жирное: масло, гусей, пирожные. Толстели. Когда Павел Николаевич возвращался из очередной экспедиции, Татьяна Львовна была с ним нежна, не изменяла, даже получала удовольствие, — как будто новый любовник. Романы ее все были без тени романтики — начинались и кончались в постели.

Нелады начались два года назад. Павел Николаевич получил повышение — стал заведующим отделом в тресте. Уезжал редко. Хранить верность в течение почти целого года Татьяне Львовне стало нелегко. А тут как раз стал ходить к старшей дочери Любе, — ей только минуло семнадцать, — студент-путеец, который очень приглянулся мамаше. Через некоторое время Люба в слезах призналась матери, что она беременна.

Татьяна Львовна критически, не жалеющим, а насмешливым взором смерила Любу... Что он в ней нашел? Худа, некрасива... Должно быть, квартира приглянулась. Да, квартира в три комнаты — редкость в наше время... Губа не дура... Знает, что отец пятьсот рублей в месяц зарабатывает... Нахал... Но парень стоящий...

— Жениться предлагает, — тихо сказала Люба.

— А жить где будете? Есть у него комната?

— Нет... в общежитии.

— Родители есть?

— Беспризорный.

Разговор этот происходил на даче. Татьяна Львовна недавно

ее отстроила. Она и сама теперь зарабатывала много, — шила на дому, без патента.

Жених пришел к ней вечером, поцеловал руку. Вечер выдался хороший, теплый, было начало августа, пошли гулять, — потолковать надо, — погуляли — устали, решили отдохнуть в лесу на травке. А через час Татьяна Львовна говорила: — Ты переезжай-ка сюда. Будешь спать на сеновале... Мой-то такой усталый приходит, что засыпает как убитый...

Павел Николаевич категорически отказался дать согласие на брак дочери:

— Пусть сделает аборт. Мне этот ферт не нравится. Он её бросит, да еще комнату придется ему отдать.

Произошла первая крупная ссора. Татьяна Львовна рыдала, Люба — тоже.

Но Павел Николаевич заупрямился.

Однажды ночью ему не спалось почему-то, вышел на улицу погулять, а в это время Татьяна Львовна в одной рубашке спустилась с сеновала.

Что тут было! Павел Николаевич сам толком не помнил, он почти обезумел...

Простив жену, мягкий и уступчивый Загогулин не шел, однако, ни на какие уступки, когда речь заходила о свадьбе Любы. Студента он прогнал и запретил ему показываться на даче.

И вот тут у неутешной Татьяны Львовны созрел новый план — коварный, жестокий, бесчеловечный, вполне советский, даже модный и широко распространенный в наши дни.

*

Я люблю цветы, не могу без них жить. Но какая страшная судьба: все цветы мои уже многие годы не растут в садах, а только в кладбищенских оградах и на могильных холмах.

Простите меня, если можете.

*

И жизнь бесконечно огромна, непостижимо хороша. Но так бесконечно далеки острова и оазисы счастливых дней в песчаных пустынях выжженных лет и целых эпох, сожженных доглой, засыпанных самумами бедствий и ураганами злодеяний. Надо быть очень зорким, чтобы разглядеть эти оазисы в тумане. Надо быть очень сильным, чтобы не опустились руки, не дрогнули ноги. И надо уметь драться до конца. Драться беспощадно с те-

ми, для которых мир, человечность — растяжимые понятия, люди — подопытные кролики. Кому жалко кролика? И куда он убежит?

И надо понять раз навсегда, что человек и мир — исконные непримиримые враги. Мир — аморфная масса, толпа, стадо; чрево и зад Высокого Человечества; в нем происходят физиологические отправления: добывают и переваривают пищу, дерутся из-за нее, из-за жизненного пространства, из-за извечной драчливости. Она тоже одна из неистребимых функций низменной части населения земли, хотя поэты и лирики пытаются прикрыть эту отвратительную функцию вуалью храбрости, любви к так называемой родине; подумаешь, добродетель — любить свою берлогу, где властвуют разжиревшие свиньи! Истинная родина Человека — Небо, Бог, в котором живет его душа.

Надо произвести это разделение вплоть до полного отделения. Так повелел Господь: Он в мир принес не мир, но меч и разделение. И меня совершенно не трогает судьба низменной части; она сегодня уже не нужна; все эти функции будут лучше выполнять машины. Коммунизм — это стремление аморфной массы поглотить, растворить драгоценные кристаллы: алмазы, рубины, аметисты и выточенные ювелирами бриллианты.

Надо отстоять душу Человека...

*

Татьяна Львовна подружилась с заведующей районным психиатрическим диспансером, Анной Ивановной Передрягиной, молодившейся сорокалетней блондинкой. Сначала Анна Ивановна была просто заказчицей, нашедшей в лице Татьяны Львовны умелую портниху, которой удавалось так удачно декорировать перезрелые прелести Анны Ивановны, что она даже сумела соблазнить самого помощника министра здравоохранения, Христофора Арамовича Бабаджана. Бабаджан и Передрягина отлично понимали друг друга, — у них были одинаковые вкусы и взгляды. Оба они шли успешно вверх по служебной лестнице. И если у Бабаджана был темный угол в его благолепной жизни — жена, то Анна Ивановна, веселая вдова, рада была его утешить.

Подруги, разумеется, делились своими интимными переживаниями, смакуя альковные подробности, и не стеснялись в выражениях. Узнав о затруднениях Татьяны Львовны, Передрягина дала ей добрый совет, как урезонить строптивного мужа...

— Дело очень простое. Напиши нам в диспансер заявление, что муж, который значительно старше тебя и уже страдает импотенцией, устраивает тебе бесконечные сцены ревности и даже грозит.

— Да, он однажды кричал: «Я тебя убью...»

— И без основания?

— Гм... Это как раз, когда он увидел, что я спускаюсь с сеновала...

— Прекрасно... Мы определим, что у него галлюцинации...

Всё это было сделано быстро, со свойственной Татьяне Львовне деловитостью. Через две недели, в семь часов утра, когда все еще в доме спали, раздался звонок в квартире Загогулина, вошли два дюжих санитаров и предъявили предписание — доставить Павла Николаевича в психиатрическую больницу. Спросонья он сначала не мог понять, в чем дело. А Татьяна Львовна ласково уговаривала, даже по голове погладила:

— Надо поехать, Павлик. Ты так устал, заработался, изнервничался, а там — санаторная обстановка. Полечишься, отдохнешь, поправишься.

— Не поеду, — сказал окончательно проснувшись Павел Николаевич.

— Тогда силой повезем, — равнодушно заявил санитар.

— Попробуйте.

Началась драка. Проснулись дети. Кричали, плакали. У обоих верзил были окровавлены морды, но Павел Николаевич был уже связан. Его вынесли. Жена шла рядом. Он плевал на нее и кричал:

— Сука! Стерва! Это ты всё устроила... Дети! Ваша мать — проститутка. Выйду из больницы — я с ней сочтусь. Пошла вон, сука!

Его отвезли в пятое отделение.

Бросили на грязный матрац на полу.

Шестипудовая баба посмотрела на него совиными глазами, — и он сразу присмирел. Сорок человек гоготали, плясали, плевали, курили, ругались, дрались.

Когда его через неделю перевели в палату № 7, ему казалось, что он попал в рай.

4

ОТОЙДИ ОТ МЕНЯ, САТАНА!

Странное затмение наступает, когда тень правды падает на нашу блистательную, идеальную землю. Должно быть, не земля в этом повинна, а правда. Она приносит только зло; обман — единственное сокровище, которое нам удалось похитить.

ДЖОРДЖ МЕРЕДИТ

Может быть, самое удивительное в палате № 7 было то, что все искренне любили друг друга и любили правду, не скрывали её, в то время как за оградой сумасшедшего дома все друг друга ненавидели и в лучшем случае не ставили ни во что, презирали, а пуще всего ненавидели и боялись правды.

Особенно лгали газеты, умалчивая о самом главном. А ведь умолчание — это самый иезуитский метод обмана. Газетам никто не верил, а только молве. Для ответственных коммунистов издавали секретные бюллетени, но и в них далеко не всё сообщали. Как это всегда бывает в тиранических государствах, роль играл очередной тиран, а все остальные, даже руководители, были пешками. В те дни исчез с горизонта один из видных персонажей — Фрол Козлов; одни говорили, что он застрелился, другие, что от волнения его хватил кондрашка. Все знали, что Хрущев расправляется с людьми, как с куклами; Сталин хотя бы устраивал суды, процессы, а этот просто вышвыривал их за борт, как ненужную ветошь.

Правда дружила только с настоящими людьми, с полицейскими она была на ножах. Немудрено, что узники палаты № 7 ненавидели высшее начальство: от министра до вышибал.

Профессор истории Николай Васильевич Морёный, которому недавно минуло двадцать девять лет, занимался почти исключительно средневековыми монголами и, казалось бы, не тревожил советских фашистов. Факультет был доволен им как умным, интересным ученым лектором. Его работа высоко оценивалась учеными, не только отечественными, но и зарубежными.

Но...

Даже не знаю, с какого «но» начать.

Ибо в жизни каждого Человека с большой буквы, имевшего несчастье родиться в советской тюрьме народов, существует множество «но» — поводов попасть в немилость к властям преследующим, и тогда начинается хождение по мукам до самой могилы.

Главное «но» Николая Васильевича Морёного заключалось в том, что хотя он и занимался монголами четырнадцатого века, он был молод, красив, высок, любил жизнь, правду, а главное — красоту, страстно мечтал о красивой жизни на свете и, прежде всего, — на русской земле.

Почему же он занимался средневековыми монголами?

Может быть, он чувствовал к ним особое расположение? Пожалуй. Он ненавидел их всеми силами души. Со школьной скамьи он был поклонником философа Владимира Соловьева и еще более настойчиво, чем его учитель, доказывал, что главная угроза европейской цивилизации, и прежде всего России, исходит от монголов, которые втайне лелеют доктрину панмонголизма, и наступит день, когда китайские коммунисты сговорятся с японскими империалистами и первым делом захватят Сибирь с ее несметными богатствами и огромным жизненным пространством, которого хватит и для тех и для других, а потом возьмутся за Европу. Он даже утверждал, что на новейших секретных картах китайского генерального штаба Восточная Сибирь уже окрашена в китайский желто-бурый цвет — монгольский цвет кожи.

— Именно для этой цели, — говорил он однажды собиравшимся у него постоянно на дому студентам, среди которых были также комсомольцы Володя Антонов и Толя Жуков, ныне обитающие вместе с ним в палате № 7; они лежали рядом, — учитель и ученики, — и называли свой край историческим факультетом; даже фельдшер Стрункин покрикивал: — «Эй, исторический факультет, давайте на ужин!» А иконописная сестра Дина, тайно влюбленная в Толю Жукова: — «Святая троица, вы будете наконец спать?» Так вот Николай Васильевич говорил:

... — Именно для этой цели китайцы затрачивают огромные средства, чтобы создать свою атомную бомбу. Наши говорят, что, мол, китайские руководители такой безрассудной тратой огромных средств создают невыносимые условия для широких слоев народа, которому и без того тяжело живется, что, мол, атомных бомб хватит в Советском Союзе, чтобы защитить весь социалистический лагерь, а того не соображают, что китайские атомные бомбы предназначаются прежде всего для Советского Союза. Во-

обще этот так называемый нерушимый социалистический лагерь рассыпается на наших глазах, как многоэтажный карточный домик. Нельзя же, в самом деле, серьезно говорить о едином содружестве, когда появилось уже несколько разных социализмов, которые поливают помоями друг друга и по сути дела ведут между собой самую настоящую холодную войну. И этого марксистского социализма полностью придерживаются только наши глупцы. И не могут понять, что не из-за отвлеченных теоретических споров китайцы нас протирают с песочком почище, чем американцы, и мало-помалу организуют свой интернационал, направленный против нас. Если исключить из советского блока явных врагов — Китай, Албанию и Корею, которая примыкает к ним, — да и в других странах есть брожения, — то от пресловутой трети человечества в едином социалистическом лагере остается только одна десятая, — сегодня мы уже можем это констатировать. Наивно также думать, что в Польше и Венгрии действительно господствует социалистическая тишь и гладь; поляки и венгры — европейцы, стало быть, индивидуалисты, и они никогда не примирятся с ролью сателлитов советской олигархии. Не совсем ладно в Чехословакии и Румынии. Да и у нас недовольство растет с каждым годом. Хрущева всё больше ненавидят, были и покушения на него — немудрено, — народ голодает... И для спасения России нам, всей русской интеллигенции, надо теперь бороться на два фронта: с одной стороны, покончить с советским фашизмом, с другой — бороться с монгольской опасностью; и для этого необходима поддержка Запада, особенно Америки.

В просторной квартире Николая Васильевича, где он жил вдвоем с большой старухой-матерью, — он был убежденный холостяк, — такие собрания устраивались часто. На них бывали только мужчины.

— Мы заняты серьезным делом, — как-то сказал по этому поводу Николай Васильевич, — и не исключено, что именно мы будем той искрой, из которой разгорится пламя. Мы оцениваем прошлое и настоящее, готовим будущее для народа. А женщины, даже самые лучшие, оценивают наши мужские дела только с точки зрения мужчин, с которыми они спят, — вместе с любовниками или сожителями меняют также идеи, если они у них есть, а это явление редкое. Им решительно нельзя доверять таких серьезных дел как подготовка будущего. Опасно:

И хотя ни одна женщина не участвовала в сборищах, и все как будто знали друг друга, однажды, почти в то же время, когда

это случилось с Алмазовым и Загогулиным, «чумовозка» доставила в палату № 7 и Николая Васильевича Морёного.

Молодые друзья его и ученики были ошеломлены. И прежде всего перед всеми встал вопрос:

— Кто предал?

Шли недели, месяцы, но им ничего не удалось узнать. Они продолжали собираться. Дошло до того, что им тяжело стало смотреть в глаза друг другу, — каждый чувствовал себя в какой-то мере виноватым. В университете начали преследовать комсомольцев, которые открыто выражали свое возмущение. Особенно терзали Толю Жукова и Володю Антонова. Их допрашивали комсомольские и партийные секретари и чекисты, а часто те и другие вместе. Володе и Толе, как обычно, говорили, что всё им хорошо известно, и если от них добиваются показаний, то лишь для того, чтобы облегчить их участь. Они, мол, простые ребята, неопытные, и Морёный увлек их на ложный путь; пока, мол, они себя не дискредитировали никакими преступными действиями, иначе с ними говорили бы по-иному; но теперь им только хотят помочь, проверить их искренность, лояльность; их даже не исключают из комсомола. Однако жандармы не могли от них ничего добиться. Но не оставляли их в покое ни на один день.

Толя Жуков и Володя Антонов были настолько не схожи между собой во всех отношениях, что их можно было бы называть антагонистами; совершенно по-разному сложились также их судьбы, и тем не менее они были закадычными друзьями.

Толя — высокий, светлорусый, с задумчивыми глазами, романтичный и даже немного женственный, — вырос в атмосфере усадебной, если не оранжерейной. Рано потеряв родителей, — отец был генералом, — он жил с двухлетнего возраста с бабушкой, тоже генеральской вдовой, в маленьком домике неподалеку от Троице-Сергиевой Лавры. Домик утопал в зелени. Восьмидесятилетняя Варвара Петровна Жукова обожала цветы, церковное пение, какого-то очень доброго, общедоступного Бога, и все эти привязанности передала Толе. Она получала приличную пенсию, а также Толину, — генерал Жуков, отец Толи, был убит на войне, — и жили они в достатке. Не было и особых прихотей у Толи. Он был равнодушен к пьяным гулянкам студентов, к вину, к легкомысленным связям. Много читал, неплохо играл на рояле, изучил французский язык, прилежно учился, — на исторический факультет пошел по призванию и главным образом занимался философией истории и философией вообще. Он думал, что глав-

ная задача серьезного, независимого историка, — не партийного лакея, а свободного мыслителя, — решать основной вопрос: есть ли в истории какой-нибудь смысл или идея? Является ли история человечества закономерным процессом или собранием скверных анекдотов? Большинство студентов этой проблемой совсем не интересовалось. История была для них просто их будущим ремеслом. У них были другие проблемы: деньги, девочки, гулянки. Они даже не понимали, как это молодого парня могут волновать такие отвлеченные понятия, — не всё ли равно, есть законы истории или нет, — что от этого изменяется? Не удивительно, что, встретившись с Володей Антоновым, которого мучили те же проблемы, Толя очень к нему привязался, и нисколько не романтичный Володя даже посмеивался над его сентиментальностью, хотя тоже любил Толю. Но если Толя вырос в тепличной обстановке, то Володя вырос в котле, в самом настоящем котле на окраине города Раздольного. Родителей он не помнил и даже не знал, кем был его отец. Казачка Марфа, торговка, гулящая, воровка и содержательница притона — так последовательно менялись ее профессии по мере того как шли года и постепенно терялась красота, привлекательность, ловкость, удачливость, здоровье, — так вот она говорила, что мать Володи тоже была гулящая баба; с кем она прижила Володю, сказать она не может, знает только, что проклинала судьбу, когда мальчишка появился на свет Божий, сплывила его в станицу к какой-то дальней родственнице, но Володька оттуда сбежал и жил в котле на окраине с другими беспризорниками. Оттуда Марфа его и взяла, уже во время своего воровского житья, — больно красивый мальчонка был, ловкий, сильный и маленький — в самый раз домушничать, в любую форточку пролезет, — и работал отменно.

Попадался Володька. Побывал в колониях, лагерях, но после всех скитаний вернулся в родные места. Здесь Володя подружился с одним калекой Кузьмой — ему ногу отрезало, когда неудачно соскочил с поезда на ходу: его настигала погоня шпиков из уголовного розыска. Калека занимался скупкой краденого. Жил бобылем, совсем неладно, в доме — беспорядок, грязь, а человек ласковый, добрый, задумчивый, любил серьезные книги и больше всего библию. Из писателей больше всех любил Лескова, которого буквально заучивал наизусть, знал также на зубок житие протоппа Аввакума, «Подражание Христу» Фомы Кемпийского, а также творения Августина Блаженного, Клавдиана, «Тайную ис-

торию» Прокопия. Стал давать эти книги Володе, и тот быстро пристрастился к чтению.

Володька задумал сосватать Марфу своему другу Кузьме. Все они говорили друг другу «ты», как равные. Володя даже не помнил их отчества, а, может быть, и не слышал никогда, — в этой среде не принято называть по имени и отчеству, — у всех были клички. Кузьму звали Пан, Марфу — Лейка, а Володьку — Пиль.

И вот пришел он к Марфе:

— Послушай, Лейка. Неладно мы живем. Как ни говори, тебе настоящего хахала надо, ты уже не молоденькая. Я еще маленький, мужичьего места занять не могу, а ты еще ядреная, — так я Пана хочу тебе сосватать, ему тоже маруха нужна, а то живет — смотреть тошно, даже приварок некому сготовить — мужик, сама знаешь, серьезный. Мы и насчет коммерции столковались. Товар, значит, мы ему сдаем, профита ему половина, потому магазин у него, а мы — налегке, чтоб ни шу-шу, еще сказал, что на меня будет специально откладывать, потому — я молодой, может, в другие края потянет, так должен я иметь свой капитал.

Так и зажили они, мирно, ладно. Потом стали заниматься только продажей краденого. Марфа хозяйничала, а Володька пошел учиться. И до того увлекся разными науками, что про всё остальное на свете забыл, кончил школу с золотой медалью и поступил на исторический факультет уже с некой законченной философией, в основу которой легло учение Ницше.

Володя Антонов даже написал философский трактат, озаглавленный «Эврика!»

«На земле существует только Человек, — писал он во введении, — всё остальное — миф, досужий вымысел, глупая абстракция, ерундистика в кубе. Человек способен на всё — ибо Человек это — сверхчеловек (Человек как имя собственное, а не нарицательное) — то-есть бог. Их немного — Человеков (не смешивать с людьми). Но с тех пор как они появились на свет, человекообразные людишки — имя им легион — начали охоту за ними и пойманных приковали к утесам, — отсюда миф о Прометее. Земля создана для Человека, а не для обезьян.

Но обезьяны думают иначе, — вернее, думать они не умеют, а мысли эти внушили им укротители и дрессировщики, более известные под именами вождей, пророков, священников. Укротители, поставившие себе задачу выдрессировать весь мир по своему фальшивому эталону, всегда дерутся из-за пальмы первен-

ства, уничтожают друг друга и свои стада и паствы, но не унимаются и, как видно, не собираются прекратить эту всемирную волюнку, даже наоборот — настолько активизировались, что решили в крайнем случае реализовать лозунг древних римлян — «*pereat mundus, fiat justitia*» — что в свободном переводе означает — «пусть погибает мир, если я не буду владеть им!» В этом, собственно, и заключается вся история человечества, которую стараются замаскировать каждый на свой лад целые банды партийных историков и литераторов, особенно экстремистских тоталитарных партий.

История могла бы стать наукой, если бы она отдалилась от государства и правящих партий, как церковь. Это еще понял автор «Тайной истории» Прокопий, который писал одну официальную для римского императора Юстиниана, а другую для себя и для мира. Но честного и правдивого историка так же трудно найти в мире, как черный алмаз.

Чувствую, что сейчас в мире возникла новая задача: сначала сделать человеческую историю, то-есть покончить с заговором обезьян, а потом уж писать подлинную историю человечества.

Не исключено, что эта задача возложена и на меня. Ибо я один из немногих свободных Человеков. Свобода мысли — вот чего не хватает для победы!

Прежде всего — переоцените все ценности!

Так завещал величайший учитель мира — Фридрих Ницше.

Ницше — единственный настоящий философ — творец Идеи!

Достоевский — единственный поэт — творец художественного мира.

Помните, — ничего нельзя исправить в этом мире.

Всё должно пойти на свалку — все тюрьмы народов — государства, все истории, целые расы, а вместе с ними все мягкотелые гуманисты. Они так же излишни, как несъедобные моллюски.

Чтобы создать на земле гармонию, надо ее сначала хорошо очистить, как всегда очищают строительную площадку перед тем, как приступить к работе...»

— Ну, пожалуй, хватит, — сказал Володя Антонов, взъерошив по давно закрепившейся привычке свою густую шевелюру.

— Отойди от меня, Сатана! — в ужасе отмахнулся Толя Жуков.

— Изложите свои возражения, Толя, — сказал Николай Васильевич.

Толя был сильно взволнован, щеки его горели, голос дрожал.

— С основным тезисом Володи, что Человек — это всё, я абсолютно согласен. Но... им руководит не Бог, а Сатана, если он договорился до того, чтобы уничтожать целые народы. Господь сказал: «Не убий!» И даже если стать на чисто светскую точку зрения, то разве можно строить новый мир, отвергнув гуманизм, — тогда ведь, если уж быть последовательным до конца, придется оправдать и фашизм.

— Не передергивай, Толя, — вскипел Володя, вскочил и зашагал по просторному кабинету Николая Васильевича. — Фашизм — это как раз обратное — человекообразные уничтожают Человека, — вот это именно и недопустимо с точки зрения подлинного гуманизма, который против человекообразия во имя Человека. За примерами ходить недалеко. Человекообразная сволочь в нашей стране уничтожила почти всех лучших людей, элиту нашего общества. Это, по-твоему, гуманизм? А почему это им удалось? Потому что мы их своевременно не уничтожили. И я тебя уверяю, — если мы не уничтожим эту банду, она уничтожит и нас.

— Нет, нет... отойди от меня, Сатана! — отмахивался Толя. — Нельзя насильно завоевать свободу. Насилие порождает насилие. Я надеюсь, что наука и техника, которые уже сегодня творят чудеса, создадут условия, при которых человечество сможет решить все экономические проблемы. Если у всех будет достаточно хлеба и, пожалуй, сахара — тебе, пусть даже с твоей необычайной индивидуальностью, дадут жить, как тебе захочется. При настоящем коммунизме не будет тех безобразий, которые сегодня сводят на нет все достижения. Я согласен, что у нас нет никакого социализма, — конечно, у нас царит фашизм, — но когда будут разрешены экономические проблемы, никто тебе не помешает проповедовать нищезанство или что-нибудь другое.

— В этом-то и ваше главное заблуждение, Толя, — сказал Николай Васильевич. — Несомненно прав Володя. А почему? Да потому, что когда будут разрешены экономические проблемы, никто тебя не помилует, если ты Человек, — настанет царство торжествующих жирных свиней. А жирная свинья тоже имеет свой нрав. Ей, как известно, нравится хрюкать и разводить всякое свинство. И всякому, который вздумает петь, а не хрюкать,

она быстро зажмет глотку. В свиной монастырь, вы, Толя, со своим соловьиным уставом не сунетесь, — свинье ничего не стоит сожрать соловушку вместе с перьями. Бесчеловечность, беспредельная жестокость являются характерными чертами всех коллективистических формаций, всё равно — правит ли партия, тиран или король. В Вавилоне, в гитлеровской Германии и у нас творились все злодеяния безнаказанно, с одним и тем же оправданием — для высшего блага народного. А пресловутые народы в природе не существуют, — Человечи плюс стадо вовсе не составляют народа, ибо это величины несоизмеримые, как воздух и свиное сало; это две противоборствующие стихии, непримиримые, как огонь и вода; исход может быть только такой: или Человек победит стадо, или стадо сотрет Человека с лица земли. Третьего не дано. Ни язык, ни географическое пространство, ни обычаи не могут объединить меня со Сталиным или Хрущевым. Мы оба говорим по-русски, но друг друга не понимаем и никогда не пойдем, и хотя живем в одном городе, но далеки друг от друга, как Земля от туманности Андромеды. В то же время мне близки и понятны Сартр и Роб-Грийе, хотя я никогда не был во Франции и неважно говорю по-французски.

И так постоянно спорили Толя и Володя — они знали, что любят одно и то же, ненавидят тех же врагов, но пути были разные, — так им казалось, — но в действительности они уже шли по одной крутой тропе. Толя Жуков ненавидел всякое насилие и жестокость, а Володя вырос в море насилия и жестокости. Он, вероятно, никогда не забудет новогоднюю ночь в товарном вагоне на крупной узловой станции Тихорецкой. Их было четверо. Играли в очко. Володя Антонов проиграл все деньги и всю одежду, что была на нем, — он остался в одних трусах. Мороз был небольшой, градусов семь, но из кубанской степи дул пронзительный норд-ост. Володя, очень худой, тщедушный, весь посинел, на щеках его замерзли злые слезы, он жевал стебелек засохшей горькой полыни, в животе нарастала колющая боль, и тогда Петька, по прозванию Ворон, — черный весь, как цыган, — сплюнул сквозь зубы и сказал:

— Ну, пока, Пиль... Гольй, ты как пойдешь? А мы побежим к кирпичному заводу — там тепло. Но тебе не дойти.

Ушли. Это был закон жизни на этой земле. И Володя не обиделся на них. Он поступил бы так же. Он теперь хорошо знал, что такое жестокость и бесчеловечность. И знал, что их можно уничтожить только насилием. Два года он провел в колонии для мало-

летних преступников, где не было легендарного дяди Макаренко, а каты и бандиты, — они засекали ребят насмерть. Заставляли их шпионить и наушничать, морили голодом. И так складывались главы его личной педагогической поэмы, что он даже усомнился, было ли вообще всё то, что описал Макаренко, — ведь он замечательный писатель, ему и сочинить недолго всё это. За годы скитаний Володе Антонову пришлось побывать во многих лагерях, встретить сотни ребят, — большинство так же, как Володя, не раз бежали из колоний. Почему бежали? От кого убегали? От бесчеловечности, жестокости. От Макаренко не убежишь. Но где он? Говорят, есть страна Эльдorado... или Муравия... но никто её не видел, кроме сочинителей.

И вот он вырос.

В университете он нашел наконец настоящих людей. Мечтал. Думал. Колебался. Верил в будущее. Решил отдать этому будущему все силы; отказался от житейских благ, любви, всего смягчающего; готовился к борьбе.

В это время Николай Васильевич Морёный был для него всем. Отцом, учителем, другом. А Толя Жуков — братом младшим, легко ранимым, нуждающимся в защите.

Вот так они жили.

Но Сатана от них не отходил ни на шаг.

5

Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ, НО МЕНЯ ЛЮБИТ СМЕРТЬ

Должно быть, так суждено! Жалеть меня нечего! Что они ненавидят правду — худо. Что не понимают ее прелести — досадно. Что им так дороги чад, мишура и всякое бесчестие — отвратительно.

Нет, не стану примиряться! Они меня не терпят — отлично, я их тоже не выношу.

ТОМАС МАНН

Мўла манит вперед звон бубенчиков, — кто-то в мире сказал это, — какая удивительная правда! И я, ищущий правду в пустыне, преследуемый дикими зверьми, не устаю, не теряю сил и надежд, потому что меня, как ангельски терпеливого мўла, манит

неустанно вперед звон бубенчиков — это Правда шагает по земле. Вот-вот догоню ее, увижу... И вдруг затихает звон бубенчиков, уже еле слышен, но слышен — слышу его всеми фибрами души и только одного опасаясь — рассказал ли я о восхождении на Голгофу так, чтобы люди воочию увидели Человека, несущего свой крест.

Но я знаю, что люди мне поверят и увидят двух страстотерпцев, Толю Жукова и Володю Антонова, сидящих на Воробьевых горах, — почему-то захотелось назвать их этим старым именем, вспомнил дорогих сердцу моему Герцена и Огарева, — вокруг пестро раскрашенный день листопада, и солнце изо всех сил старается разогреть их остывающие сердца, — учитель сидит в сумасшедшем доме, палачи на него надели смирительную рубашку.

— Не могу больше, — сказал Толя Жуков, — загнали меня совсем эти собаки. Комсомол называется! Да это же самый настоящий полицейский застеноч!

— Наконец-то дошло до тебя, — огрызнулся Володя Антонов. Злыми, покрасневшими от бессонницы глазами смотрел он на буйный пир листопада.

— Как же тогда жить? — встрепенулся Толя и сжал кулаки, словно хотел броситься на невидимого врага.

— Как? Если бы я знал! Однако я уверен, что жить надо, — не сдаваться же на милость рабовладельцам коммунистической империи. Николай Васильевич всегда это говорил.

— Но если так будет бесконечно! Так! Становится все хуже и хуже. Помнишь, Николай Васильевич сказал, что на июньском идеологическом пленуме партия объявила войну всей мыслящей интеллигенции, не казенной, конечно, а тем, которые не заложили свою душу в коммунистическом ломбарде. Какая у нас, молодежи, перспектива? Да никакой. Вот мы окончим университет, — о подлинной научной работе не может быть и речи, — мы же никогда не согласимся фальсифицировать историю. Значит, остается одно — поступить преподавателем в школу и преподавать заведомую казенную чушь ребятам, которые, к счастью, тебя слушать не будут, на перемене прочтут заданный урок, чтобы получить личную отметку, а на другой день забудут то, что учили.

— Но ты забыл — мы, молодые, обязаны дожить до коммунизма, — саркастически усмехнулся Антонов.

— Вот именно — обязаны. А что такое коммунизм? Это апофеоз нищеты, гибель личности, однокомнатная квартира с низкими потолками, полуванной-полуклозетом — одним словом, мало-

габаритное существование с манной кашей, кроватью-диваном-шкафом-столом-этажеркой в одном агрегате, — я уже видел такое чудо коммунистического быта в мебельном магазине. Даже не выпьешь с горя. Неположено по этикету.

— Эх, мне бы сейчас марфафет понюхать. Ты нюхал когда-нибудь?

— Это что — кокаин?

— Да, сильная штука, всякое дерьмо окрашивает в розовый цвет.

— Нет, Володя, это не выход.

— Ну ладно. Так и будем жить?

— А что делать?

— Вечно это «что делать?» Не спрашивать — а делать! — крикнул Володя.

— Зачем кричишь? — удивился Толя. — И на кого?

— Ладно, я пошел, — сказал Володя, вскочил и размашистым шагом, не простившись, ушел.

Толя еще долго лежал на траве. Смотрел в небо, где догорал закат. Как прекрасен мир! И как загадили его. Почему так получается, что все прекрасные идеи в процессе осуществления искажаются до неузнаваемости, — и в результате вместо социализма получается отвратительная тирания?

Страшная мысль пришла ему в голову:

— Да существует ли в мире прогресс? Ведь с точки зрения морали, гуманизма, первобытное общество без государства, судов, тюрем, полицейских стояло намного выше нынешнего. Это признает даже Энгельс. К чему же привели поиски лучшего образа жизни за столько тысячелетий? Почему люди могли жить согласно, красиво, без миллионов полицейских? И этим чудесным хором дирижировал один старик, у которого не было ни оружия, ни охраны — и все его слушали беспрекословно, уважали, почитали. А ныне вождь охраняет целая армия полицейских от народной любви. В чем же дело? Должно быть, человечество выродилось. И самые худшие выродки из толпы пролезают в вожди. Власть — вот страшный яд. Жажда власти, разгула, разбоя, характерная для голытьбы... А справедливость — это то, что им нравится. Сталин — классический тип такого хамского тирана. И то, что партия пошла за ним, молча приняла его злодеяния и помогала ему, показывает, что партия не лучше его. Ханжеские рацеи Хрущева никого не введут в заблуждение.

Что же дальше?

Ночь.

Хороводы звезд кружатся по черному небу, неслышно аккомпанирует оркестр, и Толя старается уловить гармонию, но не может.

Дома его встречает бабушка — она тоже вся серебристая, словно в ее волосах запутались звезды, и в глазах — тоже. Безмолвно и пугливо глядит она на Толю, хочет что-то сказать и не может, только часто осеняет его крестными знаменьями.

✱

Толя долго и мучительно старался потом вспомнить дальнейший ход событий этой ночи, так изменивший его судьбу. Что же это было — поворот судьбы, акт сознательной воли или временное умопомрачение, случайность.

Войдя в свою комнату, Толя долго читал повесть из «Тысячи и одной ночи». Среди удивительных книг, созданных добрым гением человечества, сказки Шахеразды казались ему едва ли не самыми чарующими. Но была ли когда-нибудь такая жизнь на земле? Может быть, это просто изящная выдумка арабских всадников, — ведь у них лучшие кони в мире, — и кто знает, куда эти волшебные кони, неутомимые и быстрые, как птицы, уносили их фантазию, всегда раскаленную знойным дыханием южных пустынь, самумами и сирокко; да ведь и воображение их рождалось веками среди миражей африканских горизонтов, их огненные взоры видели дальше и глубже, чем наши светлые глаза среди туманенных далей и лилового марева тающих северных горизонтов.

Самым замечательным казалось Толе, что люди настолько верили в силу поэтического слова, что пытались им заговорить судьбу, как известно — неумолимую. Много было таинственного и непостижимого в этих дивных сказаниях, но Толя понимал все, хотя многое и не смог бы выразить словами. Но часто, читая эти книги, он внимал боевым призывам, — все повести были посвящены сильным, могучим людям, не знавшим страха, считавшим любое дело легким.

Стоит твердыня — гора Синай, пылает
битва на горе,
А ты, Моисей, допрашиваешь время.
Так брось же посох свой, — он топчет
все творенья

— иль боишься, что веревка коброй может
стать?

В бою читай писанья вражьи, как стих корана,
И пусть твой меч стихи на вражьих шеях
вырезает.

Толя Жуков изучил арабский язык и читал сказания в подлиннике, — русский перевод был настолько беспомощным, что разрушал все очарование этой неповторимой книги, да и французский оставлял желать много лучшего. Он перевел ряд фрагментов, и все цитаты здесь даны в его переводе.

Да... разве он сам, Толя Жуков, не стоял сейчас на горе, подобно Моисею, и не допрашивал время? Оно было чертовски виновато, совершило тысячи тягчайших злодеяний, ему больше нечего сказать, и оно молчит. Никакими уловками бывалого следователя не добьешься от него показаний. Но, может быть, все эти злодеяния — только веревка, которой трус может удавиться, а мудрец пройдет мимо, не обратив внимания, — пусть валяются у дороги, — ведь это веревки, а не ядовитые кобры. И если ты сумел по достоинству оценить вражьи действия, — они записаны в их летописях, — ты сумеешь дать им достойный ответ; не отписывайся, не трать попусту слов, а ответ напиши мечом на их шеях.

Чудесная программа!

Может быть, думал Толя Жуков, *вся наша беда в том и состоит, что мы переоценили вражью силу, а свою недооцениваем?*

...но то, что свершиться должно, не верши
ухищреньем,
а силой! И настанет, чему быть суждено;
чему быть суждено, совершится в
в назначенный час.

И только глупец унывает всегда в ожиданьи.

Да — свершится — это я знаю, думал Толя. Но где взять силы для борьбы и терпение — влачить рабское существование? У меня нет сил — вокруг мало людей, готовых ринуться в бой, хотя ненависть растет и ряды возмущенных ширятся. Полководец в сумасшедшем доме, в плену у врага. Вокруг меня и Володи мало-помалу образуется знакомая пустота, — еще не прошел сталинский страх, сковавший народ на десятилетия, а новое поколение еще не выросло. Я одинок, — в моем подсумке нет патронов. Главное, нет никакого запаса оптимизма. А у кого из недюжинных людей он был? Все большие поэты были пессимистами. Леопарди,

Байрон, Лермонтов, Гейне, Блок, Пастернак. Пушкина можно выразить в одной потрясающей строке —

Безумных лет угасшее веселье...

А Лермонтов —

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг —
Такая пустая и глупая шутка.

Конечно, все они любили жизнь. И я, и Володя, и Николай Васильевич любим ее безумно...

Устами Каина Байрон кричит на весь мир, и кажется мне, что это мы кричим.

И это я, который ненавидел так страстно смерть,
Что даже мысль о смерти
Всю жизнь мне отравила, — это я
Смерть в мир призвал, чтоб собственного брата
Толкнуть в ее холодные объятия!

А Шекспир?

Разве не он уже триста лет вопрошает:

Быть иль не быть?

Так, может быть, во много раз лучше — не быть? Николай Васильевич и Володя изнемогают в страшной борьбе, — и мне тоже, как обреченному Каину, надо будет убивать своих братьев? Разве они виноваты в том, что они заблуждаются, или глупы, или недостаточно прозорливы? Наступит ли когда-нибудь такое время, когда все люди станут Человеками? Значит, истреблять всех, пока перестанут рождаться бараны? Нет, на это я не способен, не могу так... Ведь Каин, честно полагавший, что на земле не место мелкотравчатым и недалеким авелям, в конечном счете не стал счастливее, а влачил мучительное существование, снедаемый угрызениями совести. Что же — быть нам вечными каинами?

Значит — выхода нет?

Толя глядел в окно на черную бездну неба, на такие далекие безучастные звезды, — их холодный свет, льющийся тихими струями, уже не может омыть его запыленные мысли, — они как будто говорят: вы так далеки от нас, что мы вас и различить не можем. Как же вам помочь?

Опять Ноев ковчег? Ты помнишь жалобы Иафета?

...Ужели

лишь нас с отцом, да тварей, им избранных,
спасет Творец?

Братья — люди! Я увижу

великую могилу! Кто ж со мною
разделит скорбь? Увы, никто. И лучше ль
мой рок, чем ваш?

Да и не будет ли истребление миллионов людей еще более
страшным злодеянием, чем убийство брата?

Толя чувствовал, что сомнения, колебания, муки обвиваются
вокруг него и душат, жалют — нет, не как простая веревка, а как
ядовитая кобра.

Шла ночь.

За один день можно перевернуть мир.

За одну ночь можно его уничтожить.

Чтобы перевернуть мир, необходимо одновременное дейст-
вие больших масс.

Чтобы уничтожить мир, достаточно одного человека, который
нажмет кнопку на катапульте или гашетку пистолета; исчезнет
ли весь мир или исчезнет один Человек — разницы нет. Если ме-
ня нет, то кто докажет, что существует мир?

Шла ночь крадущимся шагом, словно вор, который незнака-
занно похищал у людей их тепло, свет, радости, и Толя Жуков да-
же не подозревал, что эта ночь задумала похитить и его жизнь.
Он никак не мог вспомнить, как открыл тумбочку у постели, как
вынул оттуда бритву, как написал на клочке бумаги размашист-
тым почерком «Я люблю жизнь, но меня любит смерть», как пе-
ререзал себе горло.

Было уже очень поздно, потому что вскоре бабушка встала
и перед тем, как отправиться в церковь, зашла в комнату Толи.
Он лежал на тахте одетый, весь залитый кровью.

Сонную артерию он даже не задел, только горло глубоко раз-
резал; с трудом говорил — хрипел. Потом — переливание крови, и
четыре дня спустя его отвезли в больницу, только не хирургичес-
кую, а на Канатчикову дачу, — ведь ему не нравится советский
рай.

В палате № 7 он впервые обнял и расцеловал Николая Ва-
сильевича, который вообще не любил сентиментальностей, — но
встреча друзей в аду, — сами понимаете...

*

Володя Антонов тогда впервые в жизни испугался.

Помнил он себя хорошо с четырехлетнего возраста и может
покаяться, что никогда ничего не боялся, — ни жизни, ни смер-
ти. А вот сейчас испугался. У него было такое ощущение, что без-

жалостный палач снова хочет отнять у него всё, как тогда в товарном вагоне Петька Ворон, и пустить его голым на мороз навсегда, — страшный холод начал вливаться в его сердце, замораживать кровь в жилах.

Что ж это такое?

Сначала Николай Васильевич. Потом Толя. А сегодня Коля Силин ночью принял пятьдесят таблеток барбамила — еле откачали. Коля Силин был уже на последнем курсе, много работал, и Николай Васильевич Морёный предсказывал ему большое будущее, если ему удастся уехать за границу. Коля Силин занимался историей этрусков и был влюблен в этот великий народ, о котором так мало известно современникам, — разве только, что они имели большую культуру и несравненное искусство; но даже вульгарные нувориши говорили с особым почтением об этрусских вазах. Коля Силин считал, что этрусская культура — фундамент римской цивилизации.

Жизнь Коли Силина сложилась своеобразно. Четырехлетним он уехал в Рим с отцом, который был назначен в советское посольство. Отец был не дипломатом, а крупным работником госбезопасности. В Риме они прожили десять лет. Коля вместе с отцом исколесил всю Италию и полюбил ее навсегда большой сыновьей любовью, даже дневник свой вел на итальянском языке. Девять лет, прожитые после этого в Москве, не только не сблизили его с родиной, но еще больше отдалили от нее. В университете он стал замкнутым, всегда мрачным, сторонился товарищей, ни с кем не дружил; в прошлом году его исключили из комсомола, так как он наотрез отказался поехать на целину убирать урожай. Он очень резко выступил на собрании, сказал между прочим:

«Я пришел к убеждению, что марксизм вообще и советский строй в частности — это явление регресса, шаг назад в развитии человечества. Я не стану говорить о весьма сомнительных экономических достижениях, — космическими полетами не затмить того страшного факта, что сегодня, чуть ли не через полвека, в большинстве городов и посёлков страны даже трудно достать хлеб, черный хлеб, — но деградация культуры, полное вырождение искусства, — они сейчас у нас на более низком уровне, чем три тысячелетия назад у этрусков, я уже не говорю об эллинах, — отвратительный сервизм советской интеллигенции отбросил Россию назад, в допетровскую эпоху. После июньского пленума у нас уже невозможна борьба идей, без которой немьслим прогресс. Официальная философия марксизма — это по сути де-

ла самый низкопробный прагматизм, догматическая схоластика. Да что говорить...»

Его исключили из университета. Впрочем, еще до исключения он сам перестал ходить в университет. Незадолго до этого он начал сближаться с кружком профессора Морёного, но сблизиться не успел, так как Морёный вскоре попал в палату № 7. Потом он стал работать в качестве телефониста, ушел из дому, — он снял за двадцать рублей в месяц комнатуху в подмосковной деревушке, в простой избе. Дома даже не показывался. Никаких объяснений ни отцу, ни матери не дал и даже разговаривать с отцом наотрез отказался.

И вот — печальный исход.

Барбамил — институт Склифасовского — палата № 7.

Володя Антонов, не обладавший ни выдержкой Коли, ни добродушием Толи Жукова, напился до потери сознания, избил милиционера и бросился в Москва-реку. Когда его вытащили, он дрался, царапал лица и руки спасителей, пьяным голосом кричал:

— Сволочи! Фашисты! Я люблю жизнь!

И в течение одного месяца, золотисто-багрового октября, еще трех самоубийц — Толю Жукова, Колю Силина и Володю Антонова — доставили в палату № 7, где уж третий месяц жил Семен Савельевич Самделов, пытавшийся повеситься в уборной, — веревку, хорошо намыленную, он и сейчас прятал под матрацем.

*

Я люблю Жизнь, но меня любит Смерть.

6

О, ДАЙТЕ, ДАЙТЕ МНЕ СВОБОДУ

*При слове «бегство» в жилах кровь
течет скорее, словно вырастают крылья
для свободного полета.*

ЭМИЛИЯ ДИККИНСОН

Главой «американцев» был всеми признан Василий Васильевич Голин. Как же, — он писал послание самому президенту Кеннеди и пытался передать его в американское посольство. Он вертелся в нерешительности на тротуаре у здания посольства, и

тут его пригласили в будку: разговор был короткий, и через час он уже отдыхал на койке в палате № 7.

Вместе с ним в одной «чумовозке» прибыла на Канатчикову дачу Наташа Ростова (ничего не поделаешь, так ее звали, — автор не намерен пародировать героиню Льва Толстого, перед которой преклоняется). Она оказалась более удачливой, — ей удалось перебросить письмо через каменную ограду во двор посольства.

Говорить им особенно не пришлось, — в машине сидели вышибалы. Василий Васильевич только успел узнать, что Наташе двадцать два года, что она дочь профессора музыковедения, учится в консерватории по классу пения, — колоратурное сопрано, — что она невеста адвоката Шипова, молодого, но уже известного, но женой его вряд ли будет, что — «знаете, я жуткая дурёха и пропащая — делаю одну глупость за другой и не могу остановиться».

Это он услышал и еще увидел очаровательную девушку, только не брюнетку, как толстовская Наташа, а золотоволосую, голубоглазую, с певучим голосом, порывистую, веселую, — дурёхой она никак не казалась, а пропащей — пожалуй. Во всяком случае, он почему-то сразу поверил, что она не будет женой адвоката Шипова, верной до гроба, не будет нянчить детей и озабоченно рассматривать зеленые пятна на пеленках. А даже совсем наоборот. Василий Васильевич всю жизнь не мог простить Толстому эти пеленки.

Вообще и сам Василий Васильевич был человек явно пропащий, хотя считал себя положительным, серьезным и даже благонамеренным; писал стихи в духе Надсона, которые сам называл «стишонками», очень плохие, что его, однако, не смущало. И вот бывает же так: парень как парень, пролетарского происхождения, никогда в жизни не наевшийся досыта, на десять лет моложе советской власти, токарь машиностроительного завода на Волге, и вдруг, будучи двадцатитрехлетним, решает, что советская власть — вещь прекрасная по идее — уже давно выродилась в тиранию и ее надо срочно исправить, пока не поздно. К выводу этому он пришел как раз на рубеже второй половины века, за два года до смерти Сталина, которого он задумал тогда убить, так как был непоколебимо уверен, что именно Сталин, в единственном числе, извратил учение Маркса-Ленина, всё изуродовал, казнил лучших людей, а оставшиеся — трусы, мелкота, холопы, и если их не заменить достойными, страна погибнет. Василий Васильевич, хотя и был убежденным марксистом, всё же считал, что историю делают

личности, а не масса. Это была его единственная поправка к марксизму.

Со свойственной ему в те дни горячностью он стал пропагандировать свои идеи на заводе и вскоре очутился в концлагере на Воркуте, где принял участие в стройке нового угольного бассейна. Там он с удивлением узнал, что все так называемые великие стройки коммунизма — каналы, шахты, электростанции, железные дороги — строили каторжники; очень показательная ситуация, над которой следовало бы задуматься марксисту. Однако Василий Васильевич Голин не обнаружил больших способностей к диалектическому мышлению за шесть лет, проведенных в концлагере, — он был освобожден только после двадцатого съезда партии. По-прежнему в его сознании господствовала нелепая уверенность, что во всем виноват один Сталин, а партия и советская власть — невинные овечки. А теперь, после смерти Сталина, все пойдет по-другому. Однако шли месяцы, годы, и ничего не менялось — он сидел в концлагере; говорили, что специальные комиссии будут разбирать дела заключенных, которых были миллионы, — как будто без разбора не ясно, что все эти люди ни в чем не виновны. Тут у него, правда, зародилась мысль о бюрократизации советского аппарата, какой мир еще не видел, но считал он это тоже наследием культа личности.

Никак не мог он понять, хотя ему и пытались разъяснить люди более толковые, что никакая личность не может сама себя культивировать, что партия давно переродилась в банду холопов, полицейских, карьеристов и ханжей. А банда не может без атамана, который должен быть негибачим, жестоким и своенравным — иначе ему не удержаться. Это видно из того, что сейчас начали новый культ, не меньший культ, чем бывший, хотя личность эта несравненно мельче Сталина.

— Нет, — говорил Голин, — партия переродиться не может.

— А иезуиты? — справедливо возражали ему. — Что общего у иезуитов с христианами? И наша партия претерпела такое же иезуитское перерождение. И нынешняя коммунистическая партия вовсе не марксистско-ленинская, а сталинская, разбойничья, не стесняющаяся в средствах, фашистско-иезуитская.

Голин не соглашался. Он говорил, что товарищи, пострадавшие несправедливо, всё преувеличивают, что они из-за деревьев не видят леса; конечно, есть переродившиеся негодяи, всё это чекисты и чинуши, но партия в целом здорова и справится с этой болезнью, восстановит ленинскую демократию.

Когда его освободили из концлагеря, Голин решил вплотную заняться пропагандой своих идей, надеясь, что сейчас ничто ему не помешает. Написал статью о том, что необходимо скорее восстановить демократию, покончить с бюрократизмом, местничеством, организовать настоящие выборы в Верховный Совет и местные, со свободным выдвижением и соревнованием кандидатов, изменить бюрократическое планирование, ограничить функции чекистов и еще многое.

Статью отказались напечатать; через три дня вызвали в комитет госбезопасности, внушительно с ним побеседовали и предупредили, что в следующий раз, если он не прекратит своей подрывной работы, с ним поступят строже.

Голин вышел из многоэтажного здания КГБ ошеломленный: «Значит, весь этот новый курс, — социалистическая законность, демократия, — это пустые слова, сплошная липа. По-прежнему каждый мыслящий человек — враг, за которым охотятся чекисты. Чорт побери, просчитался я...»

Долго размышлял Голин и наконец пришел к выводу, что нынешний режим, действительно, мало чем отличается от сталинского. Однако по-прежнему считал, что не партия в этом виновата, а что просто народ еще скован страхом после двадцати лет террора и что во всем виноват Хрущев — незадачливый руководитель, мелкий политикан, сумевший путем низких интриг захватить власть, устранить конкурентов. Значит, надо сменить руководство, — историю делают личности. Но как это сделать? И предохранить народ от того, чтобы Хрущева не сменил худший тиран, — ведь миллионы полицейских готовы поддержать любого — они-то уж все сталинские опричники и другими не будут.

Голин знал о брожении и недовольстве в стране. Была трехдневная забастовка и на заводе, где он работал. Но всё это — мелочи. В ближайшее время трудно надеяться на успешное восстание. Народ обескровлен и запуган. Лучшие люди перебиты. И если даже недовольство будет расти, — в этом он не сомневался, — всё же пройдут еще многие годы, пока вырастет новое поколение, более решительное и смелое, которое не захочет мириться с положением рабов.

Однако ждать он не хотел.

Голин считал такое пассивное ожидание недостойным великого русского народа. И у него созрел новый план. Его идеалом теперь был югославский строй. И он решил, что надо обратиться к

Кеннеди, объяснить ему положение вещей, рассказать о всеобщем недовольстве, о том, что русский народ встретит американцев хлебом, солью и колокольным звоном, и даже армия сложит перед ними оружие, поскольку все знают, что американцы не собираются захватывать Россию, а только хотят помочь русскому народу освободиться от узурпаторов. Есть слухи, что в армии даже зреет заговор. Голин уверял, что это единственный путь спасения.

— Поймите, — говорил он, — что наши не осмелятся первыми применить атомное оружие. А Запад не применит. И наши сдадутся без боя... Ну, конечно, придется сделать Западу уступки, — это я насчет Германии. Так не пропадать же нам из-за немцев. Пусть сами дерутся между собой.

В таком духе составленное послание Кеннеди Голин пытался передать американскому послу.

В палате № 7 над его наивностью смеялись все, — однако он не отступал от своей донкихотской позиции, обижался, когда его называли наивным чудаком. Он был ослеплен своей идеей, как маньяк, и это тревожило всех его друзей, — обитатели палаты № 7 чувствовали братскую ответственность за каждого. Голин больше ни о чем не думал, не говорил; у него была жена, маленький сын, но он даже не вспоминал о них, не писал им; возможно, что он и не жил с ними, — он всегда уклонялся от ясного ответа, когда заходил разговор о его близких, и спешил переменить тему. Узнали только, что в последние месяцы он почти не работал, числился прогульщиком, зарабатывал не больше сорока рублей в месяц, ходил чуть ли не в лохмотьях, — у него даже не было пальто, — и питался он так, чтобы только не умереть с голоду. В больнице он стал заметно поправляться.

Вторым «американцем» в палате № 7 был Женя Диамант. Жгучий брюнет, очень похожий на итальянца из Калабрии. Он вернулся недавно из гастрольной поездки по городам Италии, — был в Риме, Милане, Турине, Неаполе, Венеции. Ему минуло недавно двадцать пять, и в Риме он отпраздновал двадцатилетие своей концертной деятельности, — впервые он выступил на праздничном концерте в Кремле пятилетним. Женя был тогда очень маленького роста и играл, стоя на табурете. Он исполнял «Юмореску» Дворжака, и эта пленительная пьеса осталась на всю жизнь его излюбленной вещью, которую он обязательно исполнял на всех своих концертах. Отец, дед, братья, сестры Жени были музыкантами и почти все — скрипачами, только мать была опере-

точной примадонной, часто изменяла отцу, и дома у них всегда было столпотворение.

— Жили мы, как в трактире низшего разряда, — рассказывал Женя. — Отец и мать вечно ругались, устраивали побоища и опять мирились, пили вино, целовались, и так без конца — сумасшедшая карусель. Отец был концертмейстером Большого театра, прекрасный скрипач, педагог, и если бы не злосчастная любовь к матери, которая до старости оставалась в жизни, как на сцене, каскадной субреткой, он стал бы великим артистом. Мы все росли как сорная трава, а было нас пятеро: трое братьев и две сестры; к счастью, в консерватории все знали нашу семью потомственных музыкантов; преподаватели жалели нас и даже нередко подкармливали, хотя отец зарабатывал немало, но дома не всегда бывал обед. Кроме того, мои родители до того были заняты своими переживаниями, ссорами, примирениями, что попросту забывали о существовании своих пяти отпрысков; я был самым младшим. Наконец развал нашей семьи достиг своего апогея; родителей я неимоверно боялся, они казались мне чужими и враждебными, — матерью моей фактически была старшая сестра.

Чем больше Женя рос, тем становилось очевиднее, что появился большой музыкант, все наперебой говорили о восходящей звезде — Жене Диаманте; и многие старались сжить его со света. Особенно усердствовали дебелие мамыши вундеркиндов и лауреатов, боявшиеся, что Женя затмит их потомков. Женя стал подозрительным, нервным. Ему было тринадцать лет, когда отец, прослушав «Умирающего лебедя» Сен-Санса в его исполнении, сказал ему:

— Несчастный ты парень, Женька, — и прослезился, должно быть, был не совсем трезв, но и не пьян.

Женя молча глядел на отца.

— Несчастный ты, Женька, по той причине, что ты — великий артист. Не то что твои братья — добросовестные ремесленники и ничего больше. Смотри же, чтоб тебя не загубила проклятая любовь, как меня. Искусство еще ревнивее, чем женщина. Я играл твоей матери потрясающие песни любви на всех струнах моей души, а душа — инструмент еще более деликатный, чем скрипка Страдивариуса. Твоя мать оставалась нечувствительной, словно слон ей наступил на ухо и на сердце; я всё больше натягивал струны, и они лопнули. Да, теперь я играю на порванных струнах — какофония получается... Но Бог решил вознаградить меня в тебе. Смотри же, не погуби свой талант. Храни его, как

свою душу. Он и есть твоя душа. Дай мне честное слово артиста, что ты никогда не женишься. Отдай всю свою страсть скрипке, музыке, а музыка — бог искусства.

Женя запомнил отцовский завет и ушел в музыку, как отшельники и святые уходили в пустыню, где они жили наедине с Богом. Но толпа никогда не прощает человеку гениальности. Гений всегда был мучеником, и Женя вскоре на себе почувствовал эту истину. Особенно разъярились товарищи его, когда пришли первые вести о его триумфе в Риме и Флоренции. В большой рецензии одной итальянской газеты досужий фельетонист написал, что известный импрессарио сделал синьору Евгению Диаманто лестное предложение — остаться в Италии; по слухам, ангажемент предусматривает по миллиону лир за концерт. Он выразил надежду, что синьор Диаманто примет это предложение, что его вряд ли устраивает жалкий оклад советского музыканта, что талант должен быть вознагражден по достоинству. Руководитель группы советских артистов тотчас же пристал к Жене с ножом к горлу:

— Признайся лучше, тебе сделали предложение и ты хочешь остаться здесь?

— Да нет, мне никто не делал подобных предложений, а этого антрепренера я и в глаза не видел, — всё сочинил фельетонист.

Однако ему не поверили. Какие-то субъекты стали за ним ходить по пятам. Его довели до того, что однажды, после крупного разговора с руководителем группы, он, не помня себя, выбежал на улицу Милана, что-то выкрикивая, и немного спустя потерял сознание. Его подобрала и отвезли в больницу. Когда он пришел в себя, врачи его стали расспрашивать, что с ним произошло, как все случилось. Женя очень плохо знал итальянский язык и на ломаном итало-французском жаргоне пытался объяснить, что поссорился с товарищами. Врач это понял по-своему. На следующий день в газете появилась заметка под кричащим заголовком; в ней сообщалось, что красные замучили несчастного музыканта, который хочет остаться в Италии. Через два дня, когда состояние его улучшилось, за ним приехала машина из советского посольства, и его увезли прямо на аэродром.

В Москве товарищи встретили его злорадными усмешками и колкими словечками:

— Что — улыбнулась Италия?

— Номер не удался?

Дважды его вызывали в КГБ.

Женя перестал спать по ночам. Однажды после спектакля он беседовал с дирижером об очередной постановке и задумчиво сказал:

— Не знаю, доживу ли до премьеры.

— А почему? Что с тобой?

Женя наклонился к самому уху дирижера и прошептал:

— Боюсь, что меня прикончат.

Дирижер сообщил об этом администрации театра, и те, не долго думая, отвезли его на Канатчикову дачу.

— Ничего особенного, мания преследования, — определили врачи. — Годик полечится, и пройдет.

И начали его пичкать аминадином, андаксином и прочими снадобьями. Жене из месяца в месяц становилось всё хуже. Он стал чуждаться людей — все казались ему врагами, доносчиками, хотя все его любили и в палате № 7 его фактически лечили вниманием и любовью. Это он почувствовал и очень привязался к соседям, особенно к Валентину Алмазову, которому доверял все свои тайны и помыслы. Женя пришел как-то ночью к Алмазову робкий, печальный, попросил разрешения сесть на койку и заговорил своим нежным и всегда взволнованным голосом, глядя куда-то вдаль:

— Валентин Иванович, объясните мне что-нибудь. Я совершенный профан, ничего решительно не понимаю ни в жизни, ни в политике. Почему меня все преследуют? Почему мне не дают жить? Чем и кому я мешаю?

Валентин Алмазов с самого начала полюбил этого взрослого ребенка. Поэтому старался не очень испугать его, хотя ничего утешительного придумать не мог.

— На первый вопрос ответ ясен, — ведь и меня, и всех нас, обитателей нашей палаты, преследуют потому, что мы не приспособленцы, не холопы, — это вам должно быть ясно. Нам всем не место в этой проклятой стране. А вы — совсем беспомощный и не можете дать отпора интриганам и полицейским. У вас нет никакого защитного покрова, ни способности к мимикрии. Надо было вам остаться в Италии. И не из-за денег, а потому что Италия — свободная страна, где могут жить артисты, настоящие люди. Там над искусством и его служителями не властвуют жандармы, как у нас. Там даже противники режима, крупные политические деятели, не преследуются полицией. Коммунисты по государственному радио и телевидению призывают свергнуть правящую верхушку, — можете вы вообразить нечто подобное в

нашей сверхполицейской стране? Я разъясню вам положение вещей. Артист, художник должен ориентироваться в этих джунглях, хотя политика ему чужда, — он не занимается политикой, но, к несчастью, политика занимается им. Первый тоталитарный фашистский режим был создан в России. Естественно, что мир, устранившись масштабов советских злодеяний, начал принимать защитные меры. И в наиболее реакционных странах тоже утвердился фашизм как ответная реакция на советскую тиранию. Ясно, что надо покончить со всеми этими фашистами, освободить, прежде всего, поработанные народы России и восстановить во всем мире демократию. Надеюсь, что это наступит в недалеком будущем. Тогда вы, Женя, будете играть и в России, и во всем мире; никто вас не будет преследовать и вы будете здоровы и счастливы. Сегодня вы просто больны страхом перед людьми — такого у нас много, очень много. Наша страна — темный подвал, наполненный страшными призраками, а вы — младенец, боитесь. Но все это пройдет — верьте, надейтесь...

*

Дни тянулись бесконечно, мучительно, и особенно вечера: в семь часов кончали ужин, до половины девятого телевизор, — только для спокойных, — но что там смотреть?

Люди слонялись по Проспекту Сумасшедших, вели бесконечные разговоры, играли в шахматы, шашки, домино, читали. А в десять загоняли в палаты.

Но спать почти никому не хотелось. Правда, сестры охотно раздавали снотворные таблетки, но и они уже не спасали от бессонницы. И ночью, когда весь дежурный персонал спокойно и крепко спал на диванах, снова начиналось движение по Проспекту, — на этот раз бесшумное, словно двигались привидения, — все в одном белье неслышно ступали по линолеуму и почти беззвучно шептали пересохшими губами таинственные слова, они шелестели, как сухие листья, так же бесшумно кружившиеся за окном.

В палате № 7 разговоры не прекращались всю ночь. И дежурные ничего не могли поделать, — ее обитатели с каждым днем становились все строптивее.

— Этот Алмазов разложил все отделение, — жаловалась Кизяк главному врачу. — Я не знаю, как мне от него избавиться. Я бы отдала половину своей зарплаты, чтобы его не было.

— Да-а... — задумчиво отвечал главный врач, грузный старик, с вечно уставшим одутловатым лицом и одышкой. — Во всей

больнице идут о нем разговоры. Сидит здоровый человек, не лечат, известный писатель... черт знает что... Ну а вы, Лидия Архиповна, считаете его больным?

Кизяк больше всего боялась этого вопроса. Как все карьеристы, проталкивающиеся в жизни локтями, она опасалась неприятностей, осложнений, могущих повредить ее карьере. Бесчеловечная, бездушная, она, конечно, никого не жалела, никому не сочувствовала, никого не любила; и ей меньше всего жаль было Алмазова, но она боялась его, даже почти перестала заходить в палату № 7. Разумеется, она не была абсолютно невежественной и прекрасно знала, что Валентин Алмазов совершенно здоров; даже удивлялась, что длительное пребывание в психиатрической больнице нисколько не влияет на его здоровье. Но одно дело — знать это, а совсем другое — произнести вслух, да еще в присутствии главного врача; на это она не решалась. И по многим причинам. Мало ли что может получиться. Дело Валентина Алмазова стало достоянием международной прессы — и в конце концов отвечает больше всех она. Всем известно, что Валентин Алмазов помещен сюда по указанию чекистов, но они никаких бумаг не писали, от них не потребуешь; какой-то полковник госбезопасности позвонил в министерство здравоохранения, и из министерства за подписью Бабаджана полетела бумажка московскому психиатру Янушкевичу — доставить Алмазова в сумасшедший дом любыми средствами. Полицейские неукоснительно выполнили приказ начальства. Но официально вся ответственность падает на нее, Кизяк. Она — лечащий врач Алмазова — должна произвести обследование и поставить диагноз, лечить, вести историю болезни. Как же быть? Не может она фиксировать заведомо фальшивые данные, сочинить диагноз; а вдруг будет международная комиссия, — все может случиться, — и тогда все умоют руки, а она — на каторгу... Что делать?

Все это мгновенно пронеслось в голове Кизяк, и она сказала внимательно смотревшему на нее Андрианову:

— Не могу вам ответить на этот вопрос, — дело в том, что клинические обследования затянулись, и Алмазов сам их затягивает. Упорно отказывается от спинно-мозговой пункции, даже до того договорился, что будто мы хотим его отравить или искалечить; угрожает убить того, кто попытается с ним сделать что-нибудь насильно. Я и хотела с вами посоветоваться: как быть? С одной стороны, надо сообщить в министерство результаты обследования, а с другой, — не годится же устраивать шумный скандал.

— Ну, что ж... продолжайте обследования, — сказал Андрианов, — думаю, что Бабаджан не будет нас торопить. А к насилию прибегать не советую.

— Я тоже так думаю.

— Профессорам его показывали?

— Нет еще. Хотела показать Андрею Ефимовичу, но он уехал в Америку.

— Покажите Штейну.

*

Бесконечно тянутся дни, а недели и месяцы протекают с поразительной быстротой. Но еще больше удивляет Валентина Алмазова, что все пациенты палаты № 7, поначалу рвавшие на волю, сейчас как-то присмирели и как будто даже не спешили выписываться, — раздавались даже голоса, сначала робкие, потом все более настойчивые, что здесь не хуже, чем на воле, а может быть, лучше. Семен Савельевич Самделов однажды вечером, после ужина, когда все из палаты № 7 собрались, как обычно, вокруг койки Алмазова, тесно усевшись по три-четыре человека на соседних койках, неожиданно заявил:

— Милые люди, я не знаю, что вы потеряли там, на воле, а я совсем не хочу домой. Здесь прекрасно. Кормят, одевают и не пристают с коммунизмом. Заметили? Никакой пропаганды, агитации, говори, что вздумается, — где еще найдете такое место в нашей стране? Спокойно. Мне за то, что я включил «Черный обелиск» Ремарка в рекомендательно-библиографический бюллетень, выговор объявили. Куда же дальше ехать? А тут никаких неприятностей. Через четыре месяца переведут на пенсию. Живешь на всем готовом, да еще пенсия. Чего еще надо? Да жить с такими чудесными людьми, как вы, я согласен до окончания века. Я даже готов имитировать болезнь. Врачи все равно ничего не смыслят. Возьмите Мельникова из одиннадцатой, он уже третий год здесь околачивается, и сам признался, что дурака валяет, не хочет домой...

Все молча слушали Самделова.

— Нет, неладное говорите, — сказал Валентин Алмазов. — Покоряться? Ни за что! И если спрятаться от жизни, тогда ведь что получается? Прозябание! Зачем тогда жить? В тюрьме жизни нет.

— Да, всеобщая тюрьма, — задумчиво сказал Толя Жуков — И никакой надежды на освобождение... Только разве...

— Я уже не раз говорил тебе, Толя, — повысил голос Николай Васильевич Морёный, — что не себя надо резать, а их!

— Это легко сказать, — сказал Павел Николаевич Загогулин, — да не легко бороться с такой косной силой. Горé голову не отрежешь. И уж очень много сволочи всякой развелось, — вроде моей жены. Эта сволочь поддерживает режим. А чиновники! Чекисты! Врачи! Таких, как наша Эльза Кох (так прозвали Кизяк), — десятки тысяч, как мы — единицы, десятки.

— А вы не видите, Павел Николаевич, что растут и наши ряды. Нет, не единицы, не десятки нас, а тысячи, и скоро будут миллионы. Они только не заявляют о себе громогласно, но они есть, надо суметь собрать, зажечь, и мы такой мировой пожар раздуем, что не потушить его никаким полицейским на земле, — сказал Антонов.

— Володя, не говори так громко. Услышат шпионы и всех нас расстреляют, — тревожно озираясь, сказал Женя Диамант.

— Эх ты, профсоюзная тля, а еще музыкант! — с досадой крикнул Володя Антонов. — Здесь бояться нечего, мы уже сумасшедшие, — даже судить нас нельзя. А дело наше правое, и мы победим.

— Правильно, Володя, — сказал Валентин Алмазов. — Вся наша беда в том, что мы преувеличиваем нашу слабость. Мы только ту же затягиваем на нашей шее петлю. И это ослабляет волю к действию.

— Воля и власть! — как сказал великий Ницше, — крикнул Володя Антонов.

— Удивительное дело, — продолжал Алмазов, — люди наши так привыкли к торжеству зла, что носители правды чувствуют себя обреченными, а иные слишком поспешно капитулируют. Я понимаю нигилистов. Они явно берут верх. И это ужасно. Человечество не должно, не может погибнуть. Разве можно без содрогания представить себе, что некому будет читать «Братьев Карамазовых», что не будет звучать «Аппассионата», что исчезнут «Давид» и «Тайная вечеря». Но если не уничтожить советско-китайский фашизм, человечество погибнет — это для меня тоже ясно.

— Для всех ясно, — сказал Голин. — Но мы не сдадимся.

*

Утром Валентина Алмазова вызвали к профессору Штейну.

В комнате, узкой и длинной, сидели все штатные врачи и прикомандированные для усовершенствования, — человек сорок.

Профессор сидел один на плюшевом диване, закинув голову, и на вошедшего Алмазова смотрел, как смотрит посетитель зоопарка на редкий экземпляр индийского слона. Глаза всех врачей тоже были обращены на Алмазова.

— Ну что ж, давайте знакомиться, Валентин Иванович, — с напускной развязностью начал Штейн. — Меня зовут Абрам Григорьевич. Расскажите, как вы попали сюда, как заболели.

Алмазов посмотрел на Штейна исподлобья таким уничтожающим взглядом, что тот даже заерзал на диване.

— Знакомиться с вами у меня особенной охоты нет, но вынужден. А привезли меня сюда полицейские. Здоровье у меня отличное, а ваша задача расстроить его. Предупреждаю, это вам не удастся.

— Неважно, как вы сюда попали. Но имейте в виду, что здоровые сюда не попадают.

— Точно так же говорили чекисты на допросах. Невинные не могут попасть в советскую тюрьму, — говорили они. — А тот, кто это утверждает — антисоветский человек. Значит, ему место в тюрьме... Ну, а теперь сталинские тюрьмы заменены сумасшедшими домами.

— Да... вы что-то очень не похожи на нормального человека.

— И товарищи мне говорили, что только сумасшедший может бороться с такой чудовищной силищей, как советская камарилья.

— Верно! Вы сумасшедший! Вас надо лечить!

— Не передергивайте! Я не буду с вами спорить, — считаю ниже своего достоинства спорить с такими...

Штейн покраснел, потом торопливо усмехнулся, кривя губы, и сказал:

— Мы на больных не обижаемся.

— Я на полицейских тоже не обижаюсь, так же как на холопов.

— А мы кто, по-вашему, полицейские или холопы?

— И те и другие.

— И больше никого нет в советском обществе?

— Советское общество — это мусорная свалка человечества, отравляющая своим зловонием весь цивилизованный мир, я уже долгое время прохожу мимо, зажав нос, но признаться — становится все труднее дышать.

— Как вы можете говорить такие страшные вещи, — у нормального человека язык не повернется...

— Хлопоты и трусы всегда страшатся правды, особенно когда встречаются с ней лицом к лицу.

— Да, вы безусловно больны... И я предлагаю вам мировую, — давайте полечимся, и все будет в порядке. — Он протянул Алмазову руку.

Алмазов сделал вид, что не замечает его протянутой руки, повернулся к нему спиной и пошел к дверям.



К Коле Силину ходила на свидание очень красивая девушка. Она была так хороша, что Валентин Алмазов, приходивший в неистовый восторг всякий раз, когда Красота милостиво назначала ему короткие свидания, даже не мог описать ее наружности. Он помнил только, что она была как пышная гортензия, слишком возбуждающе созревшая. Он даже позавидовал Коле, так же, как завидовал и радовался, услышав хорошие стихи друга.

Они сидели в углу комнаты, где по воскресеньям происходили свидания. Сегодня был будний день, но некоторым в виде исключения давали внеочередные свидания. Коля низко склонил голову, и девушка тоже наклонилась, так что их лбы почти касались. Иногда она тревожно оглядывалась, — глаза у нее были огромные, как у газели, испуганной кем-то, всех цветов радуги; казалось, она мчится по косогору, ярко освещенному солнцем, так что непрерывно меняется цвет ее глаз от игры солнечных бликов и теней, бегущих за ветром.

А пока Валентин Алмазов думал о счастье Коли Силина и о двойной нелепости его попытки покончить с собой, когда он обладает таким несметным сокровищем, Адель — так звали девушку — тихо шептала ему:

— Не говори мне, что ты меня любишь... не надо... Я все равно отлично знаю, что ты не любишь меня больше... и не потому, что разлюбил или увлекся другой, а потому, что ты разлюбил жизнь — и тебе все на свете безразлично.

Коля рассеянно кивал головой. Он думал о том, что Адель он любит безумно, так же, как жизнь, и никогда не разлюбит ни ту, ни другую. Но Адель его не любит, так же, как не любит Жизнь, бросившая его в застенки. И не потому, что разлюбила, — нельзя разлюбить, когда вообще не обладаешь способностью любить, — и не потому, что полюбила другого, — или вернее, потому, что всегда любила другого, — то-есть себя, только себя. Роман их длился два года. Они познакомились на пляже в Сочи. Коля был ошеломлен

ее магической красотой, — Адель была как изваяние эллинского гения. Она хорошо знала силу своего очарования. Она так же хорошо знала силу своего мраморного равнодушия ко всем и ко всему на свете, кроме богатства, нарядов, дорогих ресторанов, машин, веселья и себя самой. Она училась в институте иностранных языков, училась старательно, чтобы наверняка попасть за границу, на работу в посольство, где она надеялась стать звездой экрана, женой миллионера, чтобы жить как в фильме «Сладкая жизнь», который она видела на просмотре в Министерстве культуры.

К Коле Силину Адель отнеслась серьезнее, чем к другим поклонникам. Его отец — генерал. Получает большой оклад. У Коли своя машина. Возможно, что они опять поедут за границу в ближайшее время. Кроме того, Коля — красивый парень, воспитывался в Риме. Она была с ним нежна, даже несколько раз раздевалась в его комнате, но ничего ему не позволяла, только целовать колени, как богине. И вдруг все пошло кувырком.

В один прекрасный день Коля ей сообщил, что ушел из дому, исключен из института, снял где-то комнатку и работает телефонистом. В его конуру Адель отказалась прийти — они встретились в парке.

— Ну, говори. Что ж ты молчишь? — Адель смотрела на него холодными чужими глазами, и все горячие слова, приготовленные для нее, застыли у него в горле.

Он только сказал:

— Да вот так. Не могу же я жить в доме фашиста и есть его хлеб, заработанный трудом шпииков и палачей.

— Ты с ума сошел, Коля, опомнись.

— Не надо стандартных слов, Адель, знаешь, как они мне противным.

— Что же, ты навсегда останешься телефонистом?

— Нет... я убегу за границу.

— И что ты там будешь делать? На какие средства думаешь жить? Там нищие идеалисты никому не нужны.

— Да... ты права. Я об этом не подумал. Но мне не нужно богатство, а только свобода. Я могу там работать переводчиком.

— И мне предложишь рай в шалаше... благодарю покорно. Но для этого рая я — неподходящий персонаж.

Тогда Коля впервые понял, что этот роман — очередная и, может быть, самая жестокая издевка Жизни над ним. Однако это

не помешало ему любить ее с той страшной силой отчаяния и безнадежности, которая всегда ведет к трагической развязке. Но яд отравил не только его кровеносные сосуды в ту ночь, когда он решил свести счеты с жизнью, но и сердце.

Раньше Коля думал, что не может жить без Адель. Теперь он этого не думал. Он твердо знал, что вообще жить не может; и Адель тут уже никакой решающей роли не сыграет. И уже спокойно думал, что Адель уйдет от него навсегда.

Он был удивлен, когда она пришла к нему на свидание, так как не знал, что генерал Силин имел с ней продолжительную беседу. И сейчас Адель старательно выполняла поручение генерала.

Когда Адель всячески старалась уговорить его, что он её не любит, Коля помогал ей в этом, хотя ему было мучительно трудно расставаться с ней, примириться с мыслью, что он больше не увидит это ожившее мраморное чудо, не будет хмелеть от её божественной красоты, — но ведь она просто самая большая часть его жизни, которую он все равно удержать не может.

Адель между тем говорила:

— Впрочем, я тебе уже сказала, ты можешь доказать мне, что любишь меня, если образумишься, вернешься домой, извинишься перед директором института. После того, что произошло, легко будет оправдать твоё выступление на комсомольском собрании просто болезнью. Ты кончишь институт, и я буду с тобой... навсегда.

Коля долго молчал. И так они молча сидели, наклонившись друг к другу. Потом Коля сказал:

— Смешная ты, Адель. Никто свою любовь не доказывает. Это не теорема. И ты свою теорему доказала именно потому, что никогда меня не любила. Домой я не вернусь. И мне неприятно думать, что ты, моя единственная любовь, явно стала орудием в руках фашистов.

— Как тебе не стыдно!

— Подумай, дорогая, на свободе, кто должен стыдиться, я или ты?

И он так посмотрел на неё, что слезы брызнули у нее из глаз. Она ушла с горьким сознанием большого поражения — первого в жизни после стольких блестящих побед, — и потому особенно горького.

7

ПАДШИЙ АНГЕЛ

*Обрести свободу означало для нее —
научиться любить свои цепи.*

ДЖ. МЕРЕДИТ

В тот день академик Нежевский был дважды поражен, ошеломлен — и оба раза одним и тем же человеком — Зоей Алексеевной Маховой.

Это было тем более неожиданно и знаменательно, что из семидесяти четырех прожитых лет Андрей Ефимович уже лет сорок ничему не удивлялся. На советскую жизнь он смотрел как летописец и поскольку был уверен, что конца этого кошмара ему не дожждаться, относился ко всему с тем необычайным равнодушием и терпением, которые являются даром больших людей и следствием непроницаемой тупости человекообразных.

Ученик французской школы психиатров, он считал, что душевнобольных вообще не существует. Хотя бы потому, что никто не может дать определения душевного здоровья. Значит, нет никакой твердой базы для определения и классификации патологических явлений в этой сфере. Что касается советской психиатрии, он считал, что это просто шарлатанство, лженаука, как все советские гуманитарные науки, поскольку ими отрицается существование души, Бога, интуиции, откровения.

— Как же могут лечить душевные болезни люди, которые не знают, что такое душа? Смешно, не правда ли? — говорил он на великолепном французском языке своему другу французскому психиатру Рене Жийяру.

— Друг мой, — своим мягким, немного женственным, певучим голосом, слегка растягивая слова, говорил доктор Жийяр, полный, невысокого роста, стареющий мужчина с большой волнистой седеющей шевелюрой, — вы оговорились, и я осмелюсь вас поправить. Ведь мы с вами признаем только особые душевные состояния, но не называем их болезнями, и стремимся их модифицировать только одним методом — изменением образа жизни пациента, поскольку все эти отягчающие психику явления тоже, и даже исключительно, вызываются его образом жизни.

— Да, да, конечно, — кивнул своей львиной головой Андрей Ефимович. — Я несколько раз пытался говорить в министерстве о ваших методах лечения, но там и слушать не захотели. Впрочем, ваш метод и неосуществим в советских условиях. Во-пер-

вых, у нас миллионы ушибленных людей. Ведь Сталин и его камарилья чуть не всю Россию вогнали в панику своими неслыханными жестокостями и десятилетиями террора. Можно без ошибки поставить диагноз, что вся Россия страдает манией преследования. И вы сами понимаете, что необходимо немалое время для того, чтобы вылечить народ от этой мании. Однако, дорогой коллега, благоприятных симптомов нет, — показателем этого служит молодое поколение, которое держат в таких ежовых рукавицах, что есть многократные случаи мании этой у молодежи. Во-вторых, образ жизни нашего народа таков, что он может только усугублять психологическую депрессию: вечная нужда, невозможность свести концы с концами, лишения, отсутствие уверенности в завтрашнем дне: стоит на шаг отступить от сервиллистского статуса, выступить против какого-нибудь даже мелкого сатрапа районного масштаба, и вы можете лишиться всего — работы, квартиры, положения в обществе. А главное — это отсутствие перспективы, надежды на лучшее будущее. Мой сын окончил университет в тридцатых годах. И недавно он рассказал мне, что на выпускном балу секретарь партийного комитета с пафосом воскликнул: «Я завидую вам, что вы будете еще только зрелыми людьми в начале второй половины века, когда наша страна будет богатой, всего будет в изобилии, жизнь будет прекрасна!» Но вот уже двенадцать лет мы прожили во второй половине века. И что же? Изобилие такое, что даже хлеба нельзя достать во многих местах, а крупы, макарон, которые вы так любите, даже в Москве нет. А цены в три-четыре раза выше, чем в те далекие годы. С каждым десятилетием жить становится хуже, тяжелее, безрадостнее, а о духовной пище и говорить не приходится. Одна марксистская жвачка. Ни музыки, ни фильмов, ни замечательных книг Запада. Да что говорить! Вы сами это знаете. А народ хочет жить. Да... В то время как у вас избегают применения лекарственной терапии, в лечебницах запрещается строжайше всему персоналу произносить слово «больной», вы лечите, только изменяя образ жизни пациента: полная свобода времяпрепровождения, передвижения, общения мужчин с женщинами и даже любовь, у нас — тюремный режим в больнице, и мы, врачи, как тюремщики, ходим с ключами вместо стетоскопов, а когда я о заграничном опыте рассказывал, — на меня смотрели как на сочинителя охотничьих рассказов. Руководитель психиатрического отдела министерства доктор Бабаджан сказал мне: — «Да, Запад давно хочет навязать нам эту идеали-

стическую кухню, но мы не клонем на эту буржуазную удочку...» Я не стал с ним спорить. В моем возрасте смешно заниматься донкихотством.

— Значит, вы только ограничиваетесь таблетками счастья?

— Да, таблетки счастья, как вы их метко назвали, — все эти аминокислоты, анадоксины и прочая муть, на которую наши эскулапы молятся.

— Но ведь они приносят пациентам нечто, имеющее мало общего со счастьем: потерю памяти, порчу зрения, половую импотенцию, равнодушие и апатию. Неужели все эти факторы у вас считаются счастьем?

— А почему бы и нет? Наши главари заинтересованы в том, чтобы советские люди не имели хорошей памяти, — поскорее забудут их злодеяния. Пусть видят хуже — может быть, им покажется не такой неприглядной наша действительность. А апатия их особенно устраивает — равнодушные и апатичные не склонны протестовать, возмущаться, не устраивают заговоров. Понижение половой активности не мешает — у нас не хватает жилищ и пищи. Сформировать покорного робота — идеал советского общества. В больницах у нас обязательна грубость, даже мордобой — как своеобразный метод лечения. Я знаю сотни врачей-психиатров, но ни одного из них не могу назвать ни врачом, ни психиатром.

— Печальные вещи вы рассказываете, мой друг. Как вам должно быть тяжело работать без настоящего окружения, без страстной заинтересованности помощников.

— Вы забыли, дорогой друг, что я тоже равнодушный. Без этой прививки жить у нас нельзя. Да и не могу сказать, что я по-настоящему работаю. Скорее наблюдаю и порой стараюсь облегчить участь какого-нибудь стоящего человека, попавшего в наши застенки.

— О да, мне, конечно, во много раз лучше работать. А своими врачами я могу похвастаться — прекрасные работники...

— Скажите, а самоубийц вы лечите?

— К нам не обращались такие пациенты. А полиция к нам никого не приводит, как у вас. Мы считаем, что больница — не тюрьма, и насильно не лечим. Да и вообще только идиоты могут лечить насильно.

— И палачи...

— Согласен... Но если бы к нам обратился такой пациент, мы бы его не приняли. Если человек не может или не хочет

жить — это его частное дело... Каждый имеет право распорядиться своей жизнью по своему усмотрению, а не как угодно начальству. Принудительное лечение — это варварство, дикость, и мы на это никогда не пойдем. В нашей жизни есть, конечно, темные места, но на свете без теней не обойдешься. Всякое насилие отвратительно. Особенно идейное, душевное.

— Да, а у нас насиллие всячески возведено в принцип. Весь воздух у нас пропитался тюремной вонью.

— Неужели у вас совсем невозможен голос критики?

— Официально, открыто — абсолютно невозможен. Ни в прессе, ни по радио, ни на одном собрании нельзя произнести ни одного свободного слова. Но критика есть. Это — анекдоты, наш советский эпос. Удивительно остроумные, меткие, язвительные. Их тысячи. Они рождаются каждый день...

Разговор этот происходил в прошлом году, в Париже. О нем ничего не было известно даже вездесущим репортерам больших газет. Не знали и советские психиатры, как оценивает их труд маститый академик, хотя их часто смущала ироническая усмешка с оттенком презрительного снисхождения, которая не сходила с его лица, когда он с ними разговаривал.



Незадолго до отъезда академика Нежевского в Соединенные Штаты на всемирный конгресс психиатров, в течение одного дня произошли два случая.

Первый — с молодым поэтом Макаром Славковым. Его показывали утром академику.

Если хотите — обыкновенная история.

Макар Славков недавно отпраздновал свое двадцатилетие. Праздник получился на славу, хотя и не по намеченной программе. Макар Славков был фантазером и ещё строил такие устаревшие сооружения, как воздушные замки, и верил в их относительную прочность. Он работал на заводе и, надо сказать, неважно. Шестьдесят рублей в месяц — доход небольшой для двадцатилетнего юноши, обладающего ненасытным аппетитом к жизни, желающего поест, выпить, одеться, пойти в кино и кафе с курносой Шурочкой, чертовски соблазнительной, но ни на что не согласной («женись — тогда.» Правда она за Славкова выходит и не собиралась — так только, для коллекции, авось из него что-нибудь выйдет). Однако Славков покупал Шурочке пирожные и лимонад, водил ее в кино и до того дошел, что протерлись штаны, запросили каши башмаки, а купить обновку было не на

что. Жил он с сестрой в какой-то каморке у двоюродной тетки на птичьих правах.

Макар Славков любил жизнь до исступления. У него было очень своеобразное дарование, — и это привело в смущение заведующего отделом поэзии в московском толстом журнале, Антипёрова.

Отделаться от посетителя можно было очень просто, но он почувствовал, что парень этот опасен, что его стихи начнут заучивать мальчишки — поэты, которые где-то собираются и стихи их расходятся по всей России. Антипёров сообщил о Славкове в КГБ, — на всякий случай.

Большой успех у молодежи вызвало стихотворение Макара Славкова «Бессонница». Успех даже немного вскружил ему голову. Но... как знакомиться с людьми, как встречаться, когда не во что одеться?

Шурочка не была столь чувствительна к поэтическим успехам Макара, — она вообще плохо разбиралась в поэзии, — зато была обворожительна. Славков задыхался от желания обладать этим розовым чудом. А она все говорила о том, что Петька Жук отлично одевается, отец ему купил легковую машину, и он ездил в ней в институт, и вообще — Петька парень хоть куда.

Слушал Макар, глотая слюну, и вместе с ней — черные жабы обид.

Может быть плоха любая клетка.
 Клетка всегда — западня.
 Так я думаю на закате дня —
 И курносая кокетка
 в платье в клетку
 сказала очень метко
 про машину, и про стиль стилиаги, —
 Но Ромео я, не Яго.
 Оранжевые круги и мельничные лопасти
 вертятся вокруг ослепительно —
 и смотрят все — притом неодобрительно —
 на мои несчастья и напасти,
 и должен пропасть я
 из-за пары сношенных штанов, —
 не получив и полпорции счастья.
 Что ж, я пропасть готов.

Все времена своих Исааков тащут
 на жертвенный алтарь,
 и мог отцом моим быть царь! —
 но разве жизнь была бы слаще,
 краше?

Быть может, только лучше крыша,
 — пожалуй, не бегали бы крысы,
 и не хрипела бы тетка, как простуженная труба, —
 а мне ведь все равно — труба.
 А жизнь совсем другой табак.

Но я скажу, однако, —
 что если клетка — так уж золотая,
 иль золоченая хотя бы,
 и чтобы закачались бабы —
 пусть Микеланджело ее бы смастерил,
 и чтоб стерег ее архангел Гавриил,
 как райские врата —

н-да...

Походка у тебя не та...
 Отец твой не был царь.
 А ты тот самый именно Макар,
 на которого все шишки уж свалились
 в двадцать лет —
 и не на что купить конфет
 курносой Дульцинее. —
 Короче день мой, ночь длиннее, —
 — так почему не стать ей бесконечной,
 вечной?

Так привычно думалось стихами. Потом они так же привычно легли на бумагу, раскосые, хмельные, и над ними во главе стал недоумевающим властелином заголовок «*Черный вопрос*».

Шурочка обещала притти. Он купил бутылку белого вина, пахнувшего как осенний воздух. И весь день по стылой, побледневшей лазури неба раздумчиво бродили легкие туманы. Кружились золотые листья в поисках последнего убежища, — выброшенные из родного дома, они уже не заботились о красоте, сохли, бурели, — больше не ласкали их теплые ветры, — и падали, как подкошенные, в мутные осенние лужи.

Мрачный осенний день уже с утра овладел душой Макара Славкова и расположился в ней как полновластный хозяин, не

слушая робких возражений бывшего оптимистического владельца, который пытался уговаривать его уйти, оставить ему его душу, в которой еще теснилась обстановка и утварь двадцати прожитых лет — поблекшие надежды, сморщенные мечты, опечаленные первые радости, ревнивая любовь к жизни, поэзии, Шурочке.

Но немилосердный и бестактный хозяин шагал взад и вперед по его душе, как бульдозер, расчищающий строительную площадку, — мял, топтал, вырывал с корнем все эти бранные остатки бывшего великолепия; и беззастенчиво орал, заглушая все звуки и поэтические мелодии:

— Хватит трепаться... ты, оптимистическая шарманка! Развелось вас, падших ангелов, до черта. И думаешь продержаться на своих ангельских дрожжах? Дудки! Стихов твоих печатать не будут. Ведь это индивидуалистические творения, которым объявлена война. Взять хотя бы твой последний опус «Черный вопрос». Уж самое заглавие выдает тебя с головой. Значит, голубчик, вопрос о советском бытии — для тебя черный? Значит, ты живешь в клетке, даже не позолоченной, а просто железной — за железной решеткой? — хоть и не написано, но читается между строк. И будешь жить до конца своих дней в этой клетке, потому что приспособиться не можешь. А Петька Жук проживет в золотой — ему наплевать на все идеалы, он — спекулянт, процветает, а такие как ты вянут, не успев расцвести. И Шурочка придет к нему, а не к тебе...

Макар курил одну папиросу за другой, и было горько во рту, хотелось плакать.

День прошел, как всегда, скучно, вяло, в дымном цехе, за давно опротивевшей ему работой, о которой он должен был писать стихи, — и о так называемых героях, которые так же героически томились, как он, мечтая поскорее уйти в забегаловку, выпить, забыть про свой героизм. В этой работе Макар видел лишь беспросветную скуку, ярмо, которое давит и унижает человека с творческой душой.

Эти мысли бродили в его голове, когда он возвращался домой по узкой улице, где его ежеминутно толкали, — и вдруг он увидел совсем близко Петьку Жука за рулем машины. Рядом с ним сидела Шурочка.

Придя домой, Макар, не снимая мокрого «непросыхающего» плаща, сел за качающийся столик, на котором стояла заготовленная еще накануне, бутылка вина, тарелка с колбасой, пачка дешевого печенья и блюдце с карамелью.

И опять думалось стихами в те бесконечно долгие минуты, пока он выпил до дна всю бутылку вина, съел колбасу, печенье, конфеты, — все это он делал автоматически, как заведенная машина, не ощущая ни сладости, ни горечи.

Последние три конфеты он сунул в карман плаща и вышел на улицу.

Шел проливной дождь, ветер ломал оголенные сучья, вспомнилось — «на ногах не стоит человек». Макар шел шатаясь, размахивая руками, ветер ударялся о них, и ему казалось, что он хлещет по щекам этот гнусный мир, с которым вступил в последнее единоборство. И вдруг увидел перед собой Александра Блока. Он внезапно вынырнул из тумана, поровнялся; он был намного выше маленького Макара, и тот должен был задрать голову, чтобы видеть затуманенные глаза поэта, устремленные в непостижимые дали вечности.

И Макар во весь голос закричал ему:

Тебя обманули, меня обманули,
нас обманули всех, —
ночь была, летели пули,
и утром — успех.
Но не для всех.
А для кого?
День — это ничего,
недолог день, не век,
но вечен Человек, —
ему нельзя не быть, не помнить,
не чувствовать, не знать.

Крадется ночь как тать.

Ты в комнате один сидишь, ты слышишь?
Скребутся мыши,
звенят тюремщиков ключи —
тише, не кричи,
никто нас не услышит.
О правде, о героях,
обо всем забудь, —
ползет ночная чужь,
темень, тиски, муть,
крепчает на дворе мороз —
а где же твой Христос
в алом венчике из роз?

Леонид Неизвестный вообще был человеком не то чтоб уж совсем нерешительным, но весьма колеблющимся. Он никогда твердо не знал, что предпримет в следующую минуту, поэтому все его планы и замыслы были эфемерны. Нет ничего удивительного в том, что, придя к реке с намерением утопиться, он вместо этого спас другого, — и это его чрезвычайно развеселило. Он был так возбужден и так забавно рассказывал, как он шел топиться и спас Славкова, что развеселил дежурного врача, который тут же решил, что перед ним несомненный шизофреник. Когда же Леониду Неизвестному предложили остаться на некоторое время здесь, в больнице, — отдохнуть и полечиться, — он с восторгом принял это предложение. Попросил только сообщить родителям, закончив:

— Впрочем, можете и не сообщать, — мне все равно.

Их обоих направили в палату № 7. Они шли туда в обнимку, распевая во весь голос, так что обитатели всех одиннадцати палат высъпали поглядеть на новых постояльцев. А они шли ни на кого не глядя и пели:

Жил-был у бабушки серенький козлик...
Бабушка козлика жрать захотела.
Козлика слопать! — Нет, это не дело, —
Козлик стал бабушку жрать понемножку,
Остались от бабушки рожки да ножки...

Макар все время что-то выкрикивал, преимущественно стихи. То про морды, то про Шурочку, то про рваные штаны. А Леонид Неизвестный сел на отведенную ему койку в центре палаты и отвечал всем сразу на вопросы, сыпавшиеся градом:

— Да, знаете, может быть, я и шизофреник... а что это такое, никто не знает... да... отец мой художник, но бездельник, инвалид, ненормальный, обуза для семьи... мать — учительница, кормит всех, кроме меня... есть еще брат... нет, я живу отдельно, снимаю угол в селе Дранково. Пока не плачú... хозяин — пьяница, спекулянт, жалеет меня, не то, что комсомол... Не могу решить, почему мне не хочется жить... да разве это жизнь? Родители, в общем — несносный элемент... как все советское... понятно, они сами не живут и не могут понять, почему их дети хотят жить, любят свободу... для старых рабов свобода — это и есть любовь к цепям... кто-то сказал... впрочем, может быть, и я — несносный. Да? А почему я должен быть сносным для людей, которых я и знать не хотел

бы... у нас все несносные... Этого я еще не решил — может быть, буду скульптором или композитором, а, может быть, поэтом, живописцем... только держимордой не буду... а все остальное неизвестно... Учиться? Но чему, — как не надо писать, рисовать, лепить, жить? Ведь только этому можно научиться у нас... а, может быть, убегу или утоплюсь всамделишно... нет, мне не до девиц... я за сутки выпивал один стакан кофе и съедал булочку... это все мое питание, вообще-то я очень здоров... могу грузчиком работать, но зачем?

*

В этот день Андрей Ефимович принимал с утра в тридцать девятом отделении. И первым ему показали Макара Славкова. После осмотра, когда Макара отвели в палату, Андрей Ефимович, как обычно, спросил Кизяк:

— Ваше мнение, Лидия Архиповна?

— Явный шизофреник. Мания величия: считает себя великим поэтом только потому, что пишет в антисоветском духе. Сейчас в состоянии сильного возбуждения.

— А причина возникновения болезни? Рабочий парень. Братья и сестры совершенно здоровы. Есть сопутствующие обстоятельства?

— Очевидно связан со стилиягами, — они ему вскружили голову. К сожалению, такие случаи нередки. Вместе со Славковым поступил его ровесник Неизвестный... фамилия у него такая — тоже шизофреник и на той же почве... Пустые, никчемные мальчишки.

— Лидия Архиповна, а вы читали стихи Славкова?

— Нет... какой-то бред, мне говорили.

— А скульптуру из пластилина Неизвестного вы видели? Он её назвал: «Человек бродит по улице в поисках интересного дела». Он у нас её слепил.

— Нет, не видела.

— Вижу, — улыбнувшись сказал Андрей Ефимович, — что заместительница хочет полемизировать с заведующей. Я не ошибся, Зоя Алексеевна? Говорят, вы завзятая спорщица. В кулуарах министерства сплетничают, что вы даже не признаете авторитета доктора Бабаджана.

Зоя Алексеевна в ответ не улыбнулась, а заговорила спокойно, с нескрываемой печалью:

— Не знаю... вам лучше знать, Андрей Ефимович... Ваш авторитет я признаю. И должна сказать, что меня совсем не убеждают

стандартные заключения Лидии Архиповны. Даже к большим насморком нельзя подходить стандартно. Славков и Неизвестный — оба очень талантливы. И если их произведения не звучат в унисон общепринятому стилю, — хотя я сомневаюсь, что в искусстве может быть общепринятый стиль, но это другой вопрос, — то это не их вина, а беда. Как человек и как врач я не считаю возможным, чтобы целый народ думал и чувствовал одно и то же; моему, морально-политическое единство — не реальная вещь, а выдумка казенных оптимистов. Не секрет, что у нас много индивидуалистов, особенно среди творческой интеллигенции, для которых неприемлема ни наша этика, ни наша эстетика, ни наша идеология. На этой почве многие впадают в тяжелые формы депрессии и пытаются свести счеты с жизнью. Славков, — я с ним беседовала не раз, — чувствует себя в тупике, как загнанный зверь. Он не видит выхода. Печатать его же не будут. Свою работу на заводе он рассматривает как принудительный каторжный труд. Его сводит с ума беспросветная нищета. Его бросила любимая девушка, именно как нищего. То же самое с Неизвестным, — ему внушают отвращение наши идеи. Он сказал мне: «Лучше смерть, чем казарменный коммунизм. Они убили искусство, а для меня возможна жизнь только в искусстве». И преступно врачу считать их просто сумасшедшими, буржуазными вырожденками. Дикость. Ведь мы не считаем вырожденками буржуазных писателей, художников, композиторов, наслаждаемся их искусством, хотя они наши идейные противники. Почему же мы наших идейных противников прячем в сумасшедшие дома? В Снежевске сидит Есенин, у нас — Валентин Алмазов, — ведь это позор!

Зоя Алексеевна умолкла. В комнате царила напряженная тишина. У всех были возбужденные лица. Лидия Кизяк ёрзала на стуле, на ее лице были красные пятна.

— Так что же вы предлагаете, Зоя Алексеевна? — спросил академик.

— Обоим, и Славкову и Неизвестному, разрешить для дальнейшего лечения выехать за границу, в страну, которую они сами выберут, — и на неопределенный срок.

— А если они не вернуться? — крикнула Кизяк.

— Это их дело. Ведь у нас не тюрьма. Во всех демократических странах, и даже в царской России, выезд за границу был разрешен всем желающим.

— Ну, это ни в какие ворота не лезет, — развела руками Кизяк.

Зоя Алексеевна даже не взглянула в ее сторону.

— Я полагаю, что мы так же преступно относимся к Валентину Алмазову, Голину, Загогулину и многим другим, которые вообще ничем не больны.

Андрей Ефимович был впервые за многие годы потрясен. Ему стало грустно, что не он, а она, которая могла быть его внучкой, выступила так открыто и самоотверженно. Он горько улыбнулся.

— Да... Зоя Алексеевна... мне вспоминаются романы наших классиков. Тогда врачи частенько рекомендовали больным нервным расстройством уезжать за границу, на воды — как тогда вырожались. Но ведь у нас такой реальной возможности нет, дорогая Зоя Алексеевна. Даже если я внесу такое предложение, все, и прежде всего ваш почтенный супруг, доктор Бабаджан, поднимут вой и в лучшем случае сочтут это за выходку старого чудака. Бы ведь знаете, что каждая заграничная поездка рассматривается чуть ли не в Совете министров — валюта! А отправить людей, заведомо зная, что они не вернуться, значит дать пищу вражеской пропаганде. Из этого ничего не выйдет.

— Но мы ведь врачи, а не шарлатаны. Мы дискредитируем себя в глазах народа. А тем, что мы держим таких людей в сумасшедших домах, мы даем еще больше пищи вражеской пропаганде.

— Да... — академик теперь обратился ко всем собравшимся. — Вопросы, поднятые Зоей Алексеевной, слишком сложные, чтобы мы их могли немедленно разрешить. Завтра я уезжаю в Америку. А когда вернусь, мы вновь их обсудим и постараемся что-нибудь предпринять.

Все думали, что после такого выступления Зою Алексеевну снимут с поста заместительницы, — да и Кизяк не скрывала, что желает от нее избавиться, — но к всеобщему удивлению никаких перемен не произошло.

В два часа дня Андрей Ефимович принимал больных в сороковом женском отделении. Первой привели Наташу Ростову. И снова здесь присутствовала Зоя Алексеевна, хотя она к этому отделению отношения не имела. Она сама об этом попросила Андрея Ефимовича.

Зоя Алексеевна издавна знала профессора музыковедения Аполлона Аполлоновича Ростова, одно время училась у него, — она два года занималась в консерватории, потом по настоянию мужа оставила ее, да и времени не хватало. Однако профессор Ростов не забыл ее и однажды попросил приехать к нему — посмо-

треть его дочь, которая тогда была ученицей восьмого класса. У Наташи тогда начали проявляться некоторые странности, потом учатившиеся, так что врачи стали поговаривать о каком-то неопределенном нервном расстройстве, хотя и никакого диагноза поставить не могли. В конце концов, они прямо признались, что не знают, как ее лечить. Началось с того, что она не могла вставать по утрам. Когда ее будили, она вставала, умывалась, садилась завтракать, потом начинался припадок — рвота, конвульсии, иногда теряла сознание. Но если ее не будили и она спала, сколько хотелось, она чувствовала себя отлично.

Врачи решили, что все это симптомы слишком бурного полового созревания, и со временем все пройдет.

Однако не проходило.

Ей пришлось перейти в вечернюю школу, потом — в музыкальную.

У Наташи Ростовой было недурное контральто и она могла бы стать незаурядной певицей, если бы хоть в какой-нибудь степени обладала трудолюбием, усидчивостью, постоянством. Но ни одного из этих необходимых качеств у нее не было. Все ей быстро приедалось — занятия, люди, лакомства. Фраза, которую чаще всего от нее можно было услышать, была: «Мне скучно».

Она была очень темпераментной и увлекающейся. И вот, — сегодня она не может жить без какого-нибудь мальчика, а завтра видеть его не может и клянет себя: как она могла увлечься таким примитивным субъектом? Плачет от досады. Единственное, что она ценила в жизни — это веселье, развлечения, особенно рестораны, пирушки, загородные поездки, курорты, танцы. Это, собственно, она называла жизнью. А труд, учеба, семья и прочие добродетели она считала только нудными обязанностями, которые надо, по возможности, избегать.

«Мне до всего этого, как до фонаря», — было ее излюбленным выражением.

Наташа Ростова была очень красива, — об этом говорили все с восхищением, завистью, злобой. Поэтому у нее почти не было подруг, зато уйма поклонников, в возрасте от семнадцати до пятидесяти. Но она была не только красива, но и умна, обаятельна, общительна. Она быстро поняла, что ее ждет тысяча разочарований, как и других девушек, равнодушных к социалистическим добродетелям. В это время она случайно познакомилась с одним американцем. Он был очень влюблен, но она отказалась выйти за него замуж. Американец был в отчаянии. И уезжая, взял с нее

слово, что если она передумает, пусть даст ему знать. Он будет ждать ее пять лет. Время от времени туристы передавали ей письма от него. Он ждал, надеялся. Потом появился адвокат Шипов, интересный человек, романтик, тоже влюбленный по уши. Жил он вместе с сестрой-горбуньей в одной комнате, хотя зарабатывал пятьсот рублей в месяц. Но для Наташи это были гроши. Она не отталкивала его, но и особых надежд не подавала. Еще сама точно не знала...

Зоя Алексеевна правильно определила заболевание Наташи: ей противопоказан советский климат, надо его переменить на другой. Когда Зоя Алексеевна сказала об этом отцу Наташи, тот глубоко задумался. Да, надо уезжать, но как? Наташа к тому времени уже приняла решение — уехать, а там видно будет, выйдет она за этого американца или нет.

Так как туристы не появлялись больше в ее доме, она решила передать письмо через посольство, — ей, конечно, известно было, что по почте это письмо дальше полиции не пойдет.

И вот — письмо брошено во двор посольства. Приедет ли за ней Майкл? Но пока она в сумасшедшем доме.

Войдя в комнату, где собрались врачи, Наташа приветливо кивнула Зое Алексеевне.

— Ну, барышня, рассказывайте, что с вами, — сказал Андрей Ефимович.

— Если можно, я вам лучше спою.

— Пожалуйста, послушаем.

Наташа спела романс «У нас судьбы разные». Когда она окончила, Андрей Ефимович сказал:

— Хорошо, Наташа, но что нам делать с вашей судьбой, чтобы она не заводила вас так далеко?

— Одно — завезти меня дальше — за океан.

— И тогда все будет хорошо?

— Прекрасно.

— Так... Ну, ладно, идите, отдыхайте.

Когда она ушла, Нежевский обратился к лечащему врачу:

— Ваше мнение?

— Дело ясное... Девчонку распустил отец вопреки настояниям матери. Она и дурит. Неврастения в сильной степени. Чрезмерно эротична. Ее надо взять в шоры. И тогда она успокоится.

— Навсегда... — сказала Зоя Алексеевна.

— Как вас понять? — спросил ее Нежевский.

— Очень просто. Девчонка покончит с собой. Она мне это

сама сказала. Я с ней очень дружна. Я считаю необходимым, чтобы спасти ее, отправить к жениху в Америку.

— Позвольте, у нее жених здесь, — сказала заведующая отделением.

— Кто вам сказал?

— Да он сам — адвокат Шипов.

— Ну, это — чтобы получить свидание. У нее есть такой вздыхатель. Я настаиваю на своем мнении. Она может и здесь что-нибудь натворить. Держать ее — преступление.

— Дорогая Зоя Алексеевна, — сказал Андрей Ефимович, — вы сегодня уже второй раз предлагаете невозможные решения. И... один в поле не воин.

— А вы?

— Я уже не воин... — и тяжело вздохнул, — видимо, пора мне уходить с поля.

Перед уходом Андрей Ефимович сказал ей:

— Зоя Алексеевна, а что если бы вы зашли в мою берлогу... не возражаете?

— Но ведь я теперь падший ангел.

— Все мы — падшие ангелы: и больные, и здоровые, и врачи...

8

ВОССТАНИЕ ПАДШИХ АНГЕЛОВ

Если жутко присутствие среди великой массы слепцов считанных ясновидцев с печатью на устах, то еще ужаснее, по-моему, когда все всё уже знают, но обречены на молчание, и каждый видит правду в прячущихся или испуганно расширившихся глазах другого.

ТОМАС МАНН

Глазами Валентина Алмазова

Мы все чувствовали себя падшими ангелами на этой страшной земле, но никто не хотел мириться с такой участью и стремился вернуть любой ценой потерянный рай.

Естественно, что сейчас, на досуге, с особой остротой встал вопрос, — что же собой представляет этот потерянный рай, о котором все мы имели смутное представление, особенно — молодежь?

Конечно, все прочли множество книг, настоящих, — и жалкие потуги советских школьных учителей, наёмных писак и агитаторов затмить неумолимую правду этих книг ни к чему не привели. В те дни ко мне обращались самые разнообразные люди. Падшие ангелы явно считали меня Люцифером, и я не имел нравственного права отказаться от этого почетного звания. Я должен был нести им свет правды. И я зажег свой фонарь и не гасил его ни днем, ни ночью, несмотря на все усилия полицейских. Впрочем, не следует преувеличивать их роль и значение, — не только я, но и все другие, даже мальчишки, не считали их людьми, а чем-то вроде придорожных репейников. К ним относились с таким нескрываемым презрением, так подчеркнуто грубо, что мне даже порой неприятно было.

Теперь вся наша жизнь словно превратилась в мятеж восставших ангелов, — пока это была репетиция в палате № 7, но мы уже видели в своем воображении уличные бои, баррикады, поверженного врага.

И первое, что мы решили единогласно, — и это стало нашим знаменем, — провозгласить Декларацию прав Человека. Она не была сформулирована. Правда, все выкриками одобрения и рукоплесканиями приняли мое краткое слово:

— Друзья! На мир, на жизнь можно смотреть по-всякому. Одни восхваляют рабство, другие — свободу. В сущности, вся история человечества — это борьба закоренелых крепостников и рабовладельцев со свободолюбивыми людьми. Я думаю, все со мной согласятся, что если всё спорно, все блага жизни могут быть опорочены, то существует одно несомненное — Свобода, которая, по-моему, и есть душа Жизни, — рай, который мы потеряли и хотим вновь обрести. Да здравствует Свобода!

Взрыв аплодисментов и бурные выкрики прервали на минуту мою речь.

— Вижу, что попал в точку. Я, ваш Люцифер, вместе с вами поднимаю восстание не против Бога, которого мы чтим, а против Дьявола...

Стрункин погнал нас на прогулку раньше обычного, — он не отходил все время от дверей нашей палаты. В последнее время он стал проявлять ко мне особое почтение.

— Слушайте, Валентин Иванович, — говорил он просительным тоном. — Бросьте это дело. Вы ведь этим ничего не добьетесь. Вас тут будут держать годы или сошлют в Столбы. Всё-таки лучше жить дома с семьей.

Гуляли мы два раза в день. Каждое отделение имело свой загон, огороженный бетонным забором с небольшими щелями. Зачем нужно было хороший старинный парк превратить в десятки загонов? Но ведь тогда бы не было ощущения тюремного режима. Когда мы выходили и возвращались, Стрункин нас пересчитывал, как телят. Калитки загонов запирались. Постоянно приходили родные, друзья, близкие — часто стояли у забора, в грязи или в снегу, тихо беседовали, целовались, плакали. Приходила и жена Павла Николаевича Загогулина, несмотря на то, что он ее гнал. Приводила детей, чтобы иметь возможность поговорить с ним. «Татьяна - Вырви Глаз» — прозвали ее все, даже сестры и санитарки. Она не могла примириться с мыслью, что потеряет высокий оклад мужа. А Павел Николаевич заявил, что разведется с ней сразу, как только выйдет из больницы. Уговаривала его и Кизяк. Обещала выписать, как только он помирится с семьей.

К Славкову, Антонову, Неизвестному и Коле Силину приходили очень редко. Во время прогулки они играли в волейбол. А порой, когда в окне второго этажа показывалась Наташа Ростова, все по очереди разговаривали с ней подолгу, для чего изобрели специальный язык жестов.

Безделье мучило всех. Меня тоже, — порой невыносимо. Солдаты должны воевать. Длительное бездействие разлагает лучшую армию.

Чтобы окончательно оболванить узников, завели так называемую трудовую терапию — клеить коробочки. Но почти никто не соглашался заняться этим отупляющим трудом.

Так мы жили, — то-есть, днем и ночью говорили о жизни, которой нет, но которая обязательно будет.

*

Обо мне появилась первая статья в крупной американской газете. Полицейские всполошились. Это был первый удар. За ним последуют другие. Эти идиоты все еще думают, что могут меня вернуть, купить. Они не понимают, что я ушел навсегда, что теперь я — их враг.

Эти тупицы не понимают, что я — не один человек, большой или малый, а — стихия, сверхмощная ракета, начиненная ненавистью. Палата № 7 — школа ненависти. Десятки учеников превращены в тысячи последователей. А жене моей и дочери полицейские предлагают деньги, помощь! Ослы!



Санитарка принесла мне письмо от Наташи Ростовской. Она каким-то образом достала мою книгу, изданную за границей. Множество комплиментов. И потом:

«Может быть, Вы что-нибудь напишете обо мне. Я ведь тоже inferнальная, как Ваша Римма. Знаю, что все мы, inferнальные, обречены. Все говорят, что я сильная, волевая, даже жестокая, играю судьбами людей, как мячами. И это, пожалуй, верно. Но Вам я признаюсь, как на исповеди, — я верю в Бога, — что в действительности я совершенно беспомощна, ничего не умею, ни на что у меня не хватает сил, — ни на подвиг, ни на материнство. Раньше мне казалось, что я очень люблю себя, но здесь я убедилась, что и это — не настоящая любовь, а только временное увлечение, которое уже проходит.

Что же мне еще о себе сказать Вам, — я должна все Вам сказать, потому что Вы один можете решить, достойна ли я большой судьбы. Хотя обреченная, но еще не пропащая. Мне кажется, что я могу еще пошуметь и позабавить мир, — разумеется, не в нашем иезуитском монастыре, — может быть, даже осчастливить моего американского претендента. Ведь осчастливить хотя бы одного человека — тоже достойное дело, вероятно, более достойное, чем сделать несчастными двести миллионов рабов. Я поручила адвокату Шипову хлопотать, чтобы меня отпустили в Америку к моему жениху. В награду обещала не забыть его, по крайней мере, три года. Он писал мне, что вспоминать мне придется о покойнике.

Все думают, что я страстная, чувственная. Не знаю, может быть, это и зарождалось во мне. Но я не выношу похоти и вожделения. А наши рыцари не способны на настоящую страсть, как Митя Карамазов или сам Достоевский — помните, его безумный роман с inferнальной Аполлинарией Сусловой? Вероятно, все его героини чем-то на нее похожи? Но мы ее так мало знаем. Мне кажется, что и я на нее похожа.

Я тоже могу еще долго мучить людей. Но желания убывают. Наша жизнь так бедна, стандартна, безнадежна и ограничена, что убивает самое желание жить. Такие, как я, — излишняя роскошь для советской действительности. «Без излишеств!» — вот её лозунг. А ведь искусство, красота, inferнальные женщины — всё это излишества, без которых жить не стоит.

Мне еще хочется быть хлыстовской богородицей, как Марина из Климата Самгина, хотя я совсем, совсем другая. Горький тоже

любил инфернальное — Вы заметили, все его героини далеки от революционных идеалов. Жаль, что я все-таки никому счастья не принесу. А ведь могла бы...»

Я полюбил Наташу Ростову. Ведь она теперь моя героиня. Даже единственная. Красавица, которая ходила к Коле Силину, больше не показывается. Я спросил его:

— Горько?

— Разве может быть горше? — спросил он удивленно. У него всё время удивленный вид, словно он не верит тому, что живет.

— Но потеря... и такая?

— Вы думаете, что я могу еще ощущать потери? Я даже больше говорить не могу. Простите...

Но у меня есть еще одна героиня — Зоя Алексеевна. Однако она мне не родная, как Наташа Ростова. Наташа — целиком моя, моя плоть и кровь, моя душа, а Зоя Алексеевна подсознательно хочет со мной породниться, но не может. Она приближается ко мне трудным извилистым путем из чужого мира, враждебно-го... И у меня нет уверенности, что она сумеет вырваться оттуда.

И вообще, — признаться, — трудно мне с новыми героинями: они не знают, куда они идут, и я тоже не знаю.

9

БЕГСТВО В НИКУДА

Тогда я не знал, что огромные массы народа могут быть отравлены и погублены одним единственным человеком и в свою очередь отравлять и губить честных людей, — что нередко массы, однажды обманутые, продолжая коснеть во лжи, хотят быть снова обманутыми и, поднимая на щит всё новых обманщиков, ведут себя так, как вел бы себя бессовестный и вполне трезвый злодей.

ГОТФРИД КЕЛЛЕР

Прочтя эти слова гениального швейцарца, Зоя Алексеевна пришла в такое волнение, что не могла усидеть на стуле и принялась ходить взад и вперед по комнате, и мысли, как лава из

внезапно вспыхнувшего вулкана, начали заливать ее голову и сердце.

Ей всё больше казалось, что в этих словах выражена с истощающей полнотой и ясностью история ее жизни и вся история ее родины после революции. Она начала прозревать. Словно туманная пелена сползала с неба, солнце озарило все вокруг, и стали видны зеленые окрестности, и синяя бездонная пучина вселенной. И как всегда бывает в такие минуты прозрения, нахлынули воспоминания о начале жизни, потом пошли поиски того перекрестка, откуда она свернула в эти непроходимые джунгли и теперь мучительно искала выхода и спасения. И снова перечитывала слова Келлера.

— Да ведь так оно и было, — повторяла она, не замечая, что начала говорить вслух, — огромная масса народа нашего была отравлена одним-единственным человеком, — это продолжалось четверть века. И яд впитался так глубоко, что все мы продолжаем коснеть во лжи этого иезуитского социализма, уже сами хотим быть обманутыми и поднимаем на щит новых обманщиков...

— Что ты там бормочешь? — раздался надтреснутый, — будто шагал кто-то по битому стеклу, — голос Христофора Арамовича.

— Разве?

— Заговариваться стала? Смотри, как бы сама не попала в палату № 7 — эта палата у всех теперь на языке.

— Тебя это волнует?

— Разумеется. Что скажут люди? Общественность! Я — глава семьи.

— Но какая у нас семья?

— До этого никому дела нет. Семья — и всё. Советская семья должна быть образцовой, примерной.

— Пожалуй. Она уже является примером полного распада семейной жизни.

— Такие обобщения не делают чести советскому врачу. Только помогаешь идейным противникам. Вот у вас там сидит Алмазов, — недавно вышла его книга за рубежом, все наши враги подняли ее на щит. Он тоже делает такие обобщения... Да — фрукт! Горжусь, что подписал приказ о его водворении в сумасшедший дом.

— Да... значит, это ты... А я всё время думала, какой же это подлец взял на себя добровольно роль палача...

— Как ты смеешь? — топнул ногой Бабаджан.

— Уходи, гадина! Я еще с тобой сочтусь.

Бабаджан что-то буркнул и ушел.



На следующий день Зоя Алексеевна дежурила. День выдался тяжелый, хлопотливый... Стоял конец октября, та унылая, неприглядная поздняя осень, когда деревья, потеряв свой многоцветный наряд, выставляют напоказ почерневшие оголенные сучья и напоминают старых кокеток, снявших вечерний туалет, грим и видящих в зеркале отвисшие складки морщинистой кожи, торчащие ребра, уродливые лица, потускневшие глаза.

Это время было всегда особенно тяжелым для персонала психиатрических больниц. По давно установившемуся обычаю, перед октябрьскими праздниками в больницы прибыли тысячи новых пациентов. Это все был элемент беспокойный, ненадежный, — ну, из тех, которые могли бы испортить праздники, пробравшись в ряды манифестантов и крикнув: «Долой коммунизм!» К этому же разряду принадлежали алкоголики, шептуны, распространявшие слухи, что вскоре снова повысятся цены, и любители побеседовать в очередях за лапшой, пшеном, баранками, хлебом — очередей становилось всё больше.

Люди спали всюду: в коридорах, на полу, на столах... Снова появился Дормидонт Ферапонтович Фиолетов в своем неизменном колпаке из листов «Крокодила».

— Опять попался... А вы всё отбываете... Как попал? Очень просто. Знаете, перед праздниками, по ночам на Красной площади воинские части, физкультурники репетируют манифестацию народной любви и восторга к властям предрежащим. Ну, я тоже решил принять участие. И, придя в восторг от всего этого, решил крикнуть один из популярных ленинских лозунгов, вспомнить старину, и крикнул: «Долой самодержавие! Да здравствует Свобода!» Голос у меня зычный. Эхо прокатилось до самого Василия Блаженного. А тут, откуда ни возьмись, — блюститель порядка. — «Вы что тут, гражданин, безобразничаете?» — Как, это, — говорю, — безобразничаю? С каких пор провозглашение ленинских лозунгов стало безобразием? «— Несвоевременно, — говорит, — провозглашаете. А ну-ка дыхните.» — Дыхнул. «— Ну, гражданин, пожалуйста.» — Куда, — спрашиваю. — Я не пьян, не нарушаю порядка. «— Я и не говорю, что вы пьяны, а направляю вас по месту назначения». — Ну, я спорить и пререкаться

не стал. Место назначения мне известно. Отчего не провести праздник с хорошими людьми?..

*

Валентин Алмазов давно изобрел своеобразную игру в бедность-богатство. Он придумал ее еще в годы юности, когда прочел слова Сологуба, которого очень любил: «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из нее сладостную легенду, ибо я — поэт». И вот так брал он кусок жизни грубой и бедной, расцветивал ее в своем воображении в нечто яркое и невиданное и переселялся в этот созданный мир, и жил там, пока не уставало воображение, и приходилось опускать занавес.

Поэтому сейчас ему не было тоскливо на Проспекте Сумасшедших, где шел праздничный карнавал в тысячу раз более яркий, чем казенная однообразная манифестация с бумажными цветами и принудительным весельем, которая затопляет улицы, как осенний слепящий ливень. Разве встретишь нестандартного, вольного человека по ту сторону бетонной ограды?

Валентин Алмазов с отвращением вспомнил тошнотворные празднества, восторженный, захлебывающийся лай газетных шавок, репродукторов, халтурщиков всех жанров, жадно загибающих в такие дни свой дополнительный рацион к скудной зарплате. Здесь же, в изоляции, были серьезные люди, они не давали интервью подхалимам, а беседовали как равные с Жизнью и Смертью.

Администрация была встревожена. Кизяк просила Бабаджана перевести ее в другое отделение, поскольку здесь работает Зоя Алексеевна, — она лучше обеспечит порядок, более решительно. Бабаджан ей резко возразил:

— Ни о каких перемещениях не может быть и речи. Глядите в оба. Особенно теперь, когда там этот Алмазов. Им занимается мировая пресса. Вы обязаны доказать с максимальной объективностью, что он тяжело болен. Иначе нам всем грозят большие неприятности.

— Христовор Арамович, доказать это невозможно.

— Почему?

— Потому что он не болен. Нет объективных данных. Наоборот, результаты обследования свидетельствуют, что он совершенно здоров.

— Вы знаете, о нем запрашивали из ЦК... А выписать я его не могу без указания сверху. А наверху тоже не все согласны. Ищите выход.

— Я не могу найти выхода... кроме...

— Что кроме? Говорите скорее.

Но тут Бабаджана срочно вызвали к министру, и она не успела изложить ему свой план, который долго вынашивала.

Так дальше продолжаться не может, — палата № 7 очаг заразы... Надо их разогнать в разные концы. Но на это не согласится Зоя Алексеевна. Уломать ее невозможно. Поэтому Кизяк решила просить Бабаджана дать указание главному врачу расквасировать палату № 7 — больных разослать в разные города.

*

Как прекрасно играть в богатство-бедность! Воображаемая жизнь несколько не подчиняется законам действительности, — но беда в том, что её нельзя увековечить. Пока бежим в никуда — до завтра, только до завтра.

Кизяк кое-чего добилась. Поступило распоряжение отправить иногородних по месту жительства. И вот, в одиннадцатом часу ночи прибыла машина и увезла Фиолетова, Голина, Антонова. Куда их везут, — не сказали. По месту жительства? А ведь у них постоянного места нет. Расставаться с Володей Антоновым и Голиным было тяжело. И тогда впервые все из палаты № 7 дали торжественную клятву — по всей Руси готовить борцов за свободу, водрузить знамя свободы во всех сердцах русских, уже раскрытых, полных трепетного ожидания.

Потом каждый уходящий давал такую клятву. И впоследствии эта клятва никем не была нарушена.

10

ЧЕРНАЯ ХРОНИКА

*Снявши голову, по волосам не плачут,
ибо все силы мироздания были обращены
на то, чтобы эту голову снять.*

СОМЕРСЕТ МОЭМ

Коля Силин лежал на койке в углу и вот уже третий месяц ни с кем не разговаривал. Его даже иные начали побаиваться. Очень жутким было его кричащее молчание. И заговорил он накануне праздника. Все были так поражены его речью — и тем,

что он заговорил, и его необычайным, не то пророческим, не то обреченным голосом, — что всё время молчали. Все понимали, что он катастрофически несчастлив, и ничего хорошего не ждали.

И вот он сказал:

— Я слушаю давно ваши разговоры. И мне жаль вас. Вы мне напоминаете овец, мечтающих о просторах альпийских пастбищ, когда их гонят на бойню. Вот и всё, что я хотел вам сказать.

Ночью он повесился в уборной. Дежурные, как обычно, крепко спали.

Его забрали чуть свет. Прибежал главный врач. И с ним какие-то военные и штатские шпики. К обеду стало известно, что Лидия Кизяк отстранена, — исполняющей обязанности заведующей временно назначили Махову.

*

Ночью Валентин Алмазов писал:

Ни одна мысль не может быть понята до конца.

Конечные мысли — это пошлость.

До конца можно понять только подлеца, — мудрые непостижимы даже для самих себя.

А было ли все это именно так, — возможно, что всё это было страшнее, — такого на свете еще не бывало, — и я хочу, чтобы этого не было, забыть, — иначе я боюсь проклясть мою родину, мою мать, которая родила меня на русской земле в Киеве, матери городов русских, в осенний день. Но мне пришлось это увидеть воочию — этот кошмар мне не снился, я пережил его — и все это так же правдиво, как несуществующее небо, которого не признают ученые, так же как Бога, и которое, так же как Бога, воспевают поэты и пророки с тех пор, как звучит на земле человеческое слово.

И вот вы выслушали эту черную хронику. Ведь розовая — мало любопытна. Редакции газет оплачивают ее по пониженной расценке.

Спешит жизнь, нагромождает свои уродства и жестокости, разгримировывает красавиц, срывает безжалостные маски, морщит лбы, серебрит виски у студентов, — седеют мои юноши, и Толя Жуков, и Женя Диамант, и Макар Славков, и Леонид Неизвестный. И это страшит меня. Я боюсь опоздать. Время постоянно обгоняет наши представления о нем и может летним зноем опалить наши вешние чаяния, и сорвать листву осенним ветром, когда мы еще будем маяться в мае, и так лягут наши мечты, как опавшие листья под могильный покров снегов.

Об этом я и говорил Зое Алексеевне в этот вечерний примолкший час, когда затихают последние шаги на Проспекте Сумасшедших.

Зоя Алексеевна слушала молча. И по выражению ее лица я понял, что она сильно взволнована, хочет в чем-то признаться и не решается.

— Зоя Алексеевна, вы должны себя вести со мной, как с другом.

— Знаю. Я никогда не встречала и больше не встречу такого человека, как вы. Я думаю о вас постоянно. Не сплю по ночам. Вы вздернули мою душу на дыбы.

— Рад, что не ошибся в вас. Жив еще русский народ. И мы должны быть вместе, все честные русские люди.

— Нет, нет, этого я не могу, — почти крикнула она. — Я не могу быть с вами, неспособна на бунт. Скорее смирюсь, стану послушной рабой.

— Бы на этом не остановитесь. Советская власть — чужая, иноземная. А вы — русская. Вы боитесь это понять. Но поймите. Вы уже оторвались от нее, вы кружитесь на ветру, будет буря, — большая буря...

— Может быть, вы и правы... Я не в силах с вами спорить. Сердцем я на вашей стороне... Но оставим это. Я вас потревожила по важному делу. Приехал Андрей Ефимович. Он читал о вас за границей, беседовал. И настаивает, чтобы вас немедленно освободили. Бабаджану пришлось согласиться. Но... тут есть неприятное «но». Надо же написать какой-то диагноз. Иначе придется судить Кизяк и других. Мы напишем что-нибудь туманное — что хотите. Не стоит заводить эту волюнку.

— Согласен. Пишите, что хотите, — только не психическое заболевание.

— Это я предвидела. Я думаю написать невинную вещь, почти неизбежную в вашем возрасте: артериосклероз. Ладно? Так что приготовьтесь.

— Всегда готов. Ко всему готов. К жизни и смерти.

— Это хорошо. Я думаю, и других вскоре выпустят, — Николая Васильевича прежде всего. Бабаджан серьезно боится палаты № 7.

— Не только он. Палата № 7 превратится из маленькой больницы палаты в штаб борьбы за свободу... Наш колокол уже звонит на том берегу. И я верю, что недалек тот час, когда зазвонят московские колокола.

Зоя Алексеевна отвернулась, — она плакала.

✱

Пришла дежурная сестра и отвела Валентина Алмазова в палату.

И снова была ночь, бессонница, кошмары, — и на этом я прекращаю дозволенные речи.

Москва, 1963 г.

Писатель В. Я. Тарсис и мировая пресса

Редакция нашего журнала уже отмечала (см. «Г р а н и» № 56, подборку «Мировая пресса о «Фениксе»), что произведения советских авторов, проскользнувшие сквозь щели «железного занавеса», принимались и принимаются в свободном мире с живым интересом и сочувствием. Особый интерес к себе вызвал писатель В. Я. Тарсис, не только потому, что его произведения, отмеченные несомненным талантом, носят сатирический, остро обличающий советское послесталинское общество характер, но и потому, что судьба писателя, проживающего в СССР, складывается трагично. Его биография помещена в этом же номере «Граней», нам остается более подробно изложить обстоятельства, приведшие В. Я. Тарсиса в советскую психиатрическую больницу, проще говоря, — в сумасшедший дом.

В течение 1962 года В. Я. Тарсис, бывший член Союза советских писателей и бывший член КПСС, переправил за границу рукописи своих произведений, не могущих, конечно, по цензурным условиям быть изданными в СССР. Посылая рукописи, писатель настойчиво просил, чтобы они были опубликованы под его собственным именем, хотя и сознавал роковые последствия своего смелого шага. Так оно и случилось. 23 августа 1962 года В. Я. Тарсис был вывезен органами милиции из своей квартиры (Москва Д-167, ул. Черняховского, д. № 4, кв. 79) и насильственно заключен в психиатрическую больницу им. П. П. Кащенко, Москва, Загородное шоссе № 2. Писатель настаивал на своем освобождении как совершенно здорового человека, отказывался принимать предписанные лекарства и подвергать себя особым методам «лечения» — всё было напрасно. Тарсис должен был понести кару не только за то, что дерзнул написать сатирические или свободные от партийного трафарета произведения, но и за то, что переслал их для опубликования в свободный мир. Изоляция писателя — было решение власть имущих. Изоляция в

таком заведении, где люди либо действительно сходят с ума, либо — смиряются.

Впервые за границей на русском языке было опубликовано «Сказание о синей мухе» в нашем журнале № 52 (декабрь, 1962 г.), и одновременно на английском языке (изд-во Collins Harvies Press, London, 1962) вышла книга, содержащая в себе «Сказание о синей мухе» и «Красное и черное». В течение 1963 г. «Сказание о синей мухе» и «Красное и черное» вышли отдельным изданием в изд-ве «Посев» (Verlag „Possev“, Frankfurt/Main, 1963.) Остерегаясь в то время за судьбу писателя, английское изд-во „Collins“ поместило на книге псевдоним «Иван Валерий», а «Грани» обозначили автора «Сказания о синей мухе» тремя звездочками. (Но уже в № 54 нашего журнала, по настойчивому желанию автора, его третье произведение «Веселенькая жизнь» было напечатано под настоящей фамилией писателя). В том же 1963 г. вышло отдельное издание «Сказания о синей мухе» и «Красное и черное» на английском языке (изд-во Alfred A. Knopf, Inc., США) и на итальянском (изд-во Rizzoli, Италия) — только «Сказание о синей мухе». В течение 1964 г. появились издания обоих произведений на датском (изд-во Gyldendal, Копенгаген), на французском (изд-во Gallimard /La Table Ronde/, Париж) и на шведском (изд-во Norstedt, Стокгольм).

Весть об аресте и заключении в психиатрическую больницу мятежного писателя Тарсиса облетела весь мир. Ниже мы помещаем подборку откликов международной прессы по делу В. Я. Тарсиса с оговоркой, что список далеко не полон: за отсутствием технических возможностей нашим обзором не удалось охватить целый ряд стран и издательств.

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ

Англия. Газета „The Observer“ от 17.2.63 (статья обозревателя Edward Crankshaw под заглавием: «Еще один восставший русский писатель помещен в дом сумасшедших»). Статья заканчивается словами: «Россия все еще является страной, где публичное заявление о несогласии считается сумасшествием».

В другой статье «Советский поэт в бедламе» (в „Observer“ от ноября 1962 г.) он пишет: «Но он (Тарсис — Л. Д.) — не антикоммунистический писатель. Он говорит, что Советский Союз не имеет ничего общего с коммунизмом. Он — поэт в бедламе. Он кипит негодованием против бесправия, жестокости, жадности, лицемерия и ужасающей инертности человеческого духа... Запрещая его произведения, принуждая его тайно писать и тяжело размышлять,

изолируя его самого от внешнего мира, советское правительство лишает Россию великого критика и сатирика мирового масштаба. Но несокрушимая его духовная сила, остроумие и меткость ударов являются достаточными свойствами, чтобы заставить всех, кто воображает, будто они способны убить человеческий дух, безнадежно отступить...» Та же газета от 12. 5. 63; газета „Sunday Telegraph“ от 17.2.63 (статья David Floyd); газета „Sunday Express“ от 17. 2. 63 г., статья — «Русские помещают своих писателей в сумасшедшие дома»; Еженедельник „New Statesman“ от ноября 1962 г.; статья Leonard Schariro «Розалии и Риммы». Автор статьи пишет: «Для нас составляет известное удовлетворение, что мы можем восстать против абсурдности литературной цензуры в СССР и спасти такой литературный талант, как талант Ивана Валерия (Тарсиса — Л. Д.)... Сатира его остра, горька, пылка, но трагична, чем-то схожа с Достоевским, — Колумбом духовного мира, как сам автор его называет; с Гоголем — тоже, поскольку его произведения для России времен XX съезда являются тем же, что и «Мертвые души» для России времен Николая I». Газета „Glasgow Herald“ от 29 ноября 1962 г., рецензия С. С. «Подпольная Россия». Рецензент пишет: «В последнее время с возрастающим наплывом до нас доносятся голоса из скрытой, неофициальной, даже подпольной России. Они, как у Достоевского в «Записках из подполья», тревожащие, бросающие свет во тьму и, потому что они доносятся как бы из-под земли, глубоко проникающие в душу: ибо когда вы заживо похоронены, вы не теряете времени на праздную болтовню... Глупость, жестокость, обманы сталинской и послесталинской эры отображены в сатире беспощадно и полно». Еженедельник „Spectator“ от ноября 1962 г.; рецензия Ronald Hingley. В ней рецензент пишет: «Валерий (Тарсис — Л. Д.) — безусловно большой мастер убийственной иронии. Произведения его воспроизводят судьбу интеллигентных советских граждан, совершенно разочаровавшихся в советском обществе...»

Бельгия. Газета социалистической партии „Volksgazet“ от 19. 2. 63; газета „Gazet van Antwerpen“ от 18. 2. 63; газета „La Métropole“ от 12. 3. 63 (статья Frédéric Kiesel).

Западная Германия. Русский еженедельник «Посев» от 23.12.62; та же газета от 17.2.63; та же газета от 22.2.63 (статья М. Мхеидзе); та же газета от 1.3.63; та же газета от 7.3.63 (комментарии Я. А. Трушновича к произведению «Сказание о си-ней мухе»); та же газета от 15.3.63 (заметка «Отклик советского

посольства в США на дело В. Тарсиса»);

Газета „Schwäbische Donau Zeitung“ (Ulm) от 19. 2. 63; газета „Fränkische Landeszeitung“ (Ansbach) от 19. 2. 63; газета „Heidenheimer Zeitung“ от 19. 2. 63; газета „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ от 19. 2. 63 (сообщение под заголовком: «Результаты сатиры»); газета „Die Welt“ (Essen) от 19. 2. 63 (статья «Арест в доме сумасшедших»); газета „Mannheimer Morgen“ от 20.2.63; газета „Rheinessische Landeszeitung“ от 22. 2. 64 (статья Dr. Karl Megerle).

Голландия. Газета „Het Vrije Volk“ от 18. 2. 63; газета „Het Laatsle Nieuws“ от 21. 2. 63.

Италия. Газета „Corriere della sera“ от 17. 2. 63; газета „Il giornale d' Italia“ от 18/19. 2. 63 (статья Antonio Lovato); газета „Il secolo d'Italia“ от 1. 3. 63 (статья Carlo Majnardi); газета „Concrettezza-Roma“ от 1. 3. 63; газета „Corriere d' Informazione“ (Milano) от 14. 3. 63 (статья Arrigo Levi); газета „La familia cristiana presso la Societa S. Pietro“ от 10. 3. 63.

Люксембург. Радиосообщения в феврале 1963 г. на французском, английском и др. языках.

Франция. Информ. орган „Paris-presse l'intransigeant“ от 17/18.2.63; газета „La croix“ от 19.2.63; газета „Le Monde“ от 19. 2. 63; газета „France-Soir“ от 19. 2. 63; газета „Le Figaro“ от 19. 2. 63; газета „L'aurore“ от 20.2.63 (статья — «Смирительные рубашки для советских писателей». Газета иронически замечает: «Писателей, противников власти, там больше не расстреливают, как при Сталине, а сажают в дома сумасшедших. Либерализация режима, таким образом, налицо»); газета „Le soir“ от 21. 2. 63; русская газета «Русская мысль» (Париж) от 23.2.63; газета „Le Figaro litteraire“ от 23.2.63; бюллетень „Exil et liberte“ от марта 63 г.

Швейцария. Газета „Die Weltwoche“ от 4.1.63 и от 22.2.63 (статья Edward Crankshaw под заглавием «Писатели в обрезиненных камерах»); газета „Basler Nachrichten“ от 20.2.63 (статья под инициалами S. G. Автор называет «Сказание» уничтожающей философской сатирой на послесталинское общество; он не сомневается, что сатира будет переведена на все языки мира и обратит на себя большое внимание); газета „Gasette de Lauzanne“ от 21.1.63. (Обзорная статья автора под инициалами „A. G.“ о нелегальных советских произведениях, в том числе о «Сказании» Тарсиса); газета „Neue Zürcher Zeitung“ от 18. 2. 63; газета „Die Welt“ от 22. 2. 63.

Швеция. Газета „Västerbottens Kurieren (Umea) от 21. 2. 63; (Статья автора Noss); газета „Expressen“ от 6. 3. 63. (Статья Alex Militis).

СТРАНЫ ДРУГИХ КОНТИНЕНТОВ

Австралия. Русская газета «Единение» (Мельбурн) от 22. 2. 63. Статья Б. С. Домогацкого с критическим разбором произведения Тарсиса «Сказание о синей мухе». Автор статьи пишет: «Сказание — блестящая сатира на послесталинское общество, на правящий коммунистический класс... Из всего, что было напечатано в свободном мире после «Доктора Живаго»..., «Сказание о синей мухе» — одно из самых выдающихся произведений...»

Израиль. Газета «Э летцте Найс» (Последние новости) от 1. 3. 63. Сообщая об аресте Тарсиса, газета сравнивает его с Евтушенко. Этот последний допустил критику сталинского времени — и произведения его печатаются. Тарсис же пошел дальше — он сатирически изобразил Хрущева — и его не печатают. Когда же книги Тарсиса появились за границей, — его посадили в психиатрическую больницу; газета «Абокер» (Заря) от 1. 3. 63.

Соединенные Штаты Америки. Газета „New York Herald Tribune“ от 9/10. 2. 63 (статья Alsop). Автор статьи сравнивает судьбу философа Чаадаева и Валерия (Тарсиса) и пишет, что Хрущеву будет трудно совладать со свободомыслящими писателями при помощи смиренных рубашек; та же газета от 19. 2. 63 сообщает об аресте В. Тарсиса; газета „The Washington Post“ от 17. 2. 63. Газета констатирует, что в «Сказании о синей мухе» Тарсис сатирически обрисовал Хрущева, Шелепина и других. «Разница между меньшевиками и большевиками в том, — приводит газета фразу из «Сказания», — что одни меньше, а другие больше насолили миру»; та же газета от 19. 2. 63 (передовица под заглавием: «Литература и искусство на передовых позициях», в которой линия поведения хрущевского режима оценивается как варварская); та же газета от 13. и 23.3.63 публикует полемику между журналистом Болдыревым и советником советского посольства Зинчуком по поводу Вал. Тарсиса и других писателей; радиостанция «Голос Америки» от 17.2.63; газета „Japan Times“ от 20.2. 63; „The Bookseller“ от 23. 2. 63; русская газета «Русская Жизнь». (С.-Франциско) от 21. 2. 63. Помещена статья под заголовком — «Преследования неугодных писателей в СССР». Та же газета от 23. 4. 63 (статья А. Н. Серебренниковой. Анализируя роман «Сказание о синей мухе», автор отмечает талантливость, силу воображения, способность к глубокому и верному анализу В. Тарсиса, каковые качества поднимают творца «Сказания» на большую высоту); газета „The New Daily“ от 22. 2. 63 — сообщает о новом писа-

теле В. Тарсисе, подвергшемся преследованию; газета „Herald Express Examiner“ от 1. 3. 63. Дано сообщение о В. Тарсисе и его сатире; газета „Los Angeles Herald Examiner“ от 1.3.63. Помещено сообщение о советских авторах-антикоммунистах, в том числе о Тарсисе; русская газета «Новое Русское Слово» от 26. 3. 63. Помещена статья Г. Константинова под заглавием: «Что же дальше?» Автор подробно комментирует сатиру Тарсиса «Сказание о синей мухе» и в заключение статьи пишет: «Если в СССР назрело такое ясное понимание порочности всей системы, созданной коммунистами, то режиму, поддерживающему эту систему, действительно приходит конец»; та же газета от 16. 4. 63. Литературный критик В. Завалишин в статье о произведениях В. Тарсиса отмечает, что на «Сказании о синей мухе» заметно влияние Эразма Роттердамского. В. Завалишин приводит кстати очень интересную справку, что Тарсис, известный в СССР как специалист по западноевропейской литературе, обратил на себя внимание еще в 1931 г. остроумной и оригинальной рецензией на русский перевод «Похвалы глупости» Эразма Роттердамского; русская газета «Россия» от 26. 7. 63 (статья Н. Кольцова, комментирующая «Сказание...» Тарсиса). Автор статьи дает такую оценку: «Вся повесть — это в художественной форме выраженное «мене, текел, фарес», роковой приговор и осуждение всех слов и дел советской власти».

Л. Д.

Русская поэзия за рубежом

Дмитрий Кленовский

* *
*

Когда-нибудь, быть может скоро,
На том, нездешнем, берегу,
На том единственном, который
Себе в наследство берегу —

Я обернусь и вдруг замечу,
Что, труден и неумолим,
Но этот путь мой человеческий
Был всё-таки необходим.

Что в тесноте земных свершений,
В борьбе мужей, в объятьях жен,
В огне молитв, в бреду сомнений
Я слеплен был и обожжен.

И вот теперь, уйдя отсюда,
Я вижу: мы бы не смогли
Небесного коснуться чуда
Без страшной помощи земли.

* *
*

Каким сомнением ни измучен я,
Как больно ни томит тоска —
Я небо чувствую над кручею
И верю в крылья мотылька.

Пускай всего лишь отражением
Хоронится во глуби высь —
От смутного прикосновения
К нездешнему не уклонись!

Возьми его, каким приметится,
И передай, как ты поймешь —
Быть может истиной засветится
То, что считаешь ты за ложь.

И пусть всего лишь на мгновение,
Но снизойдут к тебе, легки,
Нездешние прикосновения
Неназываемой руки.

* *
*

То, чем сердце было пьяно,
Что томило нашу плоть —
Мертвой бабочкой нельзя нам
На булавку наколоть.

И не плача, не жалея,
Словно было да прошло,
На досуге молча ею
Любоваться сквозь стекло.

Наше прошлое не вещью
В душном ящичке лежит —
В небе вьется и трепещет,
От цветка к цветку летит.

Если мы его с досады
Второпях в руке сомнем —
Навсегда погубим радость,
Что для нас сияла в нем.

Что ни примем, что ни тронем,
Как ни спрячем в них лицо —

Будут нас стыдить ладони
Золотой его пыльцой.

Ни слезами, ни пожатьем
Новых рук — ее не смыть.
Так не лучше ль наше счастье
Неубитым сохранить!

Анна Запольная

«Если соль потеряет силу...»
Соль?
Сердце, поднятое на вилы.
Боль.

Соль крепчайшая — та, что добыта
просто из слез.
Годы прошли над тобой, как копыта.
А дух — рос.

Борис Филиппов

ЦЫГАНСКИЙ РОМАНС

Вся любовью, надеждой согрета, —
А простуженный голос тих, —
Не свожу с твоего портрета
Я растерзанных глаз своих.

Почему это так — я не знаю:
Что я знаю — не знаю сам:
Ноябрем потянулся я к маю,
Вылезаю из зимних рам.

«Не спознал я любовь... во всю жисть я ...» —
Дребезжат чужие слова.
Опадают последние листья,
Облетает моя голова.

А гитара всё стонет с эстрады,
И любовью светит портрет.
«Ничего мне, да в жизни не надо...» —
И ноябрьского ветра нет...

Михаил Дараганов

Поле пронизано воем.
 Метет и стелет.
Плоское солнце. Молчит немое.
 Мутное — значит еле.
Снежные взметы сыпучи,
 кипят упорней.
Доверху ряд чернобыла, окученный
 вновь оголен до корня.
В между — разрывах, раздольи
 обмерзло-голом
двое идущих — кривые колья.
 Я им — открытым колом.
Вихри навстречу вздыблены,
 путь мой выбелен.
Куст краснотала огнем задымленным
 стынет криком погибели.
Ветры качая несут
 горбов дрожание.
Только в кипении жизнь и суть,
 форма и содержание.

Ираида Легкая

ЯБЛОКО

Ничего нет на свете
Румяней и проще
Сорванного с ветки
В райской роще
Сорванного с дерева
Что всех зеленее
Сорванного Евой
Соблазненной змеем

Борис Нарциссов

КАК ПОПАДАЮТ В БИЗБЕН

Ну, а как попадают в Бизбен? — А надо
Ехать долго железной дорогой.
Остановка будет в леске, у отрога,
Просто так, без вокзала и сада, —

Очень ветхий сруб и платформа,
А дерево хрупко и гнило,
И вы сходите вниз, как в могилу,
А из ямы — сладкий дух хлороформа.

И от старости сруб деревянный распорот
Здесь и там обомшелою щелью,
И дурманно веет сладкою прелью,
И внезапно вы входите в город.

Ах, как сразу от гнета здесь каждый свободен!
Даже воздух здесь радостью пахнет.
Но чужому тут места в уютных домах нет,
Но для счастья чужой тут не годен...

Обитатели к вам не подходят на сажень...
— А какой это город? — «Ну, Бизбен...»
— Ах, совсем, как в Австралии, в Квинслэнде — Брисбен!
— «Не совсем, но для вас ведь не важно:

Это важно для тех, кто сюда прибывает.
Их встречают дипломом на блюде.»
— Ну, а кто же живет здесь? И кто эти люди?
— «Тут у нас не живут — пребывают...»

Недомолвка у них тут с чужим, переглядка.
— Как же к вам попадают в Бизбен?
— «Очень жалко, но план сообщений не издан.
Вы ошиблись в пути пересадкой...»

— Но я очень хочу... — «Вам не срок — подождите:
Вы получите вовремя вызов...»

Я проснулся, и рвутся последние нити,
И рассвет занимается сизо.

Тамара Величковская

ОСЕНЬ

У осени шумный шаг,
А в шуме печаль и прелесть —
Ты слышишь? — стоит в ушах
Почти непрерывный шелест.

Ты скажешь — шумит листва,
Но это особый шорох,
Вот так шелестит едва
Сгорающих писем ворох,
И так шуршат кружева
На Страстной, в севильских соборах...
На кладбище так трава,
Среди анютиных глазок,
Чуть слышно шепчет слова
Оборванных детских сказок.



М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

Василий Барсов (фон — по Врубелю), масло, 1964.

Литературная критика

Георгий Мейер

Ф а т а л и с т

(К 150-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова)

Как прежде, так и ныне, нелюбезный опрос широкой публики с бесспорностью обнаружил бы, что у поэзии Лермонтова куда больше интимных друзей и поклонников, чем у поэзии Пушкина, чтимой подавляющим большинством русских людей довольно официально и холодно. Такое предпочтение гениального ученика величайшему и совершеннейшему мастеру объясняется прежде всего именно крайней молодостью Лермонтова, естественной незрелостью его юношеских чувств и дум. Не даром еще в 1828 году Баратынский писал Пушкину: «У нас в России поэт только в первых своих опытах может надеяться на большой успех: за него все молодые люди, находящиеся в нем почти свои чувства, почти свои мысли... Поэт развивается, пишет с большей обдуманностью, с большим глубокомыслием: он скучен офицерам, а бригадиры с ним не мирятся, потому что стихи его, всё же, не проза».

Залогом полнейшей правоты Баратынского служит его собственная вековая участь. Во всей мировой поэзии не отыскать большей обдуманности каждого слова, больших формальных совершенств и глубокомыслия, чем в творчестве Баратынского, и ничего нет печальнее его одинокой поэтической судьбы.

Высказанные мною соображения, конечно, несколько не клонятся к умалению неопределимых достоинств поэзии Лермонтова. Я хотел лишь отметить, что она всегда была любима публикой не за свою глубочайшую сущность, а за незрелость, за юношеские наивно-эффектные позы и слишком частое словесное несовершенство. Но здесь необходимо тотчас же оговорить, что Лермонтов несколько не повинен в широком опубликовании своих ученических опытов. Более того, никто из русских поэтов не обладал такой огромной силой самокритики, как Лермонтов. Всё,

что есть ценного в его поэзии, заключается в лирических стихотворениях и поэмах, напечатанных им самим при жизни. А всё, что было в его стихотворчестве внутренне и внешне недозрелого, незаконченного, Лермонтов нещадно забраковывал и никогда в печать не пропускал. Так была забракована им, ставшая впоследствии знаменитой, поэма «Демон». Когда же двоюродный брат поэта, Столыпин, не испрося авторского разрешения, напечатал отрывок из этой поэмы, то Лермонтов сильно рассердился и долго не прощал самоуправства.

Часто упоминал Лермонтов, и в стихах и в прозе, о врагах, будто бы ему угрожавших, и даже о «хитрой вражде», которая, по смерти поэта, «с улыбкой очернит» его «недоцветший гений». В действительности никаких врагов у Лермонтова при жизни не было. Не нашлось бы их и после его смерти, не будь на свете безответственных, законом не караемых издателей и критиков, умеренно преданных дидактике и морали.

Много существует разных методов, применяемых в художественно-литературной работе, но безусловно лучшему из них следовали у нас Пушкин, Баратынский и Гоголь, трудившиеся упорно, неотступно над развитием предварительно бегло написанного черновика. Только при такой неотступности поэт, подобно скульптору из стихотворения Баратынского, «властвует собой» вполне и познает до глубины собственный художественный замысел. Тогда, зажатый в его верной руке,

Неторопливый, постепенный,
Резец с богини сокровенной
Кору снимает за корой.

Иначе трудится над своими произведениями Лермонтов. Нередко, написав начерно стихотворение и даже целую поэму, он навсегда покидал их и брался за другие темы и стихи. Несомненно, что и при такой порывистой работе постепенно копился Лермонтовым творческий опыт, создавались удачные отрывки и детали, достойные войти в новую поэму. Но все же в приемах Лермонтова не было постоянства и творческой экономии. И скоро минет сто лет, как недобросовестные и невежественные люди, пользуясь расточительностью поэта, помещают рядом с «Ангелом» и «Парусом» его беспомощные ученические опыты, вроде следующих:

Не смейся, друг, над жертвою страстей,
Венец терновый я сужден влачить,
Не быть ей вечно на груди моей!..
И что ж? Я не могу другой любить!
Как цепь гремит за узником, за мной
Так мысль о будущем — и нет другой.

Последствия такой издательской недобросовестности чрезвычайно тяжело отозвались на судьбах русского стихотворчества. И как ни парадоксально мое утверждение, однако, несомненно, что с Лермонтова, или точнее — с посмертных изданий его сочинений, начался у нас резкий упадок стихотворной культуры. Правда, вред, принесенный небрежным и неумелым опубликованием всех ученических упражнений Лермонтова, могли бы также причинить многие стихи лермонтовского предшественника — Полежаева, одареннейшего дилетанта. Именно он впервые пустил в обращение общие словесные сплавы, ничего не выражающие эпитеты и метафоры. Но Полежаев был и остался известным лишь крайне ограниченным кругам, тогда как стихи Лермонтова, и по преимуществу самые слабые, приобрели всероссийскую популярность. Все наши посредственные и просто плохие стихотворцы, вроде Фруга, Апухтина и Голенищева-Кутузова, неизменно подражали дурным образцам лермонтовской поэзии и довели русский стих до писаний Курочкина и Вейнберга. Но прискорбнее всего, что непонятный соблазн, источаемый стихотворными упражнениями Лермонтова, воздействовал на первостепенных наших поэтов: заставлял неустойчивого Некрасова снижать свое мастерство до уровня откровенно бульварных виршей; водил рукою одного из глубочайших русских поэтов, Случевского, когда он писал свои тяжеловесно-нелепые странно-притягательные поэмы, и наконец усилил прирожденную бесстильность Фета. Кстати, напрасно объяснял Иннокентий Анненский эту бесстильность немецкими влияниями: от немецких поэтов, как и от Державина, Фет усвоил только наилучшее, а на литературные истоки своей бесстильности он сам невольно указал, вспоминая в одной маленькой поэме студенческие годы, проведенные им в доме родителей Аполлона Григорьева. Описывая свою студенческую жизнь с Аполлоном Григорьевым на антресолях замоскворецкого дома, Фет добавляет:

... Как нам казались сладки
Поэты, нас затронувшие все:
И Лермонтов, и Байрон, и Мюссе!

Можно ли определить точнее литературную генеалогию фетовской бесстильности! К счастью, не одни недостатки перенял Фет у Лермонтова: сложнейшая и тончайшая фетовская мелодика многим обязана лермонтовской поэзии. Впрочем, иначе и быть не могло. И если, характеризуя лермонтовское творчество, отваживаться на широкие обобщения, как сделал это Владимир Соловьев, то следовало бы, наравне с Лермонтовым, выразителем, по мнению нашего философа, ницшеанских идей в русской поэзии, упомянуть имя Фета. Но духовного родства этих двух поэтов, кажется, никто еще не отмечал. А сближают их не только идеи богоборчески-ницшеанского порядка, но и свойственный обоим особый дар воздушного касания к вещам и явлениям земного мира. Этим и объясняется тесная органическая связь мелодики Фета с музыкой поэзии Лермонтова. Тому и другому подобала Эолова арфа.

Имя Владимира Соловьева я упомянул здесь совсем не случайно. Ведь если были у Лермонтова истинные недруги, то уж, конечно, не Мартынов, убивший его на дуэли и всю жизнь молчаливым раскаянием искупавший свой грех, и не император Николай I, сердившийся на поэта за беспокойный нрав и на корнета за нерадение к службе. Нет, настоящим недругом Лермонтова, не считая корыстных и глупых издателей, был и остался один Владимир Соловьев. Это он написал преисполненную дидактики и морали «христианскую» статью, в которой пытался доказать, что Лермонтов «попусту сжег и закопал в прах и тлен то, что ему было дано для великого подъема», и что, «облекая в красоту формы ложные мысли и чувства, он делал и делает их привлекательными для неопытных», и сознание этого теперь, после смерти поэта, «должно тяжелым камнем лежать на душе его».

Мораль и дидактика вынуждают у Владимира Соловьева жуткое утверждение, что «бравый майор Мартынов был роковым орудием кары», вполне заслуженной Лермонтовым за поведение в жизни и за полную соблазна и демонизма поэзию. Могут и должны люди, — по словам Владимира Соловьева, — попить обуявшую соль этого демонизма с презрением и враждой, конечно, не к погибшему гению, а к погубившему его началу человеко-убийственной лжи.»

Неудивительно, что, высказывая подобные мысли, Влади-

мир Соловьев отрицает за Лермонтовым всякую способность к любви и к человеческим привязанностям.

«Прелесть лермонтовских любовных стихов, — пишет он, — прелесть оптическая, прелесть миража». Выходит как будто, что наш философ стремится уличить поэта в эстетически-эротической подделке, произведенной с целью хоть чем-нибудь прикрыть от людей свою душевную и духовную пустоту. Такой вывод из сказанного Владимиром Соловьевым мог бы всё же показаться незаконным, но очевидно из желания довести дело до точки философ добавляет: «Любовь уже потому не могла быть для Лермонтова началом жизненного наполнения, что он любил главным образом лишь собственное любовное состояние, и понятно, что такая формальная любовь могла быть рамкой, а не содержанием его Я, которое оставалось одиноким и пустым».

Напрасно уверяет нас Владимир Соловьев, что всё, сказанное им о Лермонтове, внушено ему сыновней любовью к погибшему поэту и христианским желанием оградить неопытных от влияния этой демонической поэзии. Владимир Соловьев полагал, что, охраняя малых сих от соблазнов лермонтовской поэзии, он облегчает загробные муки погибшего поэта. Но для нас пребывает в силе остроумное замечание Мережковского: «если такова любовь, что вбивает кол в горло покойнику, то какова же ненависть?»

И всё же в изуверской статье философа есть отдельные мысли о Лермонтове большой верности и глубины. Он первый назвал этого, во многом неразгаданного поэта «русским ницшеанцем до Ницше», определив таким образом одну из важнейших категорий русской души, корнями своими уходящую в глубь российских веков. Конечно, еще до Владимира Соловьева русское ницшеанство было ведомо Пушкину, что само собою ясно выступает хотя бы в «Пиковой даме», из которой целиком, органически вырастает «Преступление и наказание» Достоевского. При этом не только Пушкин, живший и творивший задолго до Ницше, но и Достоевский, не знали учения немецкого мыслителя о «сверхчеловеке», отбрасывающего, как негодную ветошь, во имя призрачных достижений, основы человеческого существования, начиная с религии. Отрицающий Бога, или, как Лермонтов, вступающий с Ним в борьбу, делается игралищем древнего Рока, от нещадного ига которого избавило нас пришествие Христа. Отвергающий Божественную Жертву предопределяет, того не ведая, собственную судьбу, лишается духовной свободы и принимает последствия им же самим

содеянного греха за нечто заранее предначертанное. Подменивший Богочеловека человекобогом или, по терминологии Ницше, сверхчеловеком неизбежно превращается в фаталиста.

* *
*

Тема предопределения или фатума неразличимо слилась у Лермонтова с его таинственной способностью предугадывать свою собственную судьбу и в то же время помнить те нездешние свои дни, «когда в жилищах света блистал он светлый херувим». Вещун и прозорливец, он был околдован видением своего земного и загробного будущего, зачарован слышаньем своего домирного прошлого. И это не пустой словесный оборот, а точное определение необычайных духовных способностей этого гения. И самое главное, самое важное для нас в Лермонтове — неотступное, чудесное стремление уловить сочетанием слов небесную мелодию, пропетую ангелом его еще невоплотившейся душе. Мы знаем, что Лермонтов достиг своей небывалой цели, ибо в самом звучании его стихов и прозы поистине слышится «арф небесных отголосок», что-то неземное, но сущное, неизъяснимое, но доподлинно райское.

Конечно, не внешним, а внутренним слухом воспринимаем мы эти отклики ангельского мира, и нет ничего наивнее попытки обнаружить хирургическим рассечением трепетной словесной ткани, ныне модным формальным методом, почему именно так, а не иначе, звучат творения Лермонтова. Чрезмерно увлеченные изучением поэтики мы забыли о тайнах поэзии, забыли вдохновенные слова Полонского о ветре неуловимом и невидимом:

Чу, поведай, чуткий слух,
 Это ветер или дух?
 — Это ветра звук для слуха,
 Это вещей дух для духа.

О вещем духе Лермонтова, о его пророческом даре первым заговорил Владимир Соловьев. Вслед за христианским философом Мережковский показал нам подбором неопровержимых цитат, что поэт был не только провидцем собственного будущего, но и сохранял неведомыми путями память о своем домирном существовании. Мережковскому принадлежит также глубокая, к сожалению, лишь бегло высказанная догадка о происхождении лермонтовского фатализма. По мысли писателя, потому так сильно было в Лер-

монтове чувство Рока, что категория причины, необходимости, легжат для нас в прошлой вечности. Таким образом, человек, не оглушенный до конца земным рождением, но сохранивший, подобно Лермонтову, воспоминание о мистической прародине, предрасположен, в какой-то мере, к фатализму.

Неизменно чувствуя за собой дыхание своего нечеловеческого прошлого, поэт одновременно видел свое будущее, встававшее перед ним как прямое продолжение неизбежного, как нечто заранее предначертанное Богом. Отсюда выростала для Лермонтова неминуемость бунта, возникали его спор и тяжба с Творцом, якобы, немилосердно лишившим нас свободной воли.

Существо, извечно несвободному, остается призрачный выбор — быть рабом покорным или уйти в своеволие, хотя бы по видимости заменяющее нам недоступную свободу. Поэт предпочел своеволие. И прав был Иннокентий Анненский, почувывший в Лермонтове родство не столько с отдаленным предком поэта, шотландским стихотворцем и пророком Томасом Лермонтом, сколько с русским разбойным бунтарем, удалым опричником Кирибеевичем. Недаром сам Лермонтов, словами своего героя, как бы признается нам: «Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига: его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце».

Русские своевольцы, конечно, не революционно нигилистические, а стихийные, народные, нигилистами отвергаемые, исповедывают единое незыблемое для них положение, выраженное в краткой поговорке: «чему быть, того не миновать». Эта безоглядная русская вера в предначертанность судеб — происхождения совершенно особого. Религиозная миссия России связана с концом истории, и в недрах нашего народа живут предчувствия неминуемой апокалипсической катастрофы. Неизбежность конечного крушения, порождаемую многовековыми грехами всего человечества, русская душа всегда воспринимала как нечто уже заранее предначертанное Богом.

Учение Православной Церкви о христианской свободе всегда встречало в России противовес в различных религиозных влияниях, принесенных с Востока, и до народного сердца доходило с трудом. Лермонтов, более чем кто-либо другой из наших поэтов, был носителем сокровеннейших русских чувствований, чаяний, воли и своеволия. Погруженный в самонаблюдение поэт лишь однажды оторвался от страшной сосредоточенности на собственной

участи и обратился к судьбам России. Тогда-то и обнаружилось, что он, в духовном согласии с народными недрами, живет и дышит предчувствием всемирного конца. Смутно уловил Лермонтов, через пророческое угадывание грядущих судеб России, дыхание последних апокалипсических свершений, и остается непостижимым, как могли быть доступны такие видения внутреннему зрению существа едва вышедшего из отроческого возраста. Пятнадцатилетний мальчик заносит в свою ученическую тетрадку стихи, так и оставшиеся незаконченным черновым наброском:

Настанет год, России черный год,
С главы царей корона упадет,
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Не защитит низвергнутый закон;
Когда болезнь от смрадных мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать;
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек.
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь и поймешь,
Зачем в его руке булатный нож.
И горе для тебя, — твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон.

В этих, еще детски неумелых, неуклюже сделанных стихах, пораженные, мы узнаем свершившееся на наших глазах и как бы видим темную ауру вокруг человека с булатным ножом, мистического предвозвестника всемирного конца.

Что должен был думать пятнадцатилетний мальчик, охваченный такими предчувствиями, видящий в непрерывном сне наяву свою и всеобщую судьбу? Неизбежность, порождаемую человеческим грехом, он принял за нечто Богом предначертанное, бунтовал, богоборствовал и укреплялся в своем русском своеволии. Тема предопределения или фатума как бы сама собой возникла в творениях поэта из его ясновидений и прозрений. Но с особой силой и четкостью развивалась она не в стихах, а в прозе Лермонтова. В этой прозе, как будто вчера еще только написанной, узнает современный читатель своего неумолимого и неотступного властелина,

безраздельно владеющего его жизнью. Я говорю о том, кого так часто испытывали многие из нас в гаданиях и приметах, кому все мы ежедневно угождаем и служим.

Лермонтов был поэтом глубоко своевольным, бунтующим и потому резко отъединенным от соборно-христианского лона. Он ведал властвующего нами, сознательно испытывал его в поэзии и в жизни и бестрепетно искал с ним неравных встреч. Однажды, одолеваемый творческой тягой к познанию запретного, нечеловеческого, слишком близко подошел Лермонтов к истокам этой властительной силы и в грозовой июльский вечер собственным дыханием заплатил за дерзание. Можно сказать, что жизнь и творчество Лермонтова были всецело посвящены испытанию этой таинственной силы, разнородным состязаниям с нею, проводимым с бесстрашием, невероятным для смертного человека.

Сам Лермонтов не знал, по-видимому, когда соприкоснулся он впервые с началом неведомым и губительным. По крайней мере, в одной поэме, написанной им незадолго до смерти, он пытается объяснить свою веру в предопределение, предначертанность наших судеб, влиянием небес Востока, якобы невольно сблизивших поэта «с учением их Пророка». Однако мы хорошо знаем, что еще в раннем отрочестве зародилась в Лермонтове невозможная мечта о единоборстве с предначертателем человеческих судеб, с древним Роком, самовластно владеющим нами, не принявшими Голгофской жертвы, не внявшими божественному призыву: «если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». (8, 31-32, от Иоанна).

Спасительность христианского смирения Лермонтов чувствовал глубоко, и не знаю, нужно ли в доказательство этого лишний раз ссылаться на известного всем хрестоматиям кротчайшего Максима Максимовича, на молитвенное обращение поэта к Матери Божией, «Заступнице мира холодного».

Но сложная душа Лермонтова, до конца постигавшая и любившая в других всё смиренное и простое, искала для себя иных путей, иного подвига.

Со слов Льва Толстого и главным образом Чехова, лучшим прозаическим произведением Лермонтова признана всеми «Тамань». Бесспорно, эта маленькая повесть, совсем не случайно открывающая по замыслу автора «Журнал Печорина», содержит в зародыше не только основные религиозно-художественные идеи самого Лермонтова, но и завязь творческих грез Толстого и Чехова. Кроме того, читателю, обладающему искусством медлен-

ного чтения, «Тамань» дает возможность предощутить дыхание новой жизни, на рубеже которой все мы сейчас так томительно стынем. По торным, луннозавороженным путям «Тамани», по вольной морской стезе ее безвестных «честных контрабандистов» давно тоскует мир. И всё же эта начальная повесть «Печоринских записок» уступает в совершенстве их заключительному звену, в художественном отношении ни с чем не сравнимому «Фаталисту».

С «Тамани», сотканной рукой тончайшего мастера, еще не окончательно сошел налет романтических трафаретов, свойственных нашей литературе тридцатых годов прошлого века. Так, о пригородной мещанке, хотя бы преисполненной русалочьими соблазнами, не следовало Лермонтову говорить условным языком, безразлично применявшимся тогдашними литераторами к пейзажам и маркизам.

«Она села против меня тихо и безмолвно и устремила на меня глаза свои... Лицо ее было покрыто тусклой бледностью, изобличавшей волнение душевное; рука ее без цели бродила по столу, и я заметил в ней легкий трепет... вдруг она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный поцелуй прозвучал на губах моих... я сжал ее в моих объятиях со всею силою юношеской страсти, но она как змея скользнула между моими руками»...

Правда, все эти условности вполне искупаются ритмическими чарами «Тамани», изумительной стройностью повествования, но отсутствие огненных поцелуев и ускользящих змей ничуть не повредило бы творчеству Лермонтова. А развивался он как художник с быстротой совершенно непонятной. «Фаталиста» отделяют от «Тамани» не годы, всего лишь месяцы, но в нем нет романтических штампов, в нем каждое слово до конца отражает беспощадную действительность. Даже хорошенькая дочка старого урядника, Настя, такая женственная при свете месяца, облечена в приметы, хотя и легкие, но строго реалистические.

«Она, по обыкновению, дожидалась меня у калитки, завернувшись в шубку; луна освещала ее милые губки, посиневшие от ночного холода. Узнав меня, она улыбнулась, но мне было не до нее. «Прощай, Настя!» сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то отвечать, но только вздохнула».

Замечательно, что начало и конец Печоринских записок — «Тамань» и «Фаталист» — одинаково развиваются от магии и в магии лунного света. Но если в «Тамани» декоративные подпоры условной романтики местами задерживают нарастание ночного

волшебства, то в «Фаталисте» строго реалистический тон повествования, скептические, во всем сомневающиеся замечания автора лишь полнее дают ощутить скрытое присутствие в мире колдовской и безликой силы, безраздельно владеющей жизнью людей и уже намечающей среди нас очередного смертника.

Дальновидный и лукавый мастер Лермонтов знает, что ничто не вредит так искусству, как выраженная заранее восторженная вера в таинственное. Недаром признается Печорин, что присутствие энтузиаста обдаёт его крещенским холодом. Верить в «окультурные науки» Лермонтов предоставляет людям, подобным Грушницкому, а сам устами того же Печорина спешит скептически отмежеваться от сомнительных астрологических опытов, соблазнительно придающих людям «уверенность, что целое небо, с своими бесчисленными жителями, на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!»

К этой явной насмешке над людьми, чрезмерно падкими на всё таинственное, Лермонтов добавляет, с расчетом глубоко-художественным: «И много других подобных дум проходило в уме моем; я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли, и к чему это ведет?..»

Лермонтова прельщали в «Фаталисте» не призрачно отвлеченные рассуждения на тему о предопределении, не романтически-страшные рассказы о потустороннем в уютной комнате, при мерцании догорающего камина, а подлинная способность безликой запредельной силы проявляться и воплощаться в суровой действительности. Лермонтов не соблазнился легкой безвкусной игрою с мистикой, снабженной вещающими привидениями и провалами в адские бездны, он спокойно и сдержанно, даже несколько сухо, рассказал нам жизненный случай, который, если его на самом деле не было, мог бы бесспорно и несомненно произойти. И одной мысли об этом в сущности достаточно, чтобы ужаснуться жизненной тайне, привычно и потому обесцвечено называемой нами Роком, но неумолимой и неукоснительной, как пущенная в ход невидимой рукой машинная шестерня.

Конечно, труднее всего было для Лермонтова выбрать подходящего героя, могущего естественно и просто проделать над собою опыт с пистолетом, показать на деле непоколебимость своей веры в предопределение, словом, предоставить собственную персону в распоряжение зрителей для проверки зыбкого метафизического положения неопровержимой эмпирикой. Однако, опыт опытом, а метафизическая авантюра здесь явно налицо! Кто же,

спрашивается, способен на нее по преимуществу? Немец? Но при большой любви к метафизическим выкладкам немец не склонен производить их при помощи ненадежного курка. Прирожденный скептик француз никакой метафизики, и в особенности авантюрной, не любит. Казалось, проще всего для Лермонтова было остановиться на русском, тем более, что всё действие повествования развивается в прифронтовой полосе, в среде офицеров российской армии. Но русский человек, несмотря на всегдашнюю свою готовность к небывалым опытам, недостаточно от природы выразителен, классичен. Притом, чтобы сделать повышенный жест правдоподобным в искусстве, требуется даль, перспектива, расстояние, примесь некоторой экзотики, чужеродности, непривычности. Выбор Лермонтова с удивительной остротою падает на серба. Славянин и младший брат русского человека, серб еще не утратил, подобно западноевропейцу, разностороннего вкуса к магическим опытам, хотя бы к самым прямолинейным и грубым. А выразительной внешности Вуличу было не стать занимать:

«Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные пронизательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждающая на губах его, — всё это будто согласовывалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного, неспособного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи».

Целя себе прямо в лоб, Вулич нажал на гашетку заряженного пистолета: осечка! Скептический Печорин, за минуту до того державший пари, что никакого предопределения не существует, знаменательно себе противореча, обращается к Вуличу:

«...не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть...»

Человек, только что преспокойно целивший себе в лоб, внезапно смутился: «... пари наше кончилось, и теперь ваши замечания, мне кажется, неуместны... Он взял шапку, — добавляет рассказчик, — и ушел».

Этот краткий разговор между Печориным и Вуlichem в высшей степени важен для внутреннего хода всего повествования Лермонтова. Печоринские скептицизм и сомнение оказываются чем-то незначущим, внешним по отношению к чувству, заложенному в каждом из нас и безошибочно определяющему на лице ближнего скорую обреченность. Что же касается эксперимента с пистолетом, то по доказательности он сильно уступает боязни,

охватившей Вулича при замечании Печорина. Опрометчивая выходка, даже самая отважная, не так убедительна, как безотчетно живущий в человеке и внезапно проявляемый страх перед неминуемостью судьбы.

Итак, короткий разговор-признание, разоблачающий наше подспудное знание о Роке, бесповоротно предрешает в «Фаталисте» распорядок дальнейших событий. После благословенной осечки вольные и невольные участники небывалого опыта расходятся по домам. При свете полного месяца, красного, как зарево пожара, Печорин возвращается домой пустынными переулками станицы. Его занимали всё те же привычно скептические мысли, когда внезапно натолкнулся он «на что-то толстое и мягкое, но по-видимому неживое». Присмотревшись, Печорин увидел, что это была свинья, разрубленная кем-то шашкой пополам.

Загадка со свиньей, по крайней мере с внешней стороны, разрешилась быстро. Два проходившие казака сказали Печорину, что они идут на поиски своего пьяного товарища-буяна, который, «как напьется чихиря, так и пошел крошить всё, что ни попало». В ответ Печорин объяснил им, что не встречал казака и «указал на несчастную жертву его неистовой храбрости». Эти слова Печорина мы могли бы принять за чистосердечный юмор рассказчика, не разыграйся дальнейших трагических событий, в связи с которыми случай со свиньей не только по существу не разрешается для нас, но еще приобретает некий поистине дьявольский оттенок.

Не успел Печорин, взволнованный поступком Вулича, заснуть в эту ночь, как услышал крики под окном: «Вставай, одевайся!». То были офицеры, пришедшие за ним. — «Что? — Вулич убит».

Стремительность событий, опять-таки с внешней стороны, объяснилась очень просто. Пьяный казак, зарубивший свинью, на бегу повстречал возвращающегося Вулича и на вопрос: «Кого ты, братец, ищешь?» ответил: «Тебя!» и полоснул шашкой отважного испытателя судеб, разрубил его от плеча почти до самого сердца.

Конечно, у каждого — своя судьба. Свинья — свиньей, и Вулич — Вуlichem. Но отделаться от дьявольского параллелизма, навязанного нам Лермонтовым, мы всё же не можем. Гибель человека, только что до того чудесно избежавшего смерти, гибель от шашки, замазанной еще не остывшей свиной кровью; рыскающий в ночи пьяный казак, одержимый вселившейся в не-

го неведомой силой; при свете полного месяца, красного, как зарево пожара, неподвижная свиная туша — всё это невольно воспринимается нами, как нечто слитное, неразрывное и роковым образом породившее друг друга.

Крайне сжато и схематично всё это может быть истолковано так: метафизическая авантюра, предпринятая Вуlichem, пробуждает разгневанный Рок, дремавший дотопе в умолкнувших Перунах, потерявший себя от вина пьяный казак, избранный орудием Рока, как злобой разнузданный дух, набегаает на ненавистную ему плоть, но прежде чем зарубить Вулича, неминуемо встречает и рубит свинью — греховный символ Вуличевской попытки заглянуть в запредельное, потревожить Рок. Нечистая свиная кровь шашкой одержимого надругательски приобщается к крови человека, своевольно сорвавшего запоры с преисподней. И в довершение всего пьяный казак предается закону рукою изловившего его на следующий день Печорина, главного, хотя и скрытого виновника злой бури, подтолкнувшего Вулича на опрометчивый опыт с заряженным пистолетом. Символом неминуемой судьбы, воплощением Рока является в повествовании Лермонтова старуха, мать казака-убийцы, беззвучно шепчущая не то молитву, не то проклятие. Она сидела у нежилой хаты, в которую заперся не пожелавший сдать властям ее преступный сын.

— «Побойся Бога! — обратился к нему старый есаул, — ведь ты не чеченец окаянный, а честный христианин. Ну, уж коли грех твой тебя попутал, нечего делать: своей судьбы не м и н у е ш ь ! (Подчеркнуто мною. — Г. М.).

— Не покорюсь! — закричал казак грозно, и слышно было, как щелкнул взведенный курок.

— Эй, тетка! — сказал есаул старухе: — поговори сыну; авось тебя послушает...

Старуха посмотрела на него пристально и покачала головой».

В безмолвном качании головой заключается ответ старухи. Ведь в это решающее для ее сына мгновение она олицетворяла собою неизбывную для нас, русских, поговорку: «Чему быть, того не миновать». И вряд ли, вопреки словам старого есаула, отличается чем-нибудь наша русская вера в судьбу от веры в фатум, завещанной Кораном «окаянному чеченцу».

Печорин, от лица которого ведется рассказ в «Фаталисте», несмотря на вызов, брошенный им судьбе, остается безнаказанным. Но за него, как и следовало ожидать, вскоре заплатил собственной жизнью сам Лермонтов, успевший до своей гибели пове-

дать нам, по удачному выражению Владимира Соловьева, свой «сон в кубе»: Лермонтову живому снится Лермонтов мертвый, лежащий в долине, среди уступов желтых скал, которому, в свою очередь, снится женщина, одновременно видящая его во сне распростертым на песке злосчастной долины.

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана;
По капле кровь точилась моя.

Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснились кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня — но спал я мертвым сном.

И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир, в родимой стороне.
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.

Но в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди дымясь чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.

Лучшего дополнения к «Фаталисту» Лермонтов оставить нам не мог. Именно так, убитый на дуэли, лежал он на песке в долине, один, покинутый своим убийцей и свидетелями драмы. И секундант поэта, князь Васильчиков, на допросе у коменданта города Пятигорска невольно вспомнил эти стихи Лермонтова, говоря о крови, точащейся из раны по капле.

В час кончины поэта одна из его кузин присутствовала на празднестве в далеком Петербурге. Внезапно сердце ее сжалось темным предчувствием беды. «Я чувствую, — сказала она подру-

ге, — что с Мишей (так называла она Лермонтова) случилось что-то ужасное».

Но с особой убедительностью, невольной заставляющей верить в существование предопределения, звучат заключительные слова в «Фаталисте». Ставка Лермонтова на христианскую свободу оказывается битой, ибо сам Максим Максимович, по видимости кроткий, смиренный христианин, неожиданно обнаруживает свою непоколебимую веру в судьбу:

— «Да-с, конечно-с! Это штука довольно мудреная!... Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны, или недовольно крепко прижмешь пальцем...

Потом он примолвил, несколько подумав:

— Да, жаль беднягу... Чорт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано!..»

* *
*

«Два демона», по слову Достоевского, утвердились в русской художественной литературе — Гоголь и Лермонтов. Один из них всё смеялся и, высмеяв человека, удалился, осиленный, быть может, злым духом, а другой бунтовал и грозил нам железным стихом. Всю свою сознательную жизнь Достоевский провел в творческой полемике с Гоголем, воскрешая и одухотворяя мертвые души. Совершенно самостоятельно пройдя через все соблазны человекобожества и преодолев их, по крайней мере, в своем творчестве, Достоевский *частично* осудил Лермонтова в лице Кириллова и Ставрогина. Спор Достоевского с Лермонтовым развивался скрытно, подспудно и лишь однажды явно обнаружился как бы случайно брошенным, но весьма знаменательным замечанием: по существу определяя Ставрогина, автор «Бесов» неожиданно добавляет, что у этого его героя «в злобе, разумеется, выходил прогресс даже против Лермонтова». Откуда взялось здесь это страшное *даже*? Достоевскому исполнилось двадцать лет, когда Лермонтов погиб на дуэли, и он еще при жизни поэта мог слышать о нем как о человеке отрицательные отзывы. В них недостатка не было. Тургенев, вспоминая свою мимолетную встречу с Лермонтовым в 1840 г. в петербургском салоне, заметил: «Недоброй силой веяло от него, невозможно было выдержать жёсткий взгляд его темных глаз». В том же году Баратынский писал жене из Петербурга в Москву: «Познакомился с Лермонтовым, который прочел прекрасную новую пьесу; человек без сомнения

с большим талантом, но мне морально не понравился. Что-то нерадушное, московское». (Баратынский по многим причинам не любил Москвы. — Г. М.).

Так относились к Лермонтову почти все знавшие его. Но отсюда еще не следует, что он погиб для вечности, как предполагает Владимир Соловьев. С таким предположением Достоевский никогда не согласился бы.

Партийное решение

(Резолюция ЦК РКП(б) от 1925 г.)

Ниже мы помещаем главу из книги «Советские литературные теории. 1917 - 1934. Происхождение социалистического реализма» Германа Ермолаева. Труд этот уже неоднократно подвергался резким нападкам советской прессы, что не вызывает удивления, т. к. автор затронул корень самых болезненных для советской литературы нынешнего периода проблем. Благодаря богатому использованию подчас редчайших источников и документов той эпохи, недоступных в СССР для «простых смертных», книга эта разбивает не только сталинские, но и наново создаваемые властью мифы о том периоде, когда решалась судьба нашей литературы — быть ей или не быть. Личность и творчество одного из талантливейших критиков тех лет, А. К. Воронского, погибшего в эпоху сталинского террора и теперь посмертно реабилитированного, снова вызвали в литературной среде СССР острые столкновения и обвинения Воронского со стороны догматиков, указывая на всю фальшивость партийной реабилитации и на посмертную правоту человека, потерпевшего при жизни страшное поражение.

Р е д а к ц и я

Конфликт между Воронским и напостовцами*) не мог быть разрешен без вмешательства верховной советской власти — партии. Литературные противоречия середины двадцатых годов действительно привлекли внимание партии, и она определила свою точку зрения в следующих документах: в резолюции Отдела печати Центрального Комитета партии (май 1924 г.), резолюции XIII съезда партии о печати (май 1924 г.) и резолюции Центрального Комитета партии «О политике партии в области художественной литературы» (18 июня 1925 г.).

В мае 1924 года при Отделе печати Центрального Комитета было созвано совещание для обсуждения политики партии в области литературы. В этом совещании приняло участие 48 человек, среди них руководители группы «Октябрь», их оппоненты во гла-

*) Напостовцы. Партийные писатели и критики, группировавшиеся вокруг журнала «На посту» и поставившие себе целью следить за чистотой коммунистической идеологии в пролетарской литературе и объединить под своим контролем пролетарские литературные силы. — Р е д.

ве с Воронским и Троцким, крупные партийные и советские работники и ряд пролетарских писателей и критиков. Председательствовал Яковлев.

В центре дискуссии стояла полемика между Воронским и напостовцами, главным образом, вопрос о возможности существования пролетарской культуры¹⁾. В этой полемике напостовцы выставляли требование партийной диктатуры в литературе и заявили, что ВАПП*) может стать орудием этой диктатуры. Напостовцы утверждали, что пролетарская литература добывается уже художественного и идеологического превосходства над «буржуазной беллетристикой»²⁾.

Требования напостовцев и их отношение к попутчикам**) вызвали дружный отпор не только со стороны Троцкого, Воронского, Осинского, Полонского и Яковлева, но и со стороны поборников пролетарской литературы. Так, Бухарин утверждал, что для развития пролетарской литературы необходимо соревнование с другими литературными течениями, в то время, как государственная опека или покровительство погубят ее. Отстаивая принцип «свободной анархической конкуренции», он призывал напостовцев не тратить больше времени на выработку бесконечных «платформ», а заняться литературным творчеством³⁾.

В результате состоявшихся 10 мая 1924 года прений, совещание приняло резолюцию, предложенную Яковлевым, последовательным сторонником ленинских взглядов на культуру. В этой резолюции отсутствует всякое упоминание о пролетарской культуре или литературе, а термин «пролетарский писатель» употребляется лишь дважды. Смысл резолюции сводится к тому, что в задачи партии входит забота о творчестве рабочих и крестьянских

1) П. С. Котан. «Литература великого десятилетия». Москва-Ленинград, 1927 г., стр. 59.

*) ВАПП. Всероссийская Ассоциация пролетарских писателей. — Ред.

2) Речь Г. Лелевича и заключительное слово Вардина. «Вопросы культуры при диктатуре пролетариата. Сборник». Москва-Ленинград, 1925 г., стр. 80, 132. См. также «В вопросе о политике РКП(б) в художественной литературе». Москва, 1924 г.

**) Попутчики. Преимущественно беспартийные писатели-интеллигенты, лояльные по отношению к советской власти, но имевшие независимые взгляды на важные жизненные явления. — Ред.

3) «Вопросы культуры при диктатуре пролетариата. Сборник», стр. 81-85.

писателей, и что находить их следует в первую очередь среди рабкоров и селькоров. Политика партии по отношению к попутчикам должна оставаться без изменений. Задача коммунистов — воспитывать и оказывать «товарищескую» помощь наиболее талантливым попутчикам. Отношение журнала «На посту» к попутчикам в резолюции осуждалось на том основании, что оно отчуждало их от партии и советского государства и препятствовало творческому росту пролетарских писателей. Напостовцам же было недвусмысленно сказано, что «ни одно литературное направление, школа или группа не могут и не должны выступать от имени партии»⁴).

Принятая совещанием при Отделе печати ЦК резолюция была полной победой Воронского. В ответ на статью Вардина «Надо, наконец, ликвидировать «воронщину», Воронский опубликовал в своем журнале текст резолюции, отметив при этом, что она дает напостовцам ту же оценку, что и журнал «Красная новь»⁵). Несмотря на то, что надежды напостовцев были обмануты, они не признали своего поражения и всячески пытались «сохранить лицо». Без всякого основания они утверждали, что партия приняла программу пролетарских писателей. Правда, один из второстепенных представителей этой группы признал, что резолюция была «дипломатической»⁶).

Тот же документ, однако, вскоре стал расцениваться напостовцами как «их большой успех», потому что он был включен в резолюцию XIII съезда партии о печати⁷). Руководители группы «Октябрь» восторженно приветствовали этот шаг партии, показывающий, что она не хочет оставаться нейтральной в вопросах литературы. Но как бы напостовцы ни ликовали, они не могли не признать, что главные их цели — признание классовой борьбы в литературе, гегемония пролетарских писателей и поддержка ВАПП партией — достигнуты не были⁸).

4) «Резолюция, предложенная тов. Я. Яковлевым и принятая совещанием при Отделе печати ЦК РКП(б)», там же, стр. 139; А. Воронский. «Ответ Вардину». Журнал «Красная новь», апрель-май, 1924 г., № 3, стр. 306-307.

5) «Ответ Вардину», стр. 306.

6) С. Оленев. Обзор сборника «К вопросу о политике РКП(б) в художественной литературе». Журнал «Октябрь», июль-август, 1924 г., № 2, стр. 217.

7) Резолюция опубликована в «Правде» от 1 июня 1924 г. и в «Известиях» от 4 июня 1924 г. Об отклике напостовцев на резолюцию см. «Октябрь», июль-август, 1924 г., стр. 4.

8) С. Родов. «Новые задачи и новые опасности». «Октябрь», 1925 г., № 3-4, стр. 178-179.

Следующее столкновение напостовцев и Воронского произошло на заседании Литературной комиссии ЦК партии в февралемарте 1925 года. На этом совещании решающую роль сыграл Бухарин, который впоследствии составил текст резолюции Центрального Комитета от 18 июня 1925 года⁹). Он возражал Троцкому, утверждавшему, что пролетарскую культуру создать невозможно. По мнению Бухарина, Троцкий не учел того факта, что период диктатуры пролетариата будет продлен, поскольку в других странах рабочий класс еще не захватил власти. Следовательно, пролетарская литература, отражающая черты господствующего класса Советского Союза, находится уже в процессе формирования и имеет все данные для дальнейшего развития. Урбанизм, коллективизм и революционность — вот характерные черты этой литературы.

Но вместе с этим Бухарин откровенно признал, что Ленин «самым решительным образом» и «в десятках разговоров» выражал свое несогласие с его точкой зрения на пролетарскую культуру¹⁰). Он не мог точно сказать, верил ли Ленин в возникновение пролетарской культуры даже в будущем. По его мнению, Ленин был против создания такой культуры, по-видимому, оттого, что это приведет к ненужной затрате энергии и породит только зазнайство и чванство. А это в свою очередь будет препятствовать воспитанию в массах самых элементарных культурных и гигиенических навыков, которые им крайне необходимы. В заключение Бухарин обратился к сторонникам пролетарской культуры со следующими знаменательными словами: «И нечего тут говорить, что Ленин был за нас. Это вздор»¹¹).

Ту же точку зрения выразил нарком по военным и морским делам Фрунзе: «Я в свою очередь могу подтвердить то, что здесь сообщил товарищ Бухарин относительно взглядов т. Ленина по этому вопросу. В этой части не может быть никакого сомнения. Ле-

⁹) Резолюция «О политике партии в области художественной литературы», опубликована 1 июля 1925 г. в «Правде» и «Известиях». Авторство Бухарина засвидетельствовано В. Полонским в его книге «На литературные темы. Статьи критические и полемические». Москва, 1927 г., стр. 130 и напостовцами И. Л. Вардиным и Ю. Либединским в статье «ВАПП. Внутренние опасности пролетарской литературы», «Октябрь», 1925 г., № 12, стр. 167. Статья написана по поручению и выражает мнение правления ВАПП.

¹⁰) Н. Бухарин. «Пролетариат и вопросы художественной политики». «Красная новь», май, 1925 г., № 4, стр. 265.

¹¹) Там же, стр. 266.

нин решительно высказывался против теории пролетарской культуры как практической задачи текущего дня»¹²).

Что касается других аспектов пролетарской культуры, то Бухарин заявил о своем полном согласии с основными положениями напостовцев. Он согласился, что господство непролетарской культуры несовместимо с господством пролетариата и что в классовом обществе не может быть нейтрального искусства. Он опроверг, однако, утверждение напостовцев о невозможности мирного соревнования между разными литературными течениями. В настоящее время, разъяснил он, происходит «диалектическое изменение функций классовой борьбы», и буржуазии разрешается «сотрудничать» с пролетариатом. Именно эту политику следует применять также в отношении попутчиков¹³).

Взгляды Бухарина легли в основу резолюции Центрального Комитета от 18 июня 1925 года. Эта резолюция знаменательна в том отношении, что она не только не считается с мыслями Ленина о пролетарской культуре, но и находится в прямом противоречии по отношению к ним. Трудно объяснить, почему члены Центрального Комитета подписали важную официальную декларацию, автор которой открыто выразил свое несогласие с Лениным. Вероятно, это произошло потому, что наиболее влиятельные руководители партии не разделяли точки зрения Ленина в вопросах культуры, а после его смерти его воля стала уже необязательной. Положение в руководящих кругах партии того времени подтверждает правильность такого объяснения. В момент принятия резолюции «центральная» фракция партии, во главе со Сталиным, временно объединилась с бухаринским правым крылом в борьбе против левой оппозиции Троцкого. Эта коалиция располагала большинством, и руководители обеих фракций были сторонниками пролетарской культуры. Сталин выявил свою позицию, выступая с речью в Коммунистическом университете трудящихся Востока 18 мая 1925 года. В этой речи он сказал, что пролетарская культура

12) «Речь на заседании литературной комиссии ЦК ВКП(б) 3 марта 1925 года». В. Полонский. «Очерки литературного движения революционной эпохи», 2-ое издание., Москва-Ленинград, 1929 г., стр. 273-274.

13) Н. Бухарин. «Пролетариат и вопросы художественной политики». «Красная новь», май, 1925 г., № 4, стр. 266-270.

находится в стадии становления. Эта культура, добавил он, социалистическая по содержанию и национальная по форме¹⁴).

Трудно определить в точности, какое влияние имел Сталин на резолюцию от 18 июня 1925 года. Сведения по этому вопросу неполны и отрывочны. Троцкий утверждал, что Сталин и не помышлял о создании пролетарской культуры. Официального признания ее, по его мнению, добился Бухарин — апостол пролетарской культуры и теоретик правящей фракции¹⁵). По мнению Троцкого, это решение вытекало из принятого партией курса на построение социализма в одной стране, предложенного Сталиным осенью 1924 года и всецело поддержанного Бухариным. Эта политика, связанная с тем, что европейский пролетариат не захватил политической власти, предусматривала постепенное продвижение к социализму, с уступками стремлениям крестьян к частной собственности. Левое же крыло партии, напротив, настаивало на быстром развитии промышленности и коллективизации сельского хозяйства¹⁶).

Свидетельство Троцкого — новое доказательство решающей роли, которую Бухарин играл в защите пролетарской культуры. Однако Троцкий, по-видимому, преуменьшает влияние своего главного врага — Сталина. Речь Сталина от 18 мая 1925 года показывает, что он интересовался вопросами пролетарской культуры, а как генеральный секретарь партии не мог не иметь значительного влияния на ее постановления. В то же время Сталин не принимал участия в заседаниях Литературной комиссии Центрального Комитета. По данным официальных источников (до речи Хрущева на XX съезде партии в феврале 1956 года), Сталина на этих заседаниях представлял Фрунзе. Критик Василий Иванов в своей истории идеологической борьбы в литературе утверждает, что резолюция Центрального Комитета основывалась на речи

14) «Товарищ Сталин о политических задачах университета народов Востока». «Правда» от 22 мая 1925 г. В сталинское время это изречение служило доказательством ведущей роли Сталина в развитии подлинно марксистско-ленинского толкования теории пролетарской культуры и в разгроме троцкистских взглядов. См. В. Иванов. «Из истории борьбы за высокую идейность советской литературы», 1917-1932, Москва, 1953 г., стр. 92.

15) Leon Trotsky. „The Revolution Betrayed“, Trans. Max Eastman, Garden City. Doubleday, 1937 стр. 178-179, 26.

16) Там же, стр. 291-308.

«верного последователя и одного из ближайших соратников И. В. Сталина¹⁷⁾ — Фрунзе.

Это утверждение, однако, ни на чем не основано. На самом деле Фрунзе всецело соглашался с Бухариным и вообще не упоминал Сталина. Заключительные слова его речи были: «По части принципиальной я стою целиком на почве тех взглядов, которые излагал здесь т. Бухарин и которые, по моему мнению, являются совершенно правильными»¹⁸⁾. Попытка представить Фрунзе выразителем мнения Сталина или партии основывается на том, что главные участники Литературной комиссии подверглись впоследствии преследованиям как «враги народа». На типично партийном жаргоне их характеризовали так: «обер-бандит Троцкий, его сподручный по делам литературы Воронский», «иезуит..., прожженный предатель Бухарин» и т. п. О Лелевиче, Вардине и Авербахе утверждалось, что они были «разоблачены как маскировавшиеся троцкисты-подпольщики»¹⁹⁾. Официально Фрунзе никогда не попадал в немилость партии, однако, ходили слухи, что по распоряжению Сталина он был умерщвлен на операционном столе.

После февраля 1956 года в советских упоминаниях о заседаниях Литературной комиссии или резолюции партии от 18 июня 1925 года имя Сталина стали вообще опускать. Так поступил, например, в своей статье Василий Иванов, который в своей ранее вышедшей книге превозносил Сталина по всякому малейшему поводу. Говоря о роли Фрунзе, советские критики называют его видным деятелем или представителем партии²⁰⁾.

Очевидно, что советские источники дают пристрастную и противоречивую информацию о резолюции Центрального Комитета и о роли Сталина и что полагаться на них нельзя. Исключение составляет незначительный фактический материал, содержащийся, например, в речи Сталина от 18 мая 1925 года. Из этой речи мож-

17) В. Иванов. «Из истории борьбы за высокую идейность советской литературы, 1917-1932», стр. 151-152, 153.

18) «Речь на заседании Литературной комиссии ЦК ВКП(б) 3 марта 1925 года». В. Полонский. «Очерки литературного движения революционной эпохи», стр. 277.

19) В. Иванов. «Из истории борьбы за высокую идейность советской литературы», стр. 91.

20) В. Перцов. «Маяковский», Москва, 1958 г., т. II, стр. 270. В. Иванов «О литературных группировках и течениях 20-х годов». «Знамя», 1958 г., № 5, стр. 208.

но заключить, что Сталин был определенным сторонником пролетарской культуры и литературы и что он добивался принятия резолюции от 18 июня 1925 года. Но утверждать, что он столь же действенно и преданно защищал пролетарскую культуру, как Бухарин, — нельзя.

Принятое под влиянием Бухарина и его сторонников решение партии не способствовало развитию дела «ленинского» лагеря критиков и политиков. Решение было поражением Воронского и помогло руководителям ВАПП в их борьбе за господство в советской литературе. Единственное, чего удалось добиться Воронскому и другим «ленинцам», было подтверждение некоторых их взглядов, уже ранее утвержденных совещанием при Отделе печати: резолюция от 18 июня 1925 года призывала к умеренному отношению к попутчикам, она осуждала напостовцев за их комчванство и сектантство, она отказывала какой-либо организации в праве говорить от имени партии.

Из-за отношения к попутчикам резолюцию обычно воспринимают как поражение напостовцев и как победу программы Воронского²¹). Такое толкование можно считать правильным лишь в том отношении, что попутчики не были отданы на милость напостовцам и получили хоть какую-то защиту от их оскорбительных нападок. Есть достаточно указаний на то, что попутчики, в том числе и правление Всероссийского союза писателей, организации, состоящей в основном из попутчиков, единодушно приветствовали партийное осуждение политики напостовцев по отношению к непролетарским писателям. Их удовлетворение ясно видно из ответов на вопросник, разосланный журналом «Журналист»²²).

Несмотря на это, мы имеем основания считать, что партийное решение не оправдало основных надежд попутчиков. Их отклик на партийное вмешательство в литературу колебался от приня-

21) Gleb Struve. „Soviet Russian Literature, 1917-50“, Norman, University of Oklahoma Press, 1951, стр. 84-85. По мнению американского профессора Брауна резолюция — двусторонний компромисс и допускает разные толкования. Edward J. Brown. „The Proletarian Episode in Russian Literature, 1928-1932“, New York Columbia University Press, 1953.

22) «Что говорят писатели о постановлении ЦК РКП». «Журналист», август-сентябрь, 1925 г., № 8/9, стр. 29-33; там же, октябрь 1925 г., № 10, стр. 7-13. Опубликованы высказывания организаций и писателей: Всероссийский Союз Писателей, А. Бельый, В. Вересаев, А. Соболев, Л. Леонов, И. Новиков, А. Новиков-Прибой, Ю. Лебединский, Г. Лелевич, Л. Авербах, В. Шкловский, Н. Чужак и др.

тия политического руководства (Леонов, Белый, Чужак) до открытого протеста или выражения неудовлетворения (Соболь, Новиков, Вересаев). В своих ответах Андрей Соболь и Иван Новиков отвергали всякую опеку и руководство, даже благожелательные, как несовместимые с творческой свободой²³). Эти ответы показывают, что некоторые попутчики были глубоко разочарованы в партийной резолюции. По свидетельству Мариэтты Шагинян, ряд писателей лелеял мечты о свободе печати²⁴). И бесспорно есть зерно истины в утверждении Авербаха, что только пролетарские писатели приняли резолюцию без оговорок.

Но проблема попутчиков была лишь одним из аспектов партийного решения. Исключительное значение для дальнейшего развития в области культуры имело решение спора Воронского с ВАПП, т. к. постановление Центрального Комитета означало, что Троцкий, Воронский и Яковлев проиграли сражение в этом важнейшем вопросе. Не только было признано существование пролетарской литературы, но ей, кроме того, была обещана непосредственная поддержка партии. Больше того, резолюция отвергала как «заслуживающую осуждения» позицию тех, кто недооценивал важность борьбы за идейную гегемонию пролетарских писателей». Центральный Комитет заявил: «Против капитулянтства, с одной стороны, и против комчванства, с другой, — таков должен быть лозунг партии»²⁵).

Троцкий, по-видимому, имел в виду эту цитату, когда он писал, что противники пролетарской культуры, одерживавшие верх до того времени, были внезапно названы в официальном постановлении «капитулянтами», руководимыми «неверием» в творческие силы пролетариата²⁶). В случае, если бы Троцкий ссылался на какое-либо другое официальное постановление, оно должно было быть принято в период между осенью 1924 года (когда Сталин впервые предложил приступить к построению социализма в одной

23) Там же, № 8/9, стр. 30-32. Борис Пастернак, не выступая прямо против резолюции, высказал, однако, несогласие с некоторыми ее основными положениями. Он считал, что в Советском Союзе наступил период «культурной реакции», а не «культурной революции». Там же, № 10, стр. 10.

24) См. Л. Авербах. «За пролетарскую литературу», Ленинград, 1925 г., стр. 18.

25) «О политике партии в области художественной литературы». «Правда» и «Известия» 1 июля 1925 г.

26) Leon Trotsky. „The Revolution Betrayed“, стр. 179.

стране) и 18 июня 1925 года. Во всяком случае, партийная резолюция о литературе — один из самых ранних и самый важный документ, свидетельствующий о конце «ленинской» политики в вопросах культуры.

Признание принципа идеологической гегемонии не могло не привести к созданию централизованного руководства пролетарской литературой. Такое руководство в форме правления ВАПП смогло утвердить себя даже в течение сравнительно либеральных 1926–1928 годов, когда литературная жизнь регулировалась партийным постановлением 1925 года и когда Бухарин еще находился у власти. Идеологическое давление пролетарских руководителей, конечно, препятствовало естественному развитию советской литературы, но, в первую очередь, оно пагубно отразилось на самой пролетарской литературе, которая подверглась в значительно большей степени мертвящему в своей уравнилельной тенденции влиянию «единой идеологии» группы «Октябрь» или «единого метода» РАПП*), чем творчество попутчиков, которым резолюция Центрального Комитета предоставляла хотя бы относительную свободу. Эта резолюция была также ударом по планам Воронского содействовать развитию новой литературы рабочих и крестьян, давая им возможность учиться писательскому ремеслу в первую очередь у признанных художников слова прошлого и у лучших попутчиков, а не у напостовских теоретиков.

Воронский отдавал себе отчет во вреде одностороннего идеологического давления. В своей докладной записке в Отдел агитации и пропаганды ЦК он писал об удушливой атмосфере в пролетарских литературных организациях и о стереотипных произведениях «красной иконописи». Он искал путей для плодотворного сотрудничества пролетарских писателей и попутчиков. Хотя имя Воронского обычно связывают с решительной защитой попутчиков, его главная забота касалась литературного творчества рабочих и крестьян. На литературном совещании при Отделе печати он заявил:

«Глубоко уверен в том, что у нас из рабоче-крестьянских низов, из рабочих, из различных других организаций, из университетов, из Красной армии идет новый писатель. Идет писатель из каких-то глухих углов, из провинции, — вот этот писатель кровью своей и своим бытом связан с рабочим и крестьянином — пока,

*) РАПП. Российская Ассоциация Пролетарских Писателей. — Р е д.

впрочем, больше с крестьянином. Что этот писатель безусловно займет главное место, что на него нужно ориентироваться и ему помогать, в этом у нас нет никаких разногласий с пролетарскими писателями»²⁷).

Надежды Воронского были разбиты резолюцией от 18 июня 1925 года. Это и явилось, пожалуй, главной причиной, по которой журнал «Красная новь» ее не опубликовал. Пока Воронский оставался главным редактором журнала, ее не только не комментировали в редакционных, но и не упоминали в других статьях. Правда, литературные периодические издания того времени обычно не печатали партийных постановлений по вопросам искусства, и июньская резолюция была опубликована лишь в некоторых ведущих журналах. Однако журнал «Красная новь», как правило, информировал своих читателей о литературной политике партии. Именно в нем появились резолюция совещания при Отделе печати и речь Бухарина на заседании Литературной комиссии Центрального Комитета.

Напостовцы заняли противоположную Воронскому позицию. Их журнал «Октябрь» немедленно опубликовал резолюцию от 18 июня 1925 года и неоднократно прославлял ее в своих передовых статьях. Напостовцы не переставали подчеркивать, что Центральный Комитет признал не только существование пролетарской литературы, но и ее право на господствующее положение, и осудил «капитулянтов» во главе с Троцким и Воронским.

Реакция Воронского на нападки напостовцев показала, что он начал быстро терять ведущее положение в литературной жизни. Он прервал полемику со своими антагонистами больше чем на год. По его собственному признанию, рот его «был полон камней», и он не откликнулся на их злостные выпады²⁸). Он стал меньше писать в «Красной нови», и за все время его «молчания» лишь одна его статья касалась непосредственно советской литературы. В ней он упрекал современных писателей в некультурности, в отсутствии героики и романтического энтузиазма, в идейной и эмоцио-

27) Речь Воронского. «Вопросы культуры при диктатуре пролетариата. Сборник», стр. 61-62.

28) «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна (О новонапостовских упражнениях)». «Красная новь», 1926 г., № 5, стр. 196. Заголовок статьи — русский перевод названия романа Герберта Уэллса „Mr. Britling Sees It Through“.

нальной пустоте, в неискренности и в том, что они погрязли в мелочах²⁹).

Когда, однако, Авербах инсинуировал, что Воронский изменил коммунизму, последний был вынужден нарушить молчание. Ответ Воронского не оставляет никаких сомнений в том, что его авторитет окончательно рухнул, что с ним окончательно перестали считаться. Ведь, только преследуемый, по существу обреченный, но не сдающийся человек мог в свою защиту сказать такие слова:

«Люблю жизнь, и трудно расставаться душе моей с телом. Но если суждено мне принять конец, то пусть он будет не от руки Авербаха. Не лестно мне умирать от него. Погибнуть на поле брани в лобовых атаках тяжело, но почетно, и — «есть упоение в бою», — но задохнуться от «литературных газов» Авербаха — да минет меня чаша сия»³⁰).

Возобновив борьбу со своими врагами, Воронский мужественно вел ее до конца. Есть разные версии последних лет его жизни, не всегда совпадающие в отдельных деталях и датах, но дающие в общих чертах достаточно ясное представление о его судьбе. По свидетельству живущего в эмиграции поэта Глеба Глинка, Воронский примкнул к оппозиции Троцкого и был сослан в 1927 году. В 1930 году он вернулся в Москву, был затем арестован и, по-видимому, умер в тюрьме в 1935 году. В 1958 году советский критик Иванов писал, что, хотя Воронский и находился под влиянием взглядов Троцкого на литературу, он «не был связан с троцкистским подпольем». В новом издании Малой Советской Энциклопедии указано, что Воронский был связан с 1925 по 1927 год с оппозицией Троцкого и что он умер в 1943 году. Эта дата, вероятно,

²⁹) А.Воронский. «О том, чего у нас нет». «Красная новь», декабрь, 1925 год, № 10, стр. 254-256.

³⁰) «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна», стр. 202-203. Эти слова обращены к наркному просвещению Луначарскому, непосредственному начальству Воронского. В некоторых нападках против Воронского выставлялось требование, что «воронский Карфаген» должен быть разрушен. См.: Л. Авербах. «Опять о Воронском», «Наши литературные разногласия». Ленинград, 1927 г., стр. 63-73.

правильна и заставляет предполагать, что он умер в заключении или вскоре после гипотетического освобождения³¹).

При поверхностном наблюдении может создаться впечатление, что резолюция Центрального Комитета встретила безграничное и всеобщее одобрение напостовцев. На самом деле она способствовала заострению существующих в их рядах разногласий и вызвала к жизни новые.

После I-й Всесоюзной конференции пролетарских писателей в январе 1925 года большинство напостовцев, включая Авербаха, Либединского и Фурманова, начало критиковать Лелевича и Родова за чрезмерное внимание к идеологии и пренебрежение к творческим проблемам литературы. К этому разногласию прибавились споры по организационным вопросам. Родов и Лелевич настаивали на применении организационной структуры партии по отношению к ВАПП, в то время как большинство требовало более гибкой формы организации, построенной по примеру профсоюзов³²). Раскол в «Октябре» углубился в июле 1925 года, когда часть группы создала Федерацию советских писателей и обратилась за ее официальным признанием в Отдел печати Центрального Комитета. Создатели Федерации стремились осуществить предусмотренное резолюцией ЦК от 18 июня 1925 г. объединение творческих сил на более широких основах для привития пролетарской идеологии крестьянским писателям и попутчикам. Лелевич, Вардин, Родов, Безыменский и другие радикальные вожди группы «Октябрь», напротив, боялись, что тесное общение с попутчиками приведет к вырождению пролетарской литературы. На такую опасность указывал также один из руководителей большинства — Авербах. Однако он пользовался более веской аргументацией, подкрепляя свое мнение известными словами Ленина, что 4.700 ответственных ком-

³¹) Подробнее о биографии Воронского см. в книге Глеба Глинки «На Перевале. Сборник произведений писателей группы «Перевал». Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1954 г., стр. 46-48; В. Иванов. «О литературных группировках и течениях 20-х годов». «Знамя», 1958 г., № 5, стр. 199; «Воронский А. К.» Малая Советская Энциклопедия, изд. 3-е, II, 1958 г., стр. 606.

³²) Л. Авербах. «Наши литературные разногласия», стр. 85-86; Ю. Либединский. «Генеральные задачи пролетарской литературы», Москва-Ленинград, 1931 г., стр. 7-9, (Сборник речей Ю. Либединского); Г. Лелевич. «Классовая борьба в литературе и воинствующий эклектизм». «Большевик» от 30 мая 1926 г., № 9/10, стр. 86-93.

мунистов в Москве оказались на поводу у буржуазии, потому что им нехватало культурности³³).

Раздираемая противоречиями группа «Октябрь» в конце концов распалась. Бесперывные разногласия в среде ее бывших членов стали предметом обсуждения чрезвычайной Всесоюзной конференции ВАПП в феврале 1926 года. Конференция обвинила Вардина, Родова и Лелевича в нарушении партийного постановления от 18 июня 1925 года, назвав их сектантами и паникерами, преувеличивающими буржуазное влияние на пролетарских писателей. Их литературной политике было приписано отражение идей левой партийной оппозиции. Все трое были смещены со своих постов и исключены из правления ВАПП. Контроль над ВАПП перешел в более энергичные и твердые руки «молодых» напостовцев во главе с Авербахом, Либединским, драматургом Владимиром Киришином, писателем и критиком Михаилом Лузгиным, критиком Владимиром Ермиловым и Фурмановым. Эта группа сыграла немалую роль в советской литературной жизни с 1926 по 1932 гг., прилагая значительные усилия к развитию своего творческого метода и к созданию теории пролетарской литературы.

Таким образом, резолюция от 18 июня 1925 года сразу сильно повлияла на литературную жизнь и имела далеко идущие последствия. Принимая резолюцию, партия должна была сделать выбор между умеренной литературной политикой, которую защищал Воронский, и радикальным путем, предложенным напостовцами. Категорического выбора партия не сделала, но дала отпор противникам пролетарской литературы. Исключением было решение о попутчиках, поскольку в этом вопросе взгляды Воронского и Бухарина совпали. На самом деле, принятая партией линия означала не только конец теоретических споров вокруг возможности существования пролетарской литературы. Она означала также отказ от умеренной политики в литературных вопросах, от концентрации внимания на художественных проблемах и внутренних ценностях литературных произведений. Воронский никогда не отказывался от своей конечной цели создать идеологически сплоченную коммунистическую литературу, но в силу своей терпимости и умеренности он жаждал большей творческой свободы, чем дал Центральный Комитет, пошедший путем апологетов пролетарской литературы.

Несмотря на то, что партия осудила чрезмерные требования

33) Л. Авербах. «За пролетарскую литературу», стр. 35.

напостовцев, она полностью согласилась с их целью создать пролетарскую литературу и тем самым приняла основу их программы. Став на эти позиции, партия стала гораздо быстрее внедрять идеологическое и художественное однообразие, чем это было бы возможным в случае, если бы установки Воронского были приняты. Так как никакое идеологическое однообразие, особенно в искусстве, не может быть достигнуто добровольным путем, внедрение пролетарского мировоззрения в литературе нельзя было проводить иначе, как приказами и принуждением. Учитывая это, Центральный Комитет создал партийное руководство литературой. Сторонники пролетарской литературы получили таким образом решительный перевес над своими противниками и усилили свою догматическую нетерпимость в теоретической литературной полемике, даже по отношению к таким лояльным и прокоммунистическим организациям, как Леф и «Перевал». Конечно, резолюция от 18 июня 1925 года признавала за лояльными группами право на развитие своих теорий, но если бы партия приняла программу Воронского, то марксисты и представители других литературных течений получили бы большую свободу творчества и возможность соревнования.

Партийная резолюция как будто и ограждала советскую литературу от яростных нападков напостовцев, но в то же время она подготовила такое ее закрепощение, которое Бухарин не мог ни предвидеть, ни желать. Вряд ли было случайностью, что как раз напостовцы, которые издавна вели борьбу за признание их толкования пролетарской литературы единственно правильным, стали во главе той пролетарской группы, которая в 1929–31 гг. добилась подавления других литературных течений.

Пролетарская литература не заняла того господствующего положения, которое ей предсказывали напостовцы. Немало писателей пыталось изображать мир с определенных идеологических позиций, однако, лишь немногие среди них, главным образом, прозаики непролетарского происхождения, достигли художественного уровня писателей-попутчиков. В поэзии пролетарская литература, особенно после распада «Кузницы», не дала ничего, что могло бы выдержать, хотя бы отдаленно, сравнение с творчеством Бориса Пастернака, Владимира Маяковского, Николая Тихонова или Ильи Сельвинского, называя лишь некоторых из ярких представителей непролетарских групп.

Указом от 23 апреля 1932 года партия распустила все пролетарские литературные организации.

Конечно, нельзя винить Бухарина в том, что дело приняло такой оборот, но нельзя и не видеть иронии судьбы в том, что резолюция, вдохновителем которой он был семью годами раньше, положила начало не оправдавшему себя и нереальному эксперименту, который не принес славы ни русскому пролетариату, ни русской литературе.

Soviet Literary Theories. 1917-1934. The Genesis of Socialist Realism by Herman Ermolaev. University of California Press Berkeley and Los Angeles. 1963.

Хирургия «Хулио Хуренито»

В конце 1962 года вышел в свет первый том нового, девяти-томного собрания сочинений Ильи Эренбурга. Предыдущее собрание его сочинений составило пять томов. Закончено оно было в 1954 году, до «оттепели». Пятитомник не содержал ряда довоенных произведений Эренбурга, которые принесли ему славу. Нет в нем ни «Хулио Хуренито», ни «Треста Д. Е.», ни, разумеется, «Жизни и гибели Николая Курбова», в которой, по уверению Л. Ильичева, автор вложил «в уста Курбова слова, чернящие нашу революцию, ее героев»^{*}). Еще менее было возможным опубликование в Советском Союзе повести «Бурная жизнь Лазика Ройтшванца», которая впервые вышла в 1928 году в Берлине, и в которой, как отмечал тот же Ильичев, предвзято обрисована советская действительность того времени.

Из раннего творчества Эренбурга в этот пятитомник попали три новеллы из «Тринадцати трубок». Крупные произведения представлены в нем повестями «День второй» (1932-33 г.) и «Не переводя дыхания» (1933-34 г.), помещенными в четвертом томе. Произведения были написаны вскоре после возвращения Эренбурга в Советский Союз и в такой короткий срок, что среди советских литераторов была пущена эпиграмма, кажется, Безыменским, что, «не переводя дыхания, на день второй знакомства со страной, он написал роман свой — «День второй».

Кроме того, в это издание, комплектовавшееся в последние годы жизни Сталина, когда бурно расцветала борьба с «космопо-

^{*}). См. речь секретаря ЦК КПСС и председателя Идеологической комиссии ЦК Л. Ф. Ильичева на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства 7 марта 1963 года; «Литературная газета» от 9.3.63.

литизмом» и «низкопоклонством перед Западом», вошли весьма созвучные эпохе антизападнические очерки Эренбурга двадцатых-тридцатых годов и его романы «Падение Парижа» (том первый), «Буря» (том второй) и «Девятый вал» (том третий).

При всем анархическом антизападничестве романов «Хулио Хуренито» и «Трест Д. Е.», эти произведения оказались все-таки несозвучными той эпохе красного советского патриотизма: коммунизм и ранние шаги советской власти были описаны с присущим Эренбургу сарказмом. Его стрелы били в цель. Многое, осмеянное в раннем коммунизме, продолжало жить и в послевоенные годы.

На фоне той острой критики, которой подвергся Эренбург со стороны Хрущева и Ильичева на мартовском совещании за свои мемуары «Люди, годы, жизнь», в которых к тому же ясно были выражены его эстетические позиции, особенно примечательно появление первого тома нового издания собрания сочинений с «Хулио Хуренито» и «Трестом Д. Е.»

«Хулио Хуренито» впервые вышел в свет в начале 1922 года в берлинском издательстве «Геликон». В том же году роман был выпущен Госиздатом в Москве. Переиздавался в Советском Союзе он трижды — в 1923, 1927 и 1928 годах. За границей роман публиковался на русском языке, по-видимому, не раз (например, «Хулио Хуренито», изданный «Петрополисом» в Берлине).

Это произведение было написано в течение двух месяцев в La Panne. В новом издании 1962 года Илья Эренбург сохранил старое предисловие и поместил новое. Автор пишет, что он любит «Хулио Хуренито»: не только как свою первую книгу, но и потому, что «эта книга, при множестве недостатков, написана мною, мною пережита, это действительно моя книга... от которой я не отказываюсь...» (стр. 5). Он удостоверяет, что и в 1960 году подписывается под теми мыслями, которые высказывались им ранее в этом произведении. По его мнению, он «клеил всяческий расизм и национализм, обличал войну, жестокость, жадность и лицемерие тех людей, которые ее начали и которые не хотят отказаться от войн, ханжество духовенства, благословляющего оружие, ... пацифистов, обсуждающих «гуманные способы истребления человечества», лжесоциалистов, оправдывающих ужасное кровопролитие».

Но в этом же предисловии он ни словом не обмолвился о том, что свой скептицизм по отношению к коммунизму благообразно припрятал. Насмешка и скептицизм — это дело Хулио Хуренито

и его учеников. Им он позволяет говорить свободно, не приспосабливаясь к эпохе.

Хулио Хуренито, например, в двадцатых годах издевался над кинешемскими большевиками, которые открыли в городишке «восемнадцать театров, причем играли все: члены исполкома, чекисты, заведующие статистическими отделами, учащиеся первой ступени единой школы, милиционеры, заключенные «контрреволюционеры» и даже профессиональные артисты» (стр. 176).

Эренбург, например, осмеивает арест и приговор Хулио Хуренито в ВЧК к расстрелу, так как приговорить к бессмертию не в их власти (стр. 177).

Вместе с Хулио Хуренито Илья Эренбург в те годы соглашался, что большевики — «величайшие освободители человечества», т. к. они несут «ему прекрасное иго, не золоченое, но железное, солидное и организованное» (стр. 179).

Эренбург не пошел по следам тех, к сожалению, многих советских писателей, которые перелицовывали свои старые произведения, чтобы сделать их более «созвучными» новой эпохе, как, например, это проделал над своим романом «Вор» Леонид Леонов. Я сравниваю текст нынешнего издания с текстом Хулио Хуренито в выпуске «Петрополиса». Все оставлено на месте. Никаких ремарок, никаких подчисток текста, никаких купюр, кроме одной: *вырезана вся двадцать седьмая глава старого издания — «Великий Инквизитор» вне легенды*.

В чем же дело? Она не более крамольна, чем многие другие. Советский строй осуждается и осмеивается в ней даже меньше, чем в других. Эта глава не выпадает из стиля всего произведения, она и не слабее, чем другие главы. И все же Эренбург посчитал необходимым избавиться от нее.

Советский читатель вряд ли имеет под рукой старое издание Хулио Хуренито, да и за границей оно стало библиографической редкостью. Поэтому я разрешу себе несколько подробнее остановиться на этой главе, подвергшейся «хирургическому» удалению из ткани произведения.

Глава начинается следующим абзацем:

«В скудные томительные дни, изрядно голодая, замерзая, обмотанный вязаным шарфом поверх головы, начал я не думать, но раздумывать, то есть стараться обойти мир и самого себя со всех сторон.

...Я день и ночь раздумывал — просто и в стихах (причем стихи даже озаглавил «Московские раздумья»). Я боялся быть андер-

сеновским дураком и заметить, что король гол, ибо одни набожные взгляды миллионов давно соткали бы пышные облачения, ежели их даже по природе не полагалось бы».

Илья Эренбург (в качестве действующего лица своего произведения и под собственной фамилией) делится своими сомнениями с Хуренито, и тот предлагает посетить «капитанский мостик» и побеседовать «с неким, на оном стоящим».

Эренбург описывает страх, который он испытывал, шагая «по пустынному завьюженному Кремлю к капитану»:

«Не то чтоб я верил очаровательным легендам досужих жен бывших товарищей прокуроров, кои изображали большевистских главарей чем-то средним между Джеком-Потрошителем и апокалиптической саранчей. Нет, я просто боялся людей, которые что-то могут сделать не только с собой, но и с другими. Этот страх перед властью я испытывал всегда, даже мальчиком, тщательно обходя добряка-городового, дремавшего в башлыке на углу Пречистенки. В последние же годы, увидав ряд своих приятелей, собутыльников, однокашников — в роли министров, комиссаров и прочих «могущих», я понял, что страх мой вызывается не лицами, но чем-то посторонним, точнее: шапкой Мономаха, портфелем, крохотным мандатиком. *Кто его знает, что он, собственно, захочет, во всяком случае (это уж безусловно), захотев — сможет*» (выделено мною — А. П.).

Последние слова звучат пророчески, но отнести их можно только ко времени сталинщины, и поэтому можно было и сохранить в новом издании.

Далее Эренбург пишет, что из-за страха он запрятался в углу кабинета за тумбой с бюстом Энгельса, и Хулио вел беседу без него. О себе же Эренбург пишет:

«Я не боялся ни пушек, ни пулеметов, ни Шмидта, ни сородичей Айши (герои произведения. — А. П.) и вдруг испугался добродушного дяди, который пять лет тому назад был в Париже моим соседом и пил «боки» в излюбленном мною кафе... И все же я не мог преодолеть страха».

Как будто вопрос идет не об историческом лице, хотя оно представлено в качестве лично знакомого автору партийного вождя масштаба Каменева, Зиновьева или Бухарина. Может быть, Эренбург испугался, что в собеседнике Хуренито узнают самого Ленина? Правдоподобность этого предположения не исключена.

Вот, например, отрывок из беседы Хуренито с вождем:

«Что вы думаете о бездеятельности, — начал Хуренито, — о разгильдяйстве и дикой расточительности сил, царящих в Совет-

ской республике? У нас на очереди посевная кампания, Донбасс, продажит, наконец, электрификация. А на что идут силы? Поэты пишут стихи о мюридах и о черепахах Эпира, художники рисуют бороды и полоскательницы, филологи ковыряют свои корни, математики в этом от них не отстают. В театре — мистерии Клоделя*). Почему не закрыты все театры, не упразднена поэзия, философия и прочее лодырничество?..

— Обо всем этом, — ответил миролюбиво коммунист, — поговорите лучше с Анатолием Васильевичем (Луначарским — А. П.). Искусство — его слабость, я же в нем ничего не смыслю и перечисленными вами ремеслами не интересуюсь. Мне кажется гораздо более занимательным писать декреты о национализации мелкого скота, пробуждающие от сна миллионы, чем читать стихи Пушкина, от которых я сам честно засыпаю. Я с детских лет ничего не читал и не читаю, кроме работ по моей специальности. Я не гляжу на картины, мне интереснее смотреть на диаграммы. Я никогда не ходил в театр, вот только в прошлом году пришлось «по долгу службы» с «гостями республики», и это было еще снотворнее гимназического Пушкина. Чтобы перейти к коммунизму, нужно сосредоточить все силы, все помыслы, всю волю, всю жизнь на одном — на экономике. Засеянная десятина, построенный паровоз, партия мануфактуры — вот путь к нему, а следовательно, и цель нашей жизни. Оставьте санскритские словеса, любовные охи, постройки новых или ремонт старых богов, картины, стихи, трагедии и прочее. Лучше сделайте одну косу, доставьте один фунт хлеба!»

В дальнейшем разговор коснулся отношения партии к инакомыслящим, к левым эсерам, идеалистам, к миллионам людей, «которые до сих пор верят не в торжество коммунизма, а хотя бы в целительные способности святителя Пантелеймона?»

Вождь ответил, что подобные люди, «конечно, ошибаются, одни из них глупцы, другие предатели». «Первых мы просветим, научим, вторых, — сказал он, — устраним... Мы должны их устранять, убивая одного для спасения тысячи».

Сегодня разговор сорокалетней давности, приведенный в двадцать седьмой главе, кажется слегка наивным, а мысли вождя слишком утилитарно-примитивными, а поэтому и оскорбительными для нынешних его преемников, которые берутся поучать лите-

*) В 1921 году Камерный театр поставил драму писателя-католика Клоделя «Благовещение».

раторов, наставлять художников и выражать художественное кредо эпохи и партии. Конечно, сегодня им не следует напоминать об их вчерашней неграмотности, чтобы не выделялась сегодняшняя безграмотность. Но сорок лет назад Эренбург не очень верил в благость Октябрьской революции, — Хулио Хуренито явно свидетельствует об этом. Для критиков же Эренбурга, видящих в произведении «клевету на революцию», исключенная глава была бы наиболее «цитатной».

Конечно, художник вправе производить хирургические операции над своим произведением, но он должен считаться с тем, что для читателя всегда будет привлекательным ознакомление с допущенными купюрами, особенно, если он знает, что отнюдь не требовательность художника водила ножницами. А для критиков и литературоведов изъятое — лишнее биографическое свидетельство.

Б. П. Вышеславцев

(1877 - 1954)

Борис Петрович Вышеславцев был одной из самых ярких звезд в той плеяде русских религиозных философов, которые явились творцами или последователями религиозно-философского Ренессанса начала XX века. В этой плеяде были мыслители, превосходившие Вышеславцева по глубине своей мысли. Мы имеем в виду Лосского, Франка, Бердяева, отца Павла Флоренского, отца Сергия Булгакова. Но ведь тот факт, что Пушкин и Лермонтов были гениальнее, скажем, Баратынского, отнюдь не умаляет достоинств поэзии последнего. Уступая некоторым представителям русской мысли XX века в степени первозданности философских даров, Вышеславцев обладал тем не менее глубоко своеобразным талантом, и его мысль сверкала индивидуальным, ему одному присущим блеском.

Читая Вышеславцева, испытываешь ту чистую радость диалектического развития мысли, которая составляет одно из главных достоинств и очарований его стиля мышления. Вышеславцев был врожденным диалектиком, разумеется, в платоновско-гегелевском, а не в марксистском смысле этого слова. Помимо того нужно добавить, что Вышеславцев не достиг той степени славы, которую он заслуживал, в силу ряда внешних причин. Его первая серьезная философская работа «Этика Фихте» появилась лишь в 1914 году. Изданные же им в эмиграции главные его труды, особенно «Этика преображенного Эроса», не были, к сожалению, переведены на иностранные языки. Кроме того, будучи блестящим лектором и по натуре несколько эпикурейцем, он предпочитал более блистать в лекционных залах и в беседах, чем упорно трудиться над новыми произведениями.

Если количество книг Лосского и Бердяева исчисляется де-

сятками, то Вышеславцев опубликовал всего шесть основных трудов, из них три в самые последние годы своей жизни.

Тем не менее все написанное им полно значительности. Глубина и стройность мысли сочеталась в нем с даром увлекательного в литературном отношении изложения. Он сумел вложить свое естество в книги, чтение которых не только утоляет философскую жажду истины, но и доставляет высокое художественное наслаждение.

Общий облик Вышеславцева хорошо обрисован в книге Федора Степуна «Прошлое и непреходящее»:

«Одним из наиболее блестящих ораторов среди московских философов был Борис Петрович Вышеславцев, в то время приват-доцент Московского университета.

Юрист и философ по образованию, тонкий эпикуреец в мирском и духовном смысле, и ультраевропеец, какие бывали только в России, Борис Петрович развивал свои идеи с такой творческой радостью их собственной жизни, с таким любовным вхождением в детали, которые свойственны скорее европейскому, чем русскому духу. Всегда элегантно одетый, он растил свои идеи, словно диалектические цветы, перед глазами аудитории, срывая с них лепесток за лепестком, тезис за антитезисом, от времени до времени прерывая ход мысли одушевленными призывами: «пожалуйста, оцените это, поймите это...» Широкая московская общественность не оценивала Вышеславцева по заслугам. Правда, она стремилась к истине и была готова выслушать проповедь и обвинение, но она мало разбиралась в платоновском диалектическом искусстве, в духе которого воспитал себя Вышеславцев. В большой московской общественности были знатоки в самых разнообразных областях культуры, начиная от Апокалипсиса и кончая балетом, но лишь очень немногие были любителями серьезной академической философии, что объяснялось сравнительно невысоким уровнем русской философии того времени...»

Борис Петрович Вышеславцев родился в 1877 году в Москве. Там же учился и в 1902 году кончил с отличием юридический факультет Московского университета. Однако карьера юриста оказалась слишком узкой для универсального круга его интересов. Его и в праве более всего увлекала философия права. Поэтому вскоре Вышеславцев отправился в Германию, в Марбург, где он слушал лекции по философии знаменитых в то время неокантианцев — Когена и Наторпа. Неокантианцем он не стал, но влияние немецкой философии чувствуется в его трудах.

По возвращении в Россию Вышеславцев принял деятельное участие в культурной жизни Москвы, и в литературных салонах и философских кружках его хорошо знали. В то же время он подготавливал свою докторскую диссертацию «Этика Фихте», которая появилась в 1914 году и создала Вышеславцеву солидную репутацию в философских кругах.

Эмигрировав из России в 1922 году, Вышеславцев стал вскоре одним из деятелей YMCA* и ближайшим сотрудником Бердяева по журналу «Путь». Он принимал участие в Русском Студенческом Христианском Движении. В этот период (20-ые и 30-ые годы) он создал свои лучшие труды и нередко разъезжал с лекционными турне по странам, где имелись крупные колонии русской эмиграции. Во время Второй мировой войны Вышеславцев переехал в Германию, где принял участие в антикоммунистических сборниках. После войны он удалился в Швейцарию. За время пребывания в Женеве, где он и скончался, Вышеславцев написал еще два крупных труда. Умер он в 1954 году от старческого туберкулеза.

Уже в первом своем серьезном труде, «Этика Фихте», Вышеславцев обнаружил качества, характерные для его творческого стиля: редкое умение излагать идеи интересующих его мыслителей и, главное, давать к ним творческие комментарии. Вышеславцев в совершенстве владеет искусством подхватывать вдохновившую его мысль, ассимилируя и развивая ее глубоко по-своему.

Проникнувшись в студенческие годы в Марбурге духом немецкого идеализма, Вышеславцев блестяще продемонстрировал свое углубленное понимание немецкой идеалистической философии на анализе системы Фихте. В своей книге Вышеславцев дает оригинальную интерпретацию системы этого основоположника немецкого метафизического идеализма. Он подчеркивает моменты «трансцендентального иррационализма» в системе этого, казалось бы, в высшей степени рационального мыслителя. Вышеславцев убедительно показывает, что понятие «трансцендентального», введенное Кантом, получив свое дальнейшее развитие у Фихте, приобрело значение Абсолюта, к которому становятся непримеримыми рациональные категории.

На примере подобного толкования Фихте Вышеславцев строит свою «трансцендентальную метафизику». Он пишет: «Тема

*) YMCA — Young Men Christian Association.

метафизики, — вся таинственная запредельность, развертывающаяся в интуиции». Ценность же интуиции, поясняет он, обозначает, что «Абсолютное не дано в Понятии».

Далее, Вышеславцев мастерски разбирает антиномии системы и бесконечности, рациональности и иррациональности. Разрешение этих антиномий он видит в понятии «актуальной бесконечности», введенном Кантором. Но это разрешение антиномий достигается, по Вышеславцеву, ценой преодоления рационализма, присущего Фихте и Гегелю.

На этом метафизическом базисе он строит этику, хотя и исходящую от Фихте, но выходящую далеко за пределы идеалистической философии. Вышеславцев повторяет фихтевскую формулу категорического императива — «Поступай всегда так, чтобы ты мог повторить свой поступок в любой момент вечности». Этим подчеркивается этическая значимость нашего поведения, в силу которой в нашем поведении мы обнаруживаем подлинную суть нашей личности перед лицом Вечности. Но бесконечность этического стремления, остающаяся у Фихте незавершенной, находит у Вышеславцева свое завершение в понятии «бесконечно актуальной ценности», присущей каждому нашему волеию и поступку. Каждый человек есть как бы «монада Абсолютного», он — абсолютно подобен. Поэтому человек может даже в пределах своей кратковременной земной жизни выполнять свое индивидуальное предназначение. Во введении понятия «индивидуального долженствования», намеченного Фихте, но не развитого им, заключается одна из заслуг этики Вышеславцева, которую он развил на анализе философского творчества Фихте.

Гораздо более ярко и развернуто выразил Вышеславцев свое этическое мировоззрение в следующем большом — и основном — своем труде, вышедшем в 1934 году — в «Этике преображенного Эроса».

В этой книге, создавшей ему большое имя и написанной с литературным блеском, Вышеславцев развивает свои главные этические идеи. Основная тема, вдохновившая его философскую музу, далеко не нова; она основана на противопоставлении этики закона этике благодати (невольно вспоминается при этом «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона).

Но главная ценность книги автора заключается в том, что он развивает эту традиционную тему в высшей степени оригинально, используя при этом как открытия современного психоанализа, так и «последнее слово» современной этической фило-

софии — идеи немецких мыслителей Макса Шелера и Николая Гартмана.

Вышеславцев начинает свою книгу «роковым» вопросом этики: почему моральный закон, основанный на запретах и «табу» (не убий, не укради и т. п.), несмотря на освященность его такими авторитетами как Моисей и Кант, оказывается столь часто бессильным перед лицом эмоций, страстей и злой воли?

Отнюдь не отрицая прагматически-моральной полезности категорических императивов и запретов, без которых человек предавался бы необузданно злым страстям и похотям, Вышеславцев справедливо указывает на то, что эти запреты пробуждают дух иррационального сопротивления подсознания велениям этического разума. «Пришел закон, и умножился грех» — не устает он цитировать замечательное наблюдение апостола Павла.

В противоположность этике закона Вышеславцев выдвигает этику благодати, основанную на любви к Богу и ближним. Благодать, озаряющая осененного ею, не создает напряженности. Она освобождает от нее человека. В этике благодати иррациональные силы подсознания не противодействуют этическим запретам, и сами запреты исчезают, — они заменяются благодатной динамикой духа. Злые подсознательные силы здесь не подавляются, а «сублимируются» в едином этическом порыве «вдохновения Добра».

В высшей степени оригинально Вышеславцев истолковывает в этой связи открытия современного психоанализа. Отдавая дань страшным открытиям Фрейда и его школы, Вышеславцев становится, однако, на позицию противника Фрейда — Юнга, психолога, освободившего первоначальный фрейдизм от «профанационного комплекса», — стремления свести все «прекрасное и высокое» к полуфиктивным надстройкам над базисом иррациональных влечений, в котором он не устает обвинять фрейдизм. С точки зрения Юнга и Вышеславцева, высшие ценности человеческого духа, а также одухотворенная индивидуальная любовь являются не «надстройками», а реальным преображением первично иррациональных влечений. В сублимации иррациональные влечения одухотворяются и просветляются, безмерно повышаясь по ценности, несмотря на свой безличный корень.

В преодолении материализма, присущего фрейдизму, — одна из больших философских заслуг Юнга; и Вышеславцев следует в этом отношении за швейцарским психологом. Но он от-

нюдь не является только учеником Юнга, а философом, подвергающим умозрительному осмыслению взгляды Юнга.

Особое внимание уделяет Вышеславцев «закону иррационального противоборства», открытому нансийской школой психологии (Куэ, Бодуэн), — тому стихийному «не хочу», которое пробуждает в нас отрицательный моральный запрет. В силу этого противоборства подсознания прямая атака разума против сил подсознания не приводит к цели: если иррациональные влечения и удастся при этом «подавить», то ценой обострения внутренней напряженности. Мало того, будучи загнаны в подполье, иррациональные силы рано или поздно отомстят за свое подавление — прорвут плотину цензуры сознания и выразят себя или в остром неврозе или в аморальном поступке. Темные силы подсознания можно победить, но лишь идя обходным путем. Здесь Вышеславцев ссылается на положение нансийской школы, согласно которому всякое внушение есть самовнушение. Подсознание можно «преобразить» путем концентрации духа на возвышенных образах, то есть путем благодатной фантазии. Одно волевое усилие здесь недостаточно. Необходимо привести себя в, так сказать, медиумическое состояние, с тем, чтобы наш дух стал проводником всего «прекрасного и высокого». Вышеславцев устанавливает при этом положение: в конфликте между моральным запретом и воображением побеждает в конце концов воображение. Но без облагораживающего и просветляющего воздействия духа подсознание легко может стать «злым», — садистическим или мазохистическим. Для понимания глубинной природы закона иррационального противоборства, продолжает Вышеславцев, необходимо взглянуть в его корень глубже, чем это делали даже самые просвещенные психологи. Здесь необходима помощь глубинной философии.

Вышеславцев различает далее два основных вида этого противоборства: сопротивление плоти и сопротивление духа. Что касается сопротивления плоти, проблема здесь не является слишком сложной. Об этом сопротивлении хорошо знали подвижники («плоть немощна, а дух превозмогает»). Сопротивление плоти может быть истолковано как слабость человеческой природы, уступающей чувственным соблазнам. Сложнее обстоит дело с сопротивлением духа. Это духовное сопротивление коренится в свободе воли, которая в последней глубине иррациональна. Свобода — именно потому, что она есть «возможность всего» — легко вырождается в произвол, слепое самоутверждение. Но сво-

бода есть прежде всего духовное качество. И поэтому Вышеславцев с полным правом приписывает иррациональному сопротивлению свободы духовное значение. В этом смысле он говорит о соблазнах духа, проявляющихся в гордыне человеческого «я»; например, преступление Раскольникова, убившего старуху «из принципа», преступления Ставрогина, разложившего свое «я», — проистекали вовсе не из слабости плоти, а из духовной гордыни. По отношению к подобным высокоразвитым, но духовно извращенным людям Вышеславцев и говорит о необходимости «второй сублимации» — «сублимации свободы».

Для правильной постановки вопроса о сублимации свободы он обращается к последнему в то время слову в области моральной философии — к этике Шелера и Гартмана. Эти философы разработали этические системы, согласно которым существует объективно значимая, но субъективно то и дело нарушаемая «иерархия ценностей».

Согласно взглядам Шелера и Гартмана, строение мира ценностей таково, что низшие ценности в большей степени обладают принудительной силой по отношению к человеческой воле, в то время как высшие ценности духа требуют морального усилия для их осуществления. Иначе говоря, сила ценностей обратно пропорциональна их высоте.

Для реализации высших ценностей духа необходимы два основных условия: усмотрение высоты ценностей и наличие реальной воли к ее осуществлению. Ибо, говоря словами Вышеславцева, «идеальная иерархия ценностей не может ничего реально детерминировать. Со своей стороны, реальная воля не может ничего идеально детерминировать (т. е. делать по своему произволу добро — злом, а зло — добром). Только совмещение усмотрения идеальной иерархии ценностей и реальной благой воли может гарантировать осуществление положительных ценностей в бытии.

Для несублимированной воли, развивает далее свою мысль Вышеславцев, закон обратного соотношения между силой и высотой ценностей сохраняет свою силу. Но для сублимированной, то есть проникшейся духом служения воли этот закон отменяется: высшие ценности становятся для сублимированной воли онтологически сильнейшими. Притяжение же более сильных по своей природе низших ценностей теряет свою былую силу, приобретает подчиненное и в случаях святости нулевое значение.

Подводя итоги своим построениям, Вышеславцев говорит, что

процесс сублимации соответствует тому, что христианская мистика говорит о преображении человека, об его обожении. В этом смысле Вышеславцев говорит далее о «новой этике» и о «преодолении морализма в этике». «Истинно благодатная этика, добавляет он, есть та, которая способна преображать и сублимировать».

Главным органом этого «преображения Эроса» Вышеславцев считает, как мы уже указывали, воображение, конечно, благое, а не злое. В пределе творческое воображение подготавливает почву для благодати.

Но этого мало. Сублимация как возвышение души предполагает, по Вышеславцеву, существование Возвышенного. В противном случае сублимация была бы лишь субъективным утончением души, а не имела бы онтологического смысла. Иначе говоря, объективное бытие мира ценностей является условием возможности подлинной сублимации. Но так как иерархия ценностей находит свое завершение в Боге и Его Царстве, то Вышеславцев обосновывает свою этику религиозно.

Идя по этому пути, он устанавливает «аксиому зависимости» человеческой личности от Господа Бога. Человеческое «я», возвышаясь в порядке сублимации над миром, «предстоит Абсолютному».

В этом и заключается сущность «трансценденции» — выхода к Запредельному, когда человеческое «я», выходя из пределов «мира», чувствует себя абсолютно одиноким, если оно сквозь тьму, отделяющую тварь от Творца, не увидит свет, исходящий от Божества. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».

Полемизируя с Гейдеггером, разработавшим с глубиной учение о трансценденции, Вышеславцев утверждает, что трансценденция ставит человека лицом к лицу не с Ничто (это лишь диалектически предварительная стадия), а с самим Абсолютом.

Аксиома зависимости и есть усмотрение человеком своей тварности перед лицом Господа Бога. Но эта зависимость парадоксальным образом ведет к свободе. Ибо зависимость от Творца, замечает Вышеславцев, подчеркивает свободу человека от сил Космоса и от самого себя. «Если бы не было никакой зависимости от «другого», пишет Вышеславцев, это означало бы нашу закованность в нас самих, нашу пойманность в заколдованном кругу самосознания, иначе говоря — невозможность свободного трансa, свободного выхода в свободный простор Абсолютного... что и есть свободная зависимость».

Таков в общих чертах основной замысел замечательной кни-

ги Вышеславцева «Этика преображенного Эроса». Нужно заметить, что книга эта, значительная и многоговорящая по замыслу, написана с литературным блеском. Автор дает ряд ярких, лаконичных и запоминающихся формулировок своих главных идей. Жаль, что эта замечательная книга до сих пор не переведена на иностранные языки.

В небольшой книжке, написанной до «Этики преображенного Эроса», и носящей название «Сердце и его значение в христианской и индусской мистике», Вышеславцев ставит вопрос об «эмоциональном средоточии» духа, под которым он понимает «сердце». Подхватывая мысль Паскаля о том, что «сердце знает свои доводы, к которым слеп рассудок», Вышеславцев убедительно показывает, что разум сам по себе слеп к миру ценностей, что ценности раскрываются в эмоциях. Эмоции суть органы познания ценностей, суть «бессознательные суждения о ценности» — пишет он.

Сердце, продолжает он, нельзя понимать ни в грубо материалистическом смысле, ни в узко духовном значении, ибо эмоции с их средоточием — сердцем — ни односторонне физиологичны, ни односторонне духовны. Эмоции психофизичны, но то, что связывает тело с душой, и есть дух, понятый в его конкретности. Если в низших эмоциях — в злобе, например, — раскрываются отрицательные ценности, то высшие ценности (святости) раскрываются в «духовных эмоциях».

Далее Вышеславцев проводит интересное сравнение между христианской и индусской мистикой: индусская мистика духовна, но безлична, она стремится отрешиться от эмоций. Только при таком отрешении мудрец познает, что Атман (душа) и Брами (Божество) в своей предельной глубине тождественны. Тогда мудрец достигает высшего покоя, в пределе — Нирваны, в которой погашается все индивидуальное.

В противоположность этому, христианская мистика призывает не к погашению индивидуальности, не к растворению в безличном Божестве, а к вхождению данной индивидуальности в Царство Божие. Христианство учит о бесконечной ценности каждой личности, призывает к очищению и возвышению личности, а не к ее уничтожению.

Эта небольшая работа Вышеславцева в высшей степени ценна по своему богатому содержанию. Часть мыслей, изложенных в этой книге, была впоследствии использована автором в его «Этике преображенного Эроса».

После Второй мировой войны в печати появились еще два труда Вышеславцева: «Философская нищета марксизма»*) и «Кризис индустриальной культуры».**)

«Философская нищета марксизма» представляет собой критический разбор и опровержение двух китов коммунистической философии — диалектического и исторического материализма.

Можно сказать, что после беспощадной критики Вышеславцева теоретических положений марксизма от диамата и от истмата не остается камня на камне — если разуместь под этими учениями ту догматическую советскую официальную редакцию, под которой эти учения получили столь широкую известность.

В качестве «мотто» своего труда Вышеславцев взял цитату, представляющую собой перефразировку Пушкина: «Диалектика и материализм — две вещи несовместные».

На протяжении всей своей книги Вышеславцев последовательно и искусно проводит эту мысль. Истинная диалектика, говорит он, ведет свое начало от Платона и Гегеля, и она тесно связана с идеалистической философией, ее породившей. Диалектика есть раскрытие истины через противоречия. Как таковая она предполагает интеллектуальное усилие мыслящего духа, и только по отношению к духу можно всерьез говорить о «диалектике». Говорить о «диалектике природы» можно лишь по аналогии с диалектикой мыслящего духа.

Констатируя, что с диаматом у философии может быть «общий язык» — диалектика, Вышеславцев далее подвергает критике абсолютизацию противоречий в диалектическом и историческом материализме. Марксистские диалектики, говорит он, любят ссылаться на Гераклита с его афоризмом, что «война есть отец всех вещей», оправдывая этим ту абсолютизацию противоречий, в которой был отчасти повинен и сам Гегель и которая была доведена до абсурда Лениным.

Но тот же Гераклит, замечает Вышеславцев, добавлял, что «гармония есть мать всех вещей». То есть, если бы противоречия оставались неразрешенными, то они «пожирали» бы друг друга, и в мире воцарился бы хаос. Тезис и антитезис по своей природе стремятся к жизнепитающему синтезу.

Таким образом, продолжает Вышеславцев, абсолютизируя

*) Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1952 г. — первое издание. Второе — в 1957.

***) Изд-во им. Чехова, Нью-Йорк, 1953.

противоречия, диамат ведет к торжеству Абсурда, несмотря на весь свой рекламный рационализм. Ясно, что абсолютизация противоречий в диамате объясняется отнюдь не философскими, а политическими мотивами, как философское оправдание большевистской «беспощадности и непримиримости», как оправдание классовой борьбы.

В искажении советскими философами подлинной диалектики, равно как в несовместимости диалектики с материализмом, заключаются главные первородные грехи диамата. Казенная же обязательность диамата как единственного «правильного» мировоззрения привела на практике к диктатуре мировоззрения, притом мировоззрения ложного.

Все эти и иные аргументы против диамата и истмата поданы Вышеславцевым с философской убедительностью, со страстностью полемика и блеском литературного изложения. В своей книге автор наглядно демонстрирует «философскую нищету марксизма». Эта книга Вышеславцева представляет собой лучшее, пожалуй, критическое опровержение теоретических основ марксизма-ленинизма.

Последняя написанная Вышеславцевым книга «Кризис индустриальной культуры» посвящена социальной философии. Следуя за такими критиками культуры, как Шпенглер, Тойнби, Ортега и Гассет, но глубоко по-своему, Вышеславцев подвергает анализу дух нашей эпохи, которую он характеризует как «индустриальную культуру».

Основная мысль Вышеславцева может быть выражена в следующей формуле: современная массово-индустриальная культура привела к механизации внешней стороны человеческой жизни. Это сделало жизненные блага и удобства доступными широким массам. Однако при этом индустриальная культура, именно в силу своей механизации, мало способствует духовным запросам человеческой личности.

Более того, в своих крайних формах индустриальная цивилизация оказывается врагом личности. Ибо в индустриальной цивилизации господствует культ стандартов, культ массовой продукции, равенство на среднего человека.

Эта тенденция механизированной «стрижки под гребенку» получила свое крайнее выражение в тоталитаризме, о котором в его коммунистической версии Ленин прямо говорил, что коммунизм — это социализм плюс электрификация. В тоталитарных странах техника обслуживает волю к власти. В капиталистичес-

ких же государствах она обслуживает материальную корысть плюс стремление к «престижу». Таким образом, капитализм и тоталитаризм имеют нечто общее — стандартизацию и механизацию жизни, где достижения духа используются в материальных интересах. Это утверждение Вышеславцева вызвало бурю протестов со стороны эмигрантских либералов и социалистов, которые толковали это утверждение философа как знак равенства между капитализмом и тоталитаризмом. Но Вышеславцев отлично видел преимущества капитализма — он всегда подчеркивал, что в капитализме нет принудительной обязательности «стрижки под гребенку», что здесь давление механизации более мягко, чем в тоталитарных странах. Мало того, в главе «Ценность демократии» Вышеславцев подчеркивал, что именно демократия (демократическая процедура) является незаменимой ценностью капитализма. Он утверждал однако, что нельзя смешивать демократию и капитализм, что именно утверждение и реальные гарантии свободы, характерные для демократии, составляют ядро капитализма и что сам капитализм способен к перерождению в менее материальные свои формы.

Кризис индустриальной культуры, по мнению Вышеславцева заключается в том, что индустриальная культура (от которой человечество не может и не имеет права отказаться) должна быть одухотворена служением ценностям высшего порядка — ценностям религиозно-моральным.

Только тогда индустриальная культура и сможет изжить современный кризис и добиться того, чтобы экономика и техника служили человеку, а не поработали его.

Книга «Кризис индустриальной культуры» — достойное завершение творческого пути Вышеславцева, этого философа Божией милостью, в сравнительно небольшом, но в высшей степени ценном творческом наследии которого заложены семена мысли, обещающие будущие новые всходы.

В характере его философии есть нечто платоновское. Но он был христианизированный платоник, с русской всеотзывчивостью. По тонкости его мысли, по богатству ее оттенков Вышеславцева можно назвать Рахманиновым русской философии. Без его яркой фигуры созвездие мыслителей русского религиозно-философского Ренессанса было бы неполным.

Трагедия науки

Самая трагическая фигура наших дней — *ученый*, хотя ему принадлежат все лавры настоящего прогресса в области эмпирического знания. Сфера науки — *природа*; иначе говоря. — *уже* существующее, тогда как человек в периоде *самотворения* есть вечная *возможность*. История показала, что хотя природой человеку отведено скромное место во вселенной, он обладает способностью *превосходить* все в природе интуицией, волей, желанием, фантазией, любовью. Эволюция сознания увела его далеко от первоначальной фазы примитивного существования. В противоположность биологической, эволюция сознания остается «надприродным явлением», — тайной. Ее законы не подвержены эмпирическому познанию. Пути человеческого гения остаются чудом, хотя мир полон его явлениями и неизгладимыми следами. Воспринимать их люди могут, но исследовать их и научиться им людям пока еще не дано.

Вплоть до последнего столетия человечество шло вперед по двухколейному пути развития: *знания* и *мечты*. Колеи сменялись: были и мистики, были и материалисты. Перевешивали то те, то другие: Средневековье сменилось Возрождением и т. д. Но «Индустриальной Революцией» был произведен переворот: колея *опытного знания* вытеснила *мечту*. Ослепленный небывалым прогрессом технологии, создавшим совершенно новые материальные условия жизни, в которых роскошь стала необходимостью, а нереальные переживания (не только в массе рядовых людей) свелись почти на нет, «массовый человек» отказался от *самотворения*, увлеченный *самоублажением*. Весь интерес к науке обернулся интересом к опытному знанию.

Вера в человека как в особый вид одухотворенного существа отошла в тень прошлого «отсталого» течения. Однако участво-

вать сознательно в процессе эмпирического познания дано немногим, т. к. в этом процессе мало одного образования, нужно и развитое мышление. Научные открытия делаются малым числом *исключительных*, а не рядовых интеллигентов. Для опытов и приложения открытий на практике необходимо громадное число тренированных техников-специалистов, заводских рабочих на «бесконечной передаче» (конвейере), а чтобы окупить все эти расходы, нужны и тренированные потребители, иначе говоря, — люди с искусственно привитыми (реклама, кредит, дешевизна) желаниями предметов массового производства; люди, в которых отсутствует инициатива. В результате — на инакомыслящих косятся, как на нарушителей прогресса, не только на рынках, но и в школе. Индивидуальность затирается как вредное явление.

Все это особенно заметно в так называемых **передовых** странах, поскольку в «отсталых» (неимущих) люди лишены соблазнов и благоденствия. Зато там люди могут свободно добиваться, хоть и в поте лица, чего они **сами** хотят, а не того, что им **велят** хотеть. Их труд тяжелее, чем труд людей в «прогрессивных» странах, но в свой досуг они принадлежат себе, а не суете, в которой «полагается» проводить свободные часы «потребителям» всех возможностей, которыми одарила их технология и убедила, что они — необходимость.

Человек перестал быть хозяином своей судьбы, дав отшлифовать себя по общему образцу (к о н ф о р м и з м). Наш мир — условно **новый мир**. Но нов он не одними достижениями, а и небывальными опасностями. Наряду с благими открытиями в разнообразных областях опытного знания в руках человека находится и возможность *самоуничтожения* — как физического, так и морального. В мире замечательных достижений у него нет голоса даже в самой свободной стране, потому что у него нет ни *цели*, ни *мечты*, которые создают Человека. Он предоставил течению нести себя. Как сказал итальянский писатель Пиранделло: «Я такой, как вам угодно». Сила толпы — только в *числе*. Сознание разбежалось по поверхности, как разбегаются глаза от удивления и любопытства при виде нового, непонятого, но заманчивого. Человек расстался со своим «Я», обратясь в «Мы» (см. романы Е. Замятина «Мы» и Дж. Орвелла «1984»).

Такая масса всегда обладает самоуверенностью, потому что она безответственна (за нее отвечают «ведущие»). По существу она так же далека от современных научных открытий, как далеки были люди в древние века, когда в Риме требовали «Хлеба и зре-

лиц!» Разница только в том, что теперь в «прогрессивных» странах требуют не «хлеба», а «бифштексов», и не «цирковых зрелищ», а запуска «спутников» и, во что бы то ни стало, «человека на Луне»! Но с каковыми целями следует посылать человека на Луну, что он там будет делать, чего достигнет, что выиграют оставшиеся на земле, — никто из «требующих» понятия не имеет и не ищет узнать. Все, к чему стремятся, — *сенсация*. Это своего рода профанация науки «миру на удивление» и «политическому престижу на пользу». Сенсация — очень дешевый стимул, но на нее велик спрос, вызванный однообразием существования, внутренней пустотой. Рядовой человек так же кощунственно обращается с научным знанием, как и со своей *мечтой*. Про человека «без мечты» не зря сказал американский поэт Чизхолм, что «если звезды померкнут, он только засмеется».

В этом выражается полная незрелость современного «роботоподобного» человека, который все еще не может отказаться от примитивных желаний «драться и завоевывать», хотя он знает всю опасность возможной войны, в которой не может быть победителей. Политика — продукт рассудка, а не духовное стремление обратить «блага жизни в благоую жизнь» (слова Оверстрита из его книги «Зрелый ум»).

Такое кощунственное отношение к самому себе и всему окружающему ничего не обещает человеку и на Луне, кроме сенсации полета, риска и удовлетворения героического комплекса. Но сколько ни старается «новый» роботоподобный человек, пассивный потребитель материальных благ, гордиться успехами века, — он не более как самозванец, раз он пошел вспять, а не вперед в развитии своего вида, и, притупив свои «надприродные» возможности, не используя все свободы, предоставленные ему законами, живет в тюрьме, созданной им самим, пленником своих желез и инстинктов.

Трагедия ученого заключается в том, что повышение уровня сознания человека и стимуляция его «надприродных» свойств не являлись задачей науки (поскольку эти явления не подвержены опытному знанию). Хотя ученые и не отрицают существования «надприродных» свойств человека в его переживаниях в искусстве, религии, философии, но не считают их своей сферой. За последнее столетие работы ученых были посвящены феномену природы.

В наш дегуманизовавшийся век человек настолько улажен физическим комфортом, облегченным трудом (который от-

нюдь не используется им как средство и возможность употреблять досуг на развитие своего сознания), что он и в досуге не пытается проявить свою инициативу, возбудить свой интерес к феноменам человеческих, надприродных свойств. Досуг современного человека суетлив и физически утомителен, часто вреден и лишен цели. Обладатель телевизора и радио сидит в пригнупленном состоянии, впитывая в себя невероятное количество беспорядочных сведений, ужасов, открытий и угроз, запоминая факты, не задумываясь над ними, и следя за жизнью будто извне, не принимая в ней участия. Современный человек — это человек, изменивший себе, созданный условиями, покорный им, не распоряжающийся собой; это человек, глядящий на все, что происходит в мире, но не в самого себя; это человек, удалившийся от своего «Я», соприкасающийся с людьми только внешне. У него есть средства говорить с живущими на другом материке, но ему нечего сказать даже близким о своих переживаниях (что по-русски называется поговорить «по душам»). Душу похоронили в заботах о материи.

Не толпа меняет течение, а прозрение исключительных людей. В настоящее время, когда «массовый человек» стал угрозой для развития человеческого вида, философия, психология и эмпирическое знание стали искать совместных путей. Философы и психологи уже находят «сверхчувственное восприятие» (Para-Psychology), а также «влияние сознания на материю» (Psychokinesis). Опыты в области этих научных отраслей дали обнадеживающие результаты в направлении развития сознания *цельного* человека. Ученые типа Т. Л. Морено изучают на опыте *феномен творчества*. Психология становится наукой, а не отвлеченными поисками.

Один из выдающихся и дерзновенных психологов-психиатров США Роберт Линднер пишет, что «роботоподобный человек» — карикатура на человечество, «универсальный психопат», возросший на почве заглохшей индивидуальности. По д-ру Линднеру, человек может выявить себя и достичь положительной свободы, только будучи *цельной* личностью, слитком сознания и природы, но ни в коем случае не путем *соглашательства* с общим течением *конформизма*, потому что только в «цельном человеке» живет инстинкт мятежа — не только в его сознании, но и в его природе: в химическом составе его крови, костей и тканей есть *сопротивление* (природа борется против недуга). Если организм человека обладает способностью *исцелять* себя, неужели его сознание перестанет бороться за возможность человеческого превосходства? Неужели

стихийная динамика, обнаруживающая надприродные свойства, может быть задавлена отсталой массой?

«Только в динамике человек являет свою сущность, — любопытный, ищущий, никогда не удовлетворенный, вечно борющийся и добывающийся... Только при наличии *всех* своих данных в работе сознания человек может создать самого себя и идти дальше... Его история доказала, что цельный, динамичный человек ушел за пределы реальности, в которой он физически живет... Заинтересованный Вселенной человек пытается проникнуть и дальше: он отрицает смерть и борется с ней», — говорит Роберт Линднер, приступая к анализу свойств «*положительного*» мятежного индивидуума.

В своей книге «Должны ли мы быть приспособленцами?» Роберт Линднер выражает уверенность, что нынешнее течение может быть изменено, что мы можем быть «мятежными», и что мы в состоянии воспитывать и образовывать нашу молодежь, помогать ей достигать полной зрелости. «Ключ к этому — прежде всего, в освобождении от мифа *приспособляемости* (конформизма)».

Течение *денатурализации* не есть возврат в прошлое, а шаг в малоизвестное будущее, пока не *очевидное*, но возможное и уже начинающее открываться даже эмпирическим путем (парапсихология).

Трагедия в том, что темп развития у этих психологических исследований еще очень медлен, как у всяких новых исканий, и менее очевиден, чем результаты технологии. Однако опыты показали, что психическое побуждение совершенно отличается от физического мира, и можно предвидеть особого рода психические состояния вне физических ощущений. Иначе говоря, сознание может переступать физические законы, управляющие организмом, когда оно развивается до предела свои возможности и прозрение.

Но физические законы — большая сила, и сила, которая сейчас у власти больше, чем когда-либо. Побудить сегодня рядового (иначе говоря, безынициативного) человека «развивать до предела свои внефизические ощущения» во имя загадочных возможностей и «переступать физические законы», когда все вокруг побуждает к обратному, — задание нелегкое.

Перемены течения всегда совершались исключительными людьми. Гений тем и гений, что он предвидит будущее, что он тот *мятежник*, о котором говорит Роберт Линднер: «мятежник не только в своем сознании, но и в своей природе».

Правда, гениев и мятежников жгли на кострах и распинали, но и сожженные и распятые они оставались *жить и влиять*, тем самым утверждая, что сознание переступает физические законы.

Как ни многочисленна сегодня масса «соглашателей» (конформистов), но если самый принцип их будет опровергнут, то «роботоподобный» человек утратит свою власть и пойдет за теми, кто будет впереди.

Собственность в Советском Союзе

«Трудно назвать другой правовой вопрос, который в настоящее время привлекал бы к себе столь широкое внимание общественности, как вопрос о личной собственности граждан», — пишет Р. О. Халфина.*)

Действительно, почти в каждом номере любой из центральных и местных газет печатаются статьи, фельетоны, письма, обзоры писем, касающихся вопросов личной собственности, исследования коллективного и индивидуального строительства, садоводства и т. п.

Газеты и журналы пестрят также отчетами о многочисленных и разнообразных злоупотреблениях правом личной собственности во всех слоях населения. Проблема личной собственности приобрела чрезвычайное значение в Советском Союзе в последнее время.

Со времени Октябрьской революции право собственности проделало большую и интересную эволюцию в советском законодательстве, на которой небезынтересно остановиться особенно потому, что она показывает полную несостоятельность некоторых основных принципов коммунизма.

І. Социалистическая собственность

Конституция 1936 г. различает два вида социалистической собственности: государственную собственность (всенародное достояние) и кооперативно-колхозную собственность (собственность колхозов и кооперативных объединений.)

*) Р. О. Халфина. «О праве личной собственности в период развернутого строительства коммунизма». «Советское государство и право», № 12, стр. 31, 1960.

Кроме того, право личной собственности советских граждан также охраняется законом.

1. Всенародная собственность

Всенародная собственность на орудия производства и социалистическая система хозяйства являются экономической основой СССР.

После Октября промышленность была национализирована не сразу. Первый декрет, направленный против частной промышленности, был опубликован 18 июля 1918 г. Он изъям в пользу государства самые крупные предприятия в области горной промышленности, металлургии, железообрабатывающей, текстильной, электрической, деревообрабатывающей, табачной, стеклянной, керамической и некоторой другой промышленности. Национализации подверглись также паровые мельницы и железные дороги. Полная национализация промышленных предприятий, обслуживаемых более чем 10 рабочими или 5 рабочими и одним мотором была завершена декретом от 29 ноября 1920 г.

Под влиянием новой экономической политики декрет от 7 июля 1921 г. повысил лимит количества рабочих на фабрике с 10 на 20. Таким образом, право учреждать предприятия с количеством рабочих не более 20 человек было возвращено частным лицам. Некоторые предприятия были денационализированы, так как их национализация была равносильна закрытию.

Частная торговля была запрещена декретом от 21 ноября 1918 г. и затем восстановлена во время нэпа.

Банки были национализированы 17 декабря 1917 г., церковное имущество конфисковано 23 июня 1918 г., и церкви было запрещено владеть имуществом в будущем. Снабжение питанием населения и предметами потребления было передано государству.

С ликвидацией нэпа и началом индустриализации все послабления декретов времен военного коммунизма были отменены и промышленность и торговля окончательно национализированы.

2. Колхозно-кооперативная собственность

По Марксу, каждая форма производственных отношений соответствует форме собственности на производство. Так, при капитализме произведенное принадлежит капиталисту; при социализме — всему обществу. Конституция ставит кооперативно-колхозную собственность наряду с всенародной собственностью и называет обе формы собственности социалистическими. Однако,

эти формы имеют весьма существенные различия. Так, в Советском Союзе все промышленное производство принадлежит государству, то есть теоретически всему народу. Сельскохозяйственная же продукция колхозов принадлежит им. Таким образом, собственность на сельскохозяйственные продукты, произведенные колхозами, не соответствует производственным отношениям в социалистическом государстве. Даже орудия сельскохозяйственного производства принадлежат колхозам, а не государству.

Кроме того, крестьянин может продать производство своего приусадебного участка и свою часть колхозного урожая на свободном рынке по ценам, регулируемым капиталистическим законом спроса и предложения. Затем социалистический принцип «каждому по его труду» нарушается в колхозном хозяйстве: заработок колхозника определяется также плодородием земли, на которой он трудится, видом выращиваемых продуктов. Ведь хлопок, табак и тому подобные промышленные посевы приносят несравненно больший заработок колхознику, чем рожь или пшеница при той же затрате труда. Доход колхозника находится также в прямой зависимости от честности и умения вести дело дирекцией колхоза.

Несмотря на все это, кооперативная (колхозная) собственность называется в конституции «социалистической» наравне с государственной.

Дело в том, что Ленин даже в период военного коммунизма не решился ввести коммунизм в сельское хозяйство. Он, правда, национализировал всю землю, но вместе с тем заявил в своей брошюре о кооперативах, вышедшей в 1923 году, что и кооперативная собственность является видом социалистической. Да и Сталин, когда решил коллективизировать сельское хозяйство, не осмелился ввести коммуну в деревню, а должен был выбрать кооперацию как форму ведения сельского хозяйства для крестьянства. Все же колхозная собственность рассматривается как низшая форма социалистической собственности, которую нужно со временем обратить в высшую форму общественной собственности. Стремление партии неустанно направлено к цели ликвидировать колхозную собственность и крестьянство с его психологией мелкого земельного собственника и превратить колхозы в совхозы.

«Земля принадлежит тем, кто на ней работает» — было одним из основных лозунгов большевизма. Обещание дать землю крестьянам оказало огромную помощь Ленину в его борьбе с

Временным Правительством, отложившим разрешение земельного вопроса до созыва Учредительного Собрания. Однако, захватив власть, большевики не разделили землю между крестьянами, как они обещали. Декрет от 27 января 1918 г. ВЦИК'а «о социализации земли» отменил всякую собственность (включая крестьянскую) на землю, ее недра, воды, леса и естественные богатства на вечные времена в пределах РСФСР. Земля без всяких явных и тайных ограничений была предоставлена в пользование всего трудового населения. Право же владения землей имеют исключительно те, кто ее обрабатывает своим трудом. Что же касается формы пользования землей, статья 35 декрета постановила, что для того, чтобы осуществить социализм возможно скорее, РСФСР оказывает всякую культурную и материальную помощь общинному обрабатыванию земли, давая преимущество общинному или кооперативному хозяйству перед частным.

Однако, после экономического провала военного коммунизма*) и введения новой экономической политики (нэпа), Земельный Кодекс 1922 г., подтвердив право собственности на землю за государством и право владения на вечное время землей за крестьянами, обрабатывающими ее, 22 мая 1922 г. предоставил крестьянам право вести хозяйство общинным, кооперативным или индивидуальным способом (ст. 2, 10). Крестьяне имели также право, согласно ст. 24 кодекса, располагать по своему усмотрению сельскохозяйственными продуктами участка земли в их владении, а также пользоваться строениями на нем для жилья или же с торговой целью.

Коллективизация сельского хозяйства, проведенная в 1929-1935 гг., была вторым обманом крестьян большевиками: крестьянам пришлось передать колхозам (сельскохозяйственным артелям) землю, полученную во владение «на вечные времена»,**) скот и орудия производства. Со вступлением в колхоз они потеряли также право свободного выбора посева и распоряжения урожаем. Что именно сеять — предписывалось теперь планом, а колхозный кооператив стал управляться председателем, по уставу выбираемым членами колхоза, но фактически назначаемым

*) В 1920 г. было добыто 1,60% железной руды, 24% чугуна, 5% хлопка и произведено 13% предметов потребления, по сравнению с 1913 годом.

**) Вступление в колхоз официально было актом «добровольным», но в действительности эта «добровольность» обошлась крестьянам потерей в 6.000.000 человек убитыми и погибшими от голода и в 60% скота, заколотого крестьянами, не желавшими передавать его колхозам.

партией.*) Каждый член кооператива получает свою часть урожая и денег, вырученных колхозом, согласно количеству трудодней, записанных в его трудовую книжку.

Статья 7 Конституции 1936 г. определяет, что «Общественные предприятия в колхозах... с их живым и мертвым инвентарем, производимая колхозами... продукция, равно как их общественные постройки, составляют общественную, социалистическую собственность колхозов...». Земля же, занимаемая колхозами, была закреплена за ними в бесплатное и бессрочное «пользование», то есть навечно (статья 8).

Покушение на колхозную собственность было сделано Хрущевым в 1951 г. Он заговорил об образовании огромных «агрогородов», то есть предложил придать сельским поселениям городской характер и превратить колхозников в сельскохозяйственных рабочих. Его проект встретил сильное сопротивление в рядах партии и не был осуществлен.

Сталин не решился отобрать у крестьян права личного владения всей землей. Устав сельскохозяйственной артели 1935 г. предусматривает, что каждый колхозный двор, кроме основного доходного общественного колхозного хозяйства, имеет в личном пользовании небольшой**) участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот (кроме лошадей), птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь.

Только благодаря этому личному хозяйству, продукты которого составляют его собственность и которые крестьянин может продавать на рынке по свободным ценам, устанавливаемым спросом и предложением, крестьянин и может поддерживать свое существование***).

*) В своем романе «После свадьбы» («Октябрь», 1958, № 7) Д. Гранин приводит такой разговор двух колхозников: один рассказывает другому, что в его колхоз «поставили» председателем пьяницу, разорившего колхоз. «То есть как это поставили? Вы же сами выбирали!» — заметил другой. — «Может быть, в твоём колхозе их выбирают по своей охоте, а в нашем колхозе — коза тоже своей охотой шла, но на веревочке!» (стр. 87).

**) Не больше одного акра по уставу сельскохозяйственной артели; сокращен до 3/4 акра декретом от 27 мая 1939 г.

***) Средний заработок члена колхоза был равен 900 дореформенных рублей деньгами и натурой в 1957 г. См. Samuel Kucherov, *The Future of Soviet Collective Farm*, *American Slavic and East European Review*, April 1960, page 192, и указанную там литературу.

То, что крестьянин зарабатывает на свою трудовую книжку, не спасает его от голода. В некоторых колхозах выдачи за один трудоводень не превышает 10 копеек деньгами и 100 гр. зерна*).

Иван Винниченко, сотрудник «Октября» по сельскохозяйственным делам, напечатал письмо своей собственной матери к нему следующего содержания:**) «У нас, правда, колхоз не такой выдающийся как у Посмитнева или у Мальцова. А люди и у нас хорошие, работающие. Да только не везет нам что-то, хоть плачь! Вот в этом году, если выдадут по килограмму на трудоводень и по рублю деньгами (старыми. — С. К.) — значит и ладно. Ну, как тут жить? Я, конечно, не за себя забочусь. Мне-то, славу Богу, живется ничего. И ты, спасибо тебе, помогаешь, и твой брат Коля. А вот Галочке нашей (очевидно дочери. — С. К.) — а ведь за колхозником! — так ей с детьми туговато приходится. Да и за других обидно: работают, трудятся целый год, а придет осень — и получить нечего!..» Это письмо написано из Полтавской области, сердца Украины, бывшей житницы всей Европы.

В вышеупомянутом романе «Раздумье» Панферов рассказывает, что в некоторых колхозах на трудоводень ничего не приходится, или так мало, что не хватает на коробок спичек***). Разумеется, не во всех колхозах дело обстоит так скверно, но зажиточные колхозы — только островки в море бедных.

Жалобы на 100-граммовую выдачу зерна на трудоводень в колхозах приведены также и в рассказе «Рычаги» Александра Яшина.****).

В качестве жены бельгийского дипломата Зинаида Шаховская прожила несколько лет в Советской России и рассказала в своей книге,*****) что колхозники никогда не уверены, сколько они заработают к концу года, и могут существовать только благодаря своим приусадебным участкам.

И вот крестьяне стараются всеми правдами и неправдами расширить свои приусадебные участки за счет колхозной земли и работать возможно больше на своем огороде и возможно меньше для колхоза.

*) В романе Ф. Панферова «Раздумье» («Знамя», 1958, № 7) один колхозник говорит другому: «Что бы я накормил своих детей, если бы моя жена не собрала 78 тыкв на приусадебном участке!»

**) «Октябрь», 1958, № 4, стр. 119.

***) Стр. 68.

****) «Литературная Москва», № 2, 1956.

*****) „Ma Russie habillée en L'URSS“, Paris, 1958, p. 133.

Советское правительство борется против этого. Закон 7 августа 1932 г. ввел смертную казнь за присвоение общественного имущества, к которому относится и колхозная земля. Указ от 27 мая 1939 г. установил минимум рабочих дней на колхозной земле для каждого колхозника. Этот минимум был увеличен указом от 13 апреля 1942 г. Нарушение каралось шестимесячным принудительным трудом и потерей 25% заработка. Эти меры успеха не имели. Расследованиями было установлено 2.255. 000 случаев присвоения колхозной земли на 1 января 1947 г., и больше 4. 7000. 000 акров земли было изъято у колхозников и возвращено колхозам.

Ввиду этого был издан закон 4 июня 1947 г., установивший наказания за присвоение колхозной земли, однако без смертной казни, отмененной законом в мае 1947 г. Но и эти меры большого действия не возымели, так как газеты все еще пестрят случаями злоупотреблений в этом отношении.

Что же касается исполнения трудового минимума, то и в этом отношении уголовное преследование больших успехов, очевидно, не имело. Так, например, В. П. Розин сообщает в «Нашем Современнике» (1960, № 5), что в 1958 г. в Армянской ССР 16, 2% способных к труду колхозников не выполнили установленной нормы трудовых дней, и из них 7, 2% не заработали ни одного трудового дня; в Грузинской ССР — 13, 4% всех способных к труду колхозников не выполнили минимума трудовых дней, а 5, 2% не заработали ни одного трудодня.

Жалобы на то, что колхозники уделяют слишком много времени своим приусадебным хозяйствам в ущерб колхозной работе, раздаются и со стороны колхозного начальства. В «Сельской жизни» от 11 декабря 1960 г. напечатано открытое письмо Хрущеву С. Давидюка, председателя колхоза имени Ленина, село Сулимовка, Баришевского района, Киевской области, в котором он пишет:

«Нужно твердо установить, что приусадебный участок наделяется в зависимости от трудового участия колхозников в общественном хозяйстве и в зависимости от количества лиц, работающих в колхозе. Особо это касается пригородных колхозов. Имея под Киевом 0, 61 гект. земли, можно и не работать в колхозе. Некоторые наши колхозники собирают по два урожая со своих приусадебных участков и не «успевают» работать в колхозе. Такие колхозники работают в колхозах не для подъема сельского хозяйства, а для того, чтобы не потерять землю. Землю нужно давать тем, кто хорошо работает в колхозе, причем давать с уче-

том количества работающих, а то у нас есть такие колхозники, где вся семья работает в Киеве, а в селе держат одну мать, которая «работает» в колхозе для удержания земли».

Были случаи, когда сами колхозы принимали меры против своих членов, уделяющих слишком мало времени колхозной работе и слишком много — своим приусадебным хозяйствам. «Заря Востока» (от 24 октября 1962 г.) сообщила, что на общем собрании партийной организации колхоза Легодесхского района было решено отобрать половину приусадебной земли у колхозников, «ставящих личные интересы выше колхозных». Таким колхозникам, если они не изменят своего поведения, угрожает исключение из колхоза и выселение из района.

В порядке похода против торговли продуктами с приусадебных хозяйств, Совет министров Грузинской ССР запретил поставлением от 14 июля 1962 г. вывозить картофель, фрукты, овощи и бахчевые продукты за пределы республики для продажи. Это запрещение должно заставить колхозников продавать свои продукты государству по твердым пониженным ценам.

Понятно, что советским идеологам особенно неприятен факт, что приусадебное хозяйство колхозника немногим отличается от хозяйства крестьянского двора при капитализме. Но эту капиталистическую занозу в социалистическом хозяйстве вынуть сразу чрезвычайно опасно.

Во-первых, потому, что приусадебные хозяйства являются весьма существенным поставщиком сельскохозяйственных продуктов к и так столь скудному столу советского гражданина. Миллионы личных участков производят почти то же количество продуктов, что и колхозы, а иногда превосходят это количество. В 1959 г. личные участки вырастили 45 % всего количества овощей, 70 % картошки и поставили на рынок 82 % яиц, 50 % мяса и молока.*)

Во-вторых, такие меры непременно повлекли бы за собой меньшее сопротивление, чем оказанное крестьянством в период коллективизации. Поэтому «государственная и кооперативная собственность будут существовать рядом друг с другом еще долгое время», как заявил в своей беседе по советскому радио 12-го марта 1960 г. Е. В. Струков. Они сольются в единую социалистическую собственность лишь постепенно. Когда Хрущев в своем

*) Статистический справочник сельского хозяйства за 1959 год. Москва, 1960.

докладе Верховному Совету СССР в 1958 г. констатировал, что «Ленин не противопоставлял кооперативную собственность государственной, а наоборот — подчеркивал, что обе формы собственности являются социалистическими», — он все же указывал на разницу в степени социализации, существующую между обеими формами собственности, и настаивал на том, что необходимо развить социализацию колхозной собственности и поднять ее до уровня общенародной собственности.

II. Личная собственность

В области индивидуальной собственности советское право отличает частную собственность от личной.

Как было сказано выше, по Марксу каждой форме производства соответствует форма собственности. Частная собственность — это та форма собственности, которая существует в буржуазных странах, где орудия производства и продукты труда принадлежат частным лицам, где господствует частное хозяйство. Эта собственность в Советском Союзе была отменена после ликвидации нэпа.

Вместо частной собственности советское право ввело новую категорию, называемую правом личной собственности и неизвестную буржуазному праву. Личная собственность относится не к области производства, а распределена и основана на личном труде граждан.

Статья 10 Конституции дает следующее перечисление личной собственности граждан, гарантированной ею:

«Право личной собственности принадлежит советским гражданам на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного потребления и удобства, равно как и право наследования личной собственности граждан.»

1. Наследование

Право наследования, как принадлежащее к личным правам граждан, охраняется ныне Конституцией. Но в период военного коммунизма наследование по закону и завещанию было отменено, и имущество умершего (или умершей) становилось собственностью РСФСР (декрет от 27 января 1918 г.)

Однако, статья 9 декрета гласила, что наследством, не превышающим 10.000 рублей, могли располагать восходящие, нисходящие, сестры и супруг (или супруга) умершего лица, жившие

вместе с ним. А в статье 4 было сказано, что нуждавшиеся лица, перечисленные в статье 9, могли получать содержание из наследственной массы, превышающей 10.000 рублей, пока всеобщее социальное обеспечение не будет установлено декретом. Таким образом, постановления статей 4 и 9 являлись временной мерой социального обеспечения, а не нормой наследственного права.

Другим послаблением декрета от 27 января 1918 г. было разъяснение Комиссариата Юстиции, сводящееся к тому, что ограничение стоимости наследственной массы в 10.000 рублей не распространяется на крестьян. Они оставались во владении имуществом, оставленным лицам, перечисленным в декрете, даже если его стоимость превышала 10.000 рублей.

Новая экономическая политика отразилась также и на наследственном праве. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года снова ввел право наследования по закону и завещанию, но с двумя ограничениями: ценность наследства не должна была превышать 10.000 золотых рублей, и наследовать могли только нисходящие, переживший наследователя супруг (или супруга) и не способные к труду лица, находившиеся на полном иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти.

Затем закон от 29 января 1926 г. отменил ограничение наследования имущества, превышающего 10.000 рублей, а закон от 14 марта 1945 г. расширил категорию лиц, допущенных к наследованию.

Согласно этому последнему, законными наследниками являются дети (включая усыновленных) и другие нисходящие, супруг (или супруга), если брак зарегистрирован, родители, братья и сестры, а также лица, находившиеся на иждивении умершего не меньше одного года.

Наследование происходит по категориям: наследники первой категории исключают наследников дальнейших категорий; наследники второй категории, если нет наследников первой категории, исключают третью категорию и т. д. К первой категории принадлежат дети (включая усыновленных) и их нисходящие, супруг (супруга) и лица, находившиеся на иждивении покойного, неспособные к труду родители и неспособные к труду лица, имевшие право на иждивение. Во вторую категорию входят способные к труду родители, а братья и сестры образуют третью категорию.

В пределах каждой категории наследники получают одинаковую долю наследства. В первой категории введена система

представительства: дети умершего сына или дочери наследодателя занимают их место при дележе наследства. В других категориях представительства не существует, так что, например, дети умершего до наследодателя брата или сестры их части наследства не получают.

Переживший наследодателя супруг (или супруга), кроме причитающейся ему части наследства в рамках первой категории, получает половину состояния умершего, приобретенного им во время брака.*)

Лица, жившие в хозяйстве наследодателя во время его смерти, имеют право на равную часть обстановки и хозяйственного обзаведения, сверх их законной доли наследства.

За неимением наследников ни одной из трех категорий или в случае лишения наследства наследодателем всех законных наследников — наследство делается выморочным и переходит в собственность государства.

По завещанию наследодатель вправе оставить свое имущество любому законному наследнику какой-либо категории, обойдя всех остальных. Однако, завещать свое имущество государству или государственному и общественному учреждению, лишив законной части наследства своих малолетних детей и других неспособных содержать себя лиц — он не может. Если же нет наследников, принадлежащих к одной из трех категорий, наследодатель имеет право завещать свое имущество любому лицу или учреждению по своему выбору.

Следует подчеркнуть, что Гражданский кодекс РСФСР, дополненный в 1930, 1935 и 1948 гг.**), содержит весьма важное постановление в области наследственного права — оставить по смерти любому лицу, т. е. входящему в категории законных наследников или не входящему, страховку, государственные займы, процентные бумаги или наличные деньги, находящиеся в банке, путем простого письменного распоряжения, адресованного банку. Такие отказы не входят в наследственную массу и, если

*) По советскому семейному праву состояние, приобретенное супругами во время брака, принадлежит им обоим. Таким образом, половина этого состояния не принадлежит к наследной массе и выделяется из нее до раздела.

***) Новый Гражданский кодекс РСФСР не был принят Верховным Советом РСФСР, когда писалась эта статья.

они сделаны в пользу одного из законных наследников, не уменьшают его доли наследства (ст. 436).*)

Статья 436 дает возможность советскому гражданину выйти из круга навязанных ему законных наследников и делать отказы по собственному выбору.

Это право приобретает особенное значение потому, что люди, много зарабатывающие в Советском Союзе, как, например, известные писатели, артисты, инженеры, квалифицированные рабочие, не имеют большой возможности вкладывать свои сбережения в другие ценности, как перечисленные в статье 436.

Специальные нормы существуют в отношении наследования колхозников, потому что дом и приусадебный участок принадлежат не отдельному лицу, а двору. Также скот и сельскохозяйственные продукты являются общей собственностью принадлежащих ко двору. Однако то, что зарабатывает отдельный член колхоза, его часть деньгами или натурой, принадлежит ему лично. Таким образом, только то, что колхозник зарабатывает и приобретает на заработанные деньги, он может оставить по закону или по завещанию, в общем порядке, предусмотренном Гражданским кодексом.

Надел двора и то, что он производит, в наследственную массу не входит. В случае смерти колхозника его часть в имуществе двора остается в пользовании всех других членов двора.

Наследственное право проделало большую эволюцию в Советском Союзе. Ныне действующие нормы наследственного права мало похожи на установленные большевиками в начале советского режима: от полной отмены наследования до наследования, ограниченного только кругом наследников, причем этот круг охватывает всех тех лиц, которые обыкновенно призваны к наследованию и в капиталистических странах. Кроме того, статья 436 дает возможность назначить наследником лицо, не входящее в число наследников, перечисленных в Гражданском кодексе.

2. Городские усадьбы

Частная собственность на дома в городах была отменена декретом от 20 августа 1918 г. Однако декрет от 18 августа 1921 г. вернул прежним домовладельцам маленькие дома не более чем

*) Если бы, например, деньги, которые Борис Пастернак хотел оставить Ольге Ивинской, находились в советском банке, он мог бы это сделать простым письмом в банк.

с двумя квартирами (в Москве и Ленинграде не более, чем с пятью квартирами), если они еще не были заняты государственными учреждениями или Союзом квартиронанимателей. Так как вся земля была национализирована, домовладельцы маленьких домов получили лишь право владения этими домами и могли пользоваться землей, на которой дома были построены.

Под влиянием квартирного кризиса это право владения было постепенно сведено до того, что бывший домовладелец занимал одну комнату вместе со своей семьей в своем доме, наравне со всяким другим жильцом.

В 1948 году был издан весьма важный закон, который должен был облегчить жилищную нужду, принявшую в СССР весьма острый характер, и дать возможность зарабатывающим элементам вкладывать накопленные деньги в личные дома, служащие, таким образом, также стимулом для усиленной работы населения. Закон разрешал гражданам покупать или строить дома на новом, отведенном земельным фондом участке земли, размеры которого определялись местным Советом. Дом делался личной собственностью его владельца, мог быть продан или передан по наследству. Закон ограничивал размер дома одним или двумя этажами с одной или двумя квартирами, количеством не более пяти комнат. Дом мог стоять в городе или за городом (дача).

В тот же день, 26 августа 1948 г., когда закон был опубликован, Совет министров издал правила пользования предоставленным гражданам правом.

Этим предоставленным им правом советские граждане воспользовались очень широко. Так, к 1 января 1959 г. 257.000.000 кв. м. — 30% всей жилой площади в 781.000.000 кв. м. — в Советском Союзе оказались личной собственностью. Таким образом стало ясным, что личная жилплощадь играет огромную роль в советском жилищном хозяйстве и сильно помогла в борьбе с хроническим жилищным голодом. Как характерную иллюстрацию этого голода можно привести короткое письмо в редакцию, помещенное в «Комсомольской правде» от 7 октября 1960 г. — одно из многих сотен писем на эту тему. Некий гражданин Каладзе пишет:

«Наша семья состояла из четырех лиц: отца, матери и нас, двух братьев. Все четверо жили в одной комнате. Мой брат и я выросли, женились, и у нас появились дети, мы все живем в той же комнате».

Однако усиленная кампания против личных домов и дач с

их подсобными хозяйствами ведется как в партийных кругах, так и среди рядового населения. С одной стороны, выдвигаются против постройки и покупки личных домов и дач соображения идеологического характера, а с другой — растет возмущение злоупотреблением служебного положения при постройке домов и расцветшей спекуляцией личным имуществом.

В докладе ЦК КПСС XXII-му съезду партии сказано, что «понятие изобилия в виде беспредельного роста личной собственности не наше, это понятие чуждое коммунистам, потому что раздутая личная собственность при известных условиях может и часто превращается в тормоз публичного прогресса, в рассадник частнособственнической морали. Оно может привести к мелкобуржуазной дегенерации.» «Случается, — говорит Н. С. Хрущев, — что вещи поработают нового человека, и он становится рабом вещей».

Взгляды партийных кругов на этот вопрос хорошо изображены в эпизоде, рассказаном Г. Елизаветиным на страницах «Партийной жизни»*), органа ЦК КПСС.

Зикеев — директор машиностроительного завода и член партии. Совнархоз, которому подчинен его завод, наделил служащих участками для постройки дач. Но как достать необходимые для постройки материалы? С помощью своих коллег, директоров других заводов, Зикееву удалось достать дефицитные материалы для постройки дачи. Когда она была построена, Зикеев и его семья стали ею пользоваться. Случилось так, что однажды летом, когда сам Зикеев был в командировке, его жена сдала часть дачи за 800 рублей. У Зикеева была невестка, на которой его сын женился вопреки его воле, — ярая коммунистка. Она написала в обком партии донос на свекра, обвиняя его в том, что он, партиец, свернул с прямого пути коммуниста. Все началось с постройки дачи. «Он был счастлив, — писала невестка, — когда ему удалось достать материалы, недоступные для других в продаже; но более того, он стал доставать материалы при помощи связанных с ним и его работой. Я помню, однажды он принес домой электропровод и большой бидон олифы и все хвастался, что натуральной олифы нигде не купить, а вот кто-то из директоров ему удружил...»*)

Обком созвал собрание для обсуждения поведения Зикеева. На собрании были высказаны мнения, характеризующие

*) 1960 г., № 19, стр. 56-62.

**) Там же, стр. 59-60.

идеологический тупик, созданный проблемой личной собственности. Так, «А», например, заявил, что он тоже мечтал о даче для себя и своей семьи. «Но выходит, что я буду домовладельцем, так? Само слово — какое-то неприятное. Хоть и маленький, но собственник... А у меня партийный билет, я коммунизм строю!»*) И он оставил свою мечту.

Также и «Б» заявил, что он собирался строить дачу. «Потом пригляделся и думаю: будь оно проклято! Он, этот дом, непременно съест человека — его мысли, время, силы и под конец совесть и партийный билет! Станешь рабом собственности, — подумал я. — Будешь ломать голову, как бы терраску расширить, шиферную крышу на железную сменить, деревянную изгородь на каменный забор... да еще выдвинуть его хоть чуточку за счет дороги или соседнего участка... А выбьешься из денег, чего доброго на постой вздумаешь пускать. Ягодой торговать станешь. Много ведь ее, самим не поесть! Так и не заметишь, как из коммуниста в обывателя, в стяжателя превратишься. Нет, не для меня это!»**)

И, согласно мнению большинства собрания, Зикеев сделался также стяжателем. Хотя формального решения принято не было, председатель собрания сообщил Зикееву, что он будет исключен из партии. Чтобы избежать этого, он передал безвозмездно партии свою дачу, которую он сам построил на собственные средства.

Такое разрешение вопроса, очевидно, соответствует взглядам партии на этот предмет, так как случай с Зикеевым опубликован в журнале ЦК КПСС. Такое заключение находит себе подтверждение в передовице того же номера «Партийной жизни». Рахманов и Якубов, секретари Хорезмского обкома, «вопреки нормам партийной этики и коммунистической морали, злоупотребили своим служебным положением для постройки личных домов и приобретения ценных вещей.» (Рахманов был обвинен также в приобретении дорогой мотоциклетки для своего сына, в «обход правил советской торговли».) Якубов и Рахманов были отставлены от должностей и их личные дома конфискованы в пользу государственного домового фонда без всякого вознаграждения. «Это правильное разрешение вопроса», — заявляет автор передовицы и осуждает Дагестанский обком, выразивший лишь легкое порицание служащим, виновным в злоупотреблении сво-

*) Там же, стр. 60.

***) Там же, стр. 61.

им служебным положением для постройки новых и приобретения дорогих личных домов.

Однако усиленная кампания против злоупотреблений личного недвижимого имущества ведется не только в отношении лиц, использующих свое служебное положение для его приобретения или постройки. Так, например, Ю. Облянский рассказывает в «Литературной газете» (от 20 декабря 1960), что на заседании Ученого совета Индустриального института в Куйбышеве доцент Дембинский обвинялся в том, что превратил свой дачный участок в торгашеское предприятие, что он пользуется наемным трудом для обработки земли и ухода за садом, что он торгует ягодами и фруктами на рынке, что занятый своей дачей и вполне обеспеченный ее доходами, он не опубликовал ни одной строчки за последние 20 лет. Доцент Григорьев, выдвигавший обвинения против Дембинского, сказал о нем: «Это новый кулак, и мы вырастили этого кулака!»

Спекуляция личной собственностью пышно расцвела в СССР. Халфина рассказывает, что продавец в керосинной лавке, зарабатывающий 400-450 старых рублей в месяц, построил себе дачу стоимостью в 250.000; адвокат юридической консультации, доход которого составлял 800-900 рублей в месяц, приобрел дачу за 110.000, затем расширил и достроил ее, доведя ее стоимость до 250.000. Работники торговой сети, получающие 500-600 рублей в месяц, строят дачи для себя и своей семьи, расцениваемые в 200.000 рублей, приобретают автомашины по цене, вдвое превышающей их стоимость.

Замечательно, что старый уголовный кодекс РСФСР не мог быть применен к спекуляции домами. Статья 107 определяла спекуляцию как «скупку и перепродажу сельскохозяйственных продуктов и предметов массового потребления частными лицами с целью наживы». Так что, когда К. приобрел половину дома за 4.000 рублей и перепродал ее, отремонтировав, за 40.000 р. и проделал такую же операцию 4 раза, что принесло ему 80.000 рублей чистого дохода, — уголовное преследование не могло быть возбуждено против него, так как его действия не подходили под статью 107. В то время как каждый мелкий спекулянт всяким домашним барахлом может быть отдан под суд, спекулянты домами остаются вне уголовного преследования.

Но еще замечательнее то, что новый уголовный кодекс РСФСР, вошедший в силу 1 января 1962 г., не содержит норм, прямо карающих спекулянтов домами и дачами. По ст. 154 это-

го кодекса подлежат наказанию за спекуляцию лица, «покупающие и перепродающие вещи и другие предметы с целью наживы». Таким образом, чтобы применять эту статью к спекулянтам домами и дачами, Верховному суду СССР придется разъяснить, что дома и дачи являются «предметами» в смысле ст. 154 уголовного кодекса.

В своем решении от 12 декабря 1940 г. пленум Верховного суда СССР ограничил право личного собственника дома выселить квартиранта по окончании контракта найма только потому, что собственник не желает продлить контракт. Пленум разъяснил, что собственник должен доказать, что жилищные условия его самого и его семьи настолько изменились после заключения договора, что занимаемое квартирантом помещение стало необходимым собственнику и его семье. Только после того, как будет установлено судом, что жилищные условия собственника и его семьи явно недостаточны в смысле их объема, суд может выселить квартиранта.

Решение пленума Верховного суда СССР от 19 декабря 1940 г. было дополнено в этом смысле решением от 15 сентября 1960 г., что если владелец дома желает выселить своего жильца по той причине, что сам жилец имеет личный дом, он должен доказать, что дом жильца находится в том же населенном месте, что и его дом, и что дом пригоден для жилья.

Как мы видим, пленум в своих решениях лишь ограничил известными условиями право домовладельца выселять квартиранта, признав договор найма действительным. Верховный суд, таким образом, считает сдачу личного дома в наем и получение квартирной платы вполне законной сделкой.

Однако в другом случае, касающемся найма личного автомобиля, Верховный суд стал на противоположную точку зрения. Некто Поляков получил премию в виде личного автомобиля в 1937 г. за свою выдающуюся работу. Этот автомобиль он дал в наем Тресту № 30 за 1200 рублей в год. В 1940 году Поляков подал в суд на Трест, требуя уплаты наемных денег и стоимости необходимого ремонта машины. Народный суд иск Полякова удовлетворил, но Верховный суд СССР в иске отказал, признав, что договор найма недействителен, так как, сдав в наем свой автомобиль, Поляков превратил его из личной собственности в частную и сделал источником нетрудового дохода. (Решение от 10 января 1942 г., № 1367).

Почему деньги за прокат личного автомобиля являются не-

трудовым доходом, а квартирная плата за сдачу в наем личного дома этим пороком не обладает — Верховный суд не разъяснил.

Следует подчеркнуть, что и Основы гражданского законодательства СССР, от 8 декабря 1961 г., по которым будут равняться новые гражданские кодексы всех республик Союза,^{*)} также признают сдачу в наем личного дома законной сделкой. В статье 25 Основ сказано, что размеры личного дома и правила и условия сдачи квартир в наем в таком доме устанавливаются законодательством союзных республик.^{**)} Однако сдача в наем личного дома была одним из главных обвинений, предъявленных Зикееву.

Нужно думать, что только квартирная нужда заставила признать законность договора найма и взимание квартирной платы. Ведь если бы применить к личным домам точку зрения Верховного суда, высказанную по делу Полякова, тогда каждый личный дом, отданный в наем, превратился бы в частный дом и квартирная плата была бы таким же нетрудовым доходом, запрещенным ст. 1 Гражданского кодекса, как и деньги за прокат Поляковского автомобиля. Что же получается со стимулом для работы советских граждан, которым должна служить личная собственность? Ведь вот работал тов. Поляков, не покладая рук, так хорошо работал, что получил в премию целый автомобиль. Но когда он дал его на прокат государственному тресту, оказалось, что он не вправе требовать договоренной платы, а трест пользовался его машиной в течение нескольких лет бесплатно.

Нет никакого сомнения, что личная собственность, помимо облегчения жилищного и продовольственного положения, должна служить стимулом работы и производства сверх норм советских граждан. С этой целью и право наследования было восстановлено. Советский гражданин должен был знать, что накопленное тяжелым трудом имущество останется его детям, а не перейдет государству. Без стимула личной собственности невозможно довести производство до той высокой степени, при которой каждый мог бы быть удовлетворен, согласно своим потребностям, что является целью коммунизма. Без этого стимула нельзя «заставить миллионы людей строить коммунизм», замечает Степа-

^{*)} Когда писались эти строки, новый Гражданский кодекс РСФСР еще не был принят.

^{**)} Д. Ф. Еремеев в своей работе «Право личной собственности в СССР» (Москва, 1958, стр. 68) пишет, что сдача в наем личного дома делается нетрудовым доходом, если она производится систематически.

нян.*) Ограничения в пользовании личной собственностью наносят тяжелый удар этому стимулу.

Несомненно, что война, объявленная личным дачам, домам и пригородным участкам, ведется и теми, кто сам не в состоянии построить или купить дачу. Эти-то больше всего и восстают против имеющих эту возможность. Уже теперь личная собственность на дачи, дома, автомобили, пригородные хозяйства разбила советское «бесклассовое» общество на имущих и неимущих.

Совершенно отменить личное строительство советское правительство, разумеется, не может, ввиду той роли, которую оно играет в жилищном вопросе в настоящее время. Советское правительство стало на путь его ограничения. Так, постановлением Совета Министров СССР от 30 декабря 1960 г. запрещено выделять участки для постройки личных дач и приостановлена выдача ссуд под постройки личных домов в городах. «В соответствии с предложениями трудящихся сооружение индивидуальных дач и развитие индивидуального садоводства признано нецелесообразными», — пишет «Коммунист».**)

Ф. Полозков в своей статье «Борьба с тунеядцами и стяжателями» поясняет, что постановление Совета Министров «принято для того, чтобы подрубить корни тунеядства и стяжательства в этой области».***)

Затем Президиум Верховного Совета РСФСР указом от 26 июля 1962 г. «О безвозмездном изъятии домов, других строений, выведенных или приобретенных гражданами на нетрудовые доходы», (№ 30, ст. 464), распространил на всех граждан меры, принятые партией в отношении своих членов и работников.

Руководствуясь этим указом, Звенигородский городской суд, например, безвозмездно изъял у И. Н. Сабинина, продавца одного из столичных магазинов, дачу в Подмоскowie, обошедшуюся ему в 170.000 тысяч старых рублей. Что Сабинин построил дачу на нетрудовой доход — было установлено специальной комиссией, состоящей из депутатов Совета и других представителей общественности. Сабинин занимал в городе квартиру, а дачу сдавал в наем в течение последних пяти лет. Нет никакого сомнения, что закон 1962 года об изъятии домов и дач, построенных на не-

*) Ц. Степанян. «Коммунизм и собственность». «Октябрь» № 9, за 1960, стр. 5.

**) «Коммунист», 1960, № 14, стр. 18.

***) «Социалистическая законность», 1961, № 3, стр. 28.

трудовые доходы, должен самым пагубным образом отразиться на строительстве и увеличении столь необходимой жилплощади в Советском Союзе.

В этом отношении обращает на себя внимание заметка, напечатанная в «Известиях» от 9 сентября 1964 г. Автор ее, П. Карягин, рассказывает, как некий житель г. Гродно, Иван Лукьянович Богун, член бригады коммунистического труда комбината бытового обслуживания, третий год старается доказать, что он свой дом построил на трудовые средства. «Ваши доказательства хорошие, но неубедительные, — сказали ему. — Придется еще раз доказывать.» И это несмотря на то, что Богун возводил дом собственными руками, что это все видели, товарищи по работе помогали ему личным участием, родственники ссудили его деньгами и участок он получил от горисполкома как ветеран войны.

«А по городу, тем временем, идут разговоры... И многие граждане, отказавшись от идеи индивидуального строительства, отправляются в горисполком, чтобы записаться в очередь на получение государственной квартиры», — горестно восклицает П. Карягин.

Его заметка весьма примечательна и еще потому, что, очевидно, бремя доказательства всё еще возлагается на подозреваемого или обвиняемого в Советском Союзе, несмотря на то, что советские юристы всеми силами стараются доказать, что «презумпция невиновности» соблюдается и у них, как во всех цивилизованных государствах.*) Но, видно, все же Богуну приходится доказывать, что он не верблюд.

Нужно иметь в виду, что ограничение в праве постройки личных домов и дач, кроме обострения жилищного вопроса, приводит также к обострению ненависти ограниченных в этом праве к тем, которые уже им воспользовались, к чувствам, которые, казалось бы, не должны иметь места в «социалистическом» государстве. Все ограничения в постройке или приобретении идут в первую очередь на пользу тем, кто уже владеет личным домом, дачей или автомобилем: он становится монополистом и сможет сдавать свое имущество в наем по еще более повышенным ценам. Примечательно, что «Коммунист» напечатал письмо в редакцию, в котором высказывается мысль, что ограничения личного строительства противоречат Конституции, деля граждан на 2 категории: на имеющих личные дома, дачи, огороды и автомо-

**) См., например, статью проф. Строговича в «Литературной газете» от 23 мая 1964 г.

били и на тех, кто теперь ограничен в праве пользоваться этими благами.

Очевидно, цель правительства и партии — заставить граждан строить не личные дома и дачи, а кооперативные, что-то вроде городских колхозов. Степанян пишет, что «необходимо постепенно ограничить рост на устарелые формы личной собственности, включая увеличение количества дач... Существующие садовые участки и дачи, находящиеся в личной собственности рабочих, служащих, научных работников, исследователей, необходимо на добровольных началах кооперировать».

«Добровольно» же коллективизировать личные дома и дачи по образцу «добровольной» коллективизации сельского хозяйства советское правительство и партия, очевидно, не решаются.

В передовице «Коммуниста» № 14 от 1960 года говорится, что хотя индивидуальное строительство и имело немалые масштабы на определенном этапе, являясь важным дополнением к государственному жилищному строительству, однако теперь, когда «экономические ресурсы государства выросли, и развернуто грандиозное государственное строительство, было бы нецелесообразно поощрять и форсировать индивидуальное строительство в городах и рабочих поселках».

Думаю, что с автором передовицы трудно согласиться. Если отдельные граждане построили одну треть всей жилой площади, как мы уже видели, то, казалось бы, их следует поощрять, а не урезывать. Однако индивидуальное строительство развивает частнособственнические тенденции у советских граждан и поэтому «перспективе движения вперед не отвечает обзаведение рабочих и служащих недвижимой собственностью — индивидуальными жилыми домами и дачами и хозяйствами, а также и транспортом, то есть собственностью, позволяющей извлекать нетрудовые доходы». Поэтому также «Коммунист» рекомендует развитие не частной, а кооперативной формы строительства, поощрение строительства общественных пансионатов — «привлекая и сбережения трудящихся для этой цели».

Характерно, однако, что в области кооперативного строительства идет такая же спекуляция и происходят такие же злоупотребления, пресечь которые в отношении индивидуального строительства советское правительство и партия старались путем ограничений и запретов. Так, «Правда»*) жалуется на обход запре-

*) От 30 сентября 1962 г. — «Торговцы этажами».

щения путем устройства фиктивных кооперативов. Построив кооперативный дом, «торговцы этажами» распродают квартиры по этажам, наживая на продаже большие деньги. В покровительстве спекуляции личными домами в Грузии «Правда» обвинила даже заместителя председателя Совета Грузинской ССР — А. М. Лабахуа и председателя Верховного суда М. Г. Веихвадзе. «Отдел по делам строительства и архитектуры горисполкома Тбилиси благоговяет вопиющее жульничество. Прямо-таки чудеса происходят. На бумаге, в проекте, скромный домик, а в натуре вырастает солидное многоэтажное здание», — пишет «Правда».



Право личной собственности находится в настоящее время в следующем положении.

Теоретически права граждан на личную собственность признаны Основами гражданского законодательства СССР и союзных республик. Ст. 25 Основ, как и ст. 10 Конституции, постановляют, что личную собственность граждан составляют их трудовые доходы и сбережения, жилой дом (или часть его), вспомогательное домашнее хозяйство и орудия домашнего хозяйства и обихода для личного пользования и удобства. Ст. 25 также устанавливает, что только один дом может принадлежать одному лицу. Супруги и их дети, живущие вместе, могут иметь только один дом как личную собственность.

Эта же статья запрещает получение нетрудовых доходов с личной собственности.

Однако сдача в наем личного имущества, если она не производится систематически и соответствует правилам, установленным местными советами, допускается.

На практике выдел участков под постройку дач прекращен.

Личные дома в городах могут строиться на трудовые доходы, но ссуды для постройки не выдаются. Кооперативное строительство личных домов поощряется.

Продавать на рынке излишки домашнего хозяйства — ягоды, фрукты, овощи — разрешается, если эта торговля не единственное занятие личного собственника.

Прокат личного автомобиля запрещен.

Как отразились ограничения личного строительства на росте жилой площади, и будет ли личная собственность продолжать служить стимулом для усиленной работы — покажет будущее.

Библиография

Длинный путь

(Автобиография Питирима Сорокина)

Зимняя ночь в Вологодской губернии, метель на дворе. В крестьянской избе трехлетний мальчик следит за лучиной. На полу, мертвая, лежит его мать. Так начинается Питирим Сорокин свою автобиографию. Красота северного леса, устойчивый и свободный быт зырянских деревень, община, взаимопомощь, традиции народной культуры, церковь, добрые и светлые взаимоотношения с отцом — «золотых, серебряных и чеканных дел мастером» — вот основные впечатления детства. Затем — кочевая жизнь с отцом, помощь ему и старшему брату в работах по окраске и ремонту церковных зданий и икон, чеканка металлических риз и боль непрерывных приездов и разлук. Постепенный запой отца от неутешной любви к своей умершей жене-зырянке, побои пьяного отца и уход из дому в 10 лет, со своим 14-летним братом. Два года скитаний по деревням, в качестве странствующих ремесленников. Питирим Сорокин утверждает, что он и теперь, в 75 лет, с удовольствием и без головокружения поднимается на верхушки деревьев, вспоминая свою работу в детстве на церковных шпилях и куполах. Временный приют в доме бездетной сестры матери, где воспитывался его младший брат, и ее мужа — знахаря. Поступление в школу, скромная стипендия, полностью покрывавшая расходы на пропитание и жилье. В 1903 году, в возрасте 14-ти лет, поступление в учительскую семинарию в Хреново, Костромской губернии.

В семинарии, под влиянием новой среды, происходит крушение его юношеского мировоззрения, сформировавшегося между церковью, народным бытом и природой. Все же народническая идеология социалистов-революционеров ему ближе по духу, чем «городской» и сухо-интеллектуальный марксизм, и в 16 лет он становится проповедником идеалов эсэров, подобно тому, как в 12 лет он играл роль духовного проповедника среди

крестьян. В семинарии же завязывается его дружба с Н. Д. Кондратьевым, позже крупным теоретиком в области экономических циклов, погибшим во время сталинских чисток. В конце 1906 года — арест за революционную агитацию. Четыре месяца в тюрьме оказались, по словам П. Сорокина, значительно менее страшными, чем он предполагал (сегодня он объясняет этот либерализм стихийным разложением царского режима). Здесь он перечитал революционных «классиков» от Лаврова и Михайловского до Плеханова и Ленина, здесь же познакомился с уголовным миром. Это знакомство позже его привело к специализации по криминологии в университете. Выйдя из-под ареста, он недолго оставался «под гласным надзором полиции»: вспомнив странствования своего детства, он решил сделаться профессиональным революционером-подпольщиком и отправился тайком в район Иваново-Вознесенска. Ораторские способности «товарища Ивана» вскоре привлекли к нему интерес властей, и подпольная жизнь делалась все более и более опасной, особенно после вооруженной стычки с казаками на одном многолюдном подпольном собрании в лесу, в результате которой остались убитыми двое рабочих и один жандарм. Нервы П. Сорокина не выдерживают, и после трех месяцев такой жизни он уезжает на север, в дом своей тетки. Отдохнув, он перебирается в Петербург продолжать прерванное образование.

Он без труда находит себе работу репетитора, с помощью друзей поступает на вечерние курсы, жадно впитывает в себя культурные ценности столицы и пытается построить себе новое, «целостное» мировоззрение. Летом 1909 года он на «отлично» сдает экстерном экзамен на аттестат зрелости в Великом Устюге, вскоре после этого получает (опять, благодаря «разложению режима») свидетельство о политической благонадежности от Петербургского губернатора и с осени поступает студентом в новооткрытый Психо-неврологический Институт, где предпочитает «не тратить времени» на лекции, а заниматься по книгам. Во избежание призыва на военную службу, П. Сорокин на следующий год переходит в Санкт-Петербургский университет, где занимается на Юридическом факультете под руководством таких светил как Л. И. Петражицкий (которого он особенно высоко ценит), М. М. Ковалевский, М. И. Туган-Барановский и др., слушая в то же время лекции М. И. Ростовцева и Н. О. Лосского. Благодаря своим успехам, он получает государственную стипендию, начинает прирабатывать и статьями в журналах. «Несмотря на скромные материальные условия, мы жили осмысленной, энергичной жизнью творческого труда и счастливых надежд», пишет он про свои студенческие годы. Свое мировоззрение того времени Сорокин определяет как «разновидность эмпирического неопозитивизма или критического реализма» в философии и разновидность социализма, «основанного на этике солидарности и свободы» в

политике. «Это был оптимистический взгляд на жизнь, сродни господствующему мышлению большинства русских и западных мыслителей, предшествовавший катастрофе десятилетия двадцатого века», пишет он. Своих связей с революционной деятельностью партии эсэров он не порывает, вследствие чего должен один раз выехать за границу на две недели по подложному паспорту, а второй раз, в 1913 году, подвергается трехнедельному аресту. В 1913 же году выходит его первый научный труд «Преступление и наказание, служба и вознаграждение».

Окончив Петербургский университет в 1914 году, он остается при нем для подготовки к профессорскому званию, сдает устные магистерские экзамены осенью 1916 года и получает звание приват-доцента. Однако, несмотря на интенсивную научную работу в первые годы войны, П. Сорокин не оставляет общественной и партийно-политической деятельности и вскоре водоворот революции полностью увлекает его на партийную работу. Он отдает свое время и силы партии социалистов-революционеров, входит в редколлегию «Дела Народа», затем в апреле 1917 оставляет ее из-за ее лево-пораженческой позиции и начинает издавать более умеренную, оборонческую газету «Воля Народа»; он деятельно участвует в работе Совета Крестьянских Депутатов, избирается депутатом в Учредительное Собрание и работает над проектами будущего законодательства. В мае 1917 года он женится на подруге своих студенческих лет.

2-го января 1918 года, за три дня до начала Учредительного Собрания (на котором его речь была прочитана другим), Сорокина арестовывает ЧК и заключает в Петропавловскую крепость. Здесь он встречается не только с членами Временного Правительства, но и с Пуришкевичем, Щегловитовым, Сухомлиновым. Освобожденный через два месяца, П. Сорокин перебирается в Москву, принимает участие в издании «Возрождения» и в деятельности «Союза Возрождения России». По заданию последнего он едет на свой родной север, в район Устюга и Вологды, организовывать антибольшевистскую акцию совместно с Чайковским. Однако нарушение англичанами обещания преследовать отступающих от Архангельска красных и последовавшее в результате этого крупное скопление большевистских отрядов в районе Устюга вынуждают его и друзей уйти в лес, где они и скрывались до наступления зимы от настойчивых поисков красных. Зимой П. Сорокин добровольно отдался в руки местной ЧК и в течение нескольких месяцев был свидетелем ежедневных расстрелов, сам ожидая той же участи. Спасла его упоминавшая его лично статья Ленина в «Правде» о бережном отношении к кадрам рабоче-крестьянской интеллигенции, статья, инспирированная его бывшими учениками и друзьями по университету, из социал-демократов. Его старший брат, однако, сражав-

шийся в Белой Армии, был незадолго до этого расстрелян под Устюгом, а младший погиб в большевистской тюрьме.

В начале 1919 года П. Сорокин возвращается в Петроград и снова приступает к научной деятельности. Страшные 1919 и 1920 годы заняты, поскольку возможно, преподаванием социологии и работой (на память, без источников, потерянных в революцию) над двухтомной «Системой социологии», которая была издана подпольно (с поддельным одобрением цензуры) издательством «Колос». Одновременно П. Сорокин пишет и издает популярные «Учебник общей теории права» и «Общедоступный учебник социологии». После Кроунштадтского восстания, с наступлением Новой Экономической Политики, интеллектуальная жизнь Петрограда ожила, сделались возможными и более открытые выступления, и советская печать порой вступала в открытую полемику с Сорокиным. Однако в конце 1921 года ему было запрещено преподавание; совместно с Бехтеревым и Павловым (достойное и независимое поведение которого по отношению к власти Сорокин особо подчеркивает) они решили исследовать влияние голода на поведение человека. Сорокин с учениками отправились в район Самары и Саратова; «научного исследования» у них не вышло, зато они сделались свидетелями трупоедства и других сцен, которые оставили жуткий отпечаток на всю жизнь. В начале 1922 года П. Сорокин защищает свою «Систему социологии» в качестве докторской диссертации; в мае началось печатание его брошюры о голоде. 23-его сентября он, с группой двухсот пятидесяти других видных русских ученых, был выслан из Советской России.

Наслаждаясь воздухом свободы в Берлине, где в то время процветала эмигрантская культурная жизнь, П. Сорокин получает приглашение от знавшего его еще в дореволюционные годы президента Чехословацкой республики Масарика и на пятый день своего пребывания за границей ужинает на приеме в Пражском замке вместе с президентом, его супругой, Бенешом, и др. Получив государственную стипендию, как и другие русские ученые-эмигранты в Чехословакии, он поселяется с женой в пражском пригороде Черношице. Он занимается в библиотеках, читает лекции, совместно с Аргуновым, Бэмом и Масловым приступает к изданию журнала «Крестьянская Россия». В Праге же, в 1922 и 1923 гг., он пишет цикл лекций «Современное состояние России» и «Очерки социальной педагогики и политики», а также черновик труда «Социология революции», вышедшего по-английски в 1925 году. Стараясь наверстать свое отставшее на несколько лет знакомство с западной научной мыслью, он углубляется в профессиональную работу, чуждаясь эмигрантской «политики». «Я серьезно сомневался в скором падении коммунистического правительства и был твердо убежден, что будущее России будет решаться русскими на родине,

а не эмигрантами, сколь бы ни была высока их умственная и культурная квалификация», пишет он и продолжает: «Занятость работой уберегла меня от пустой траты времени и энергии на стерильные политические диспуты, столь обычные среди беженцев всех великих революций...»

Самому Сорокину не суждено было долго оставаться эмигрантом. В октябре 1923 года он выплывает, через Триест, в Соединенные Штаты, чтобы прочесть здесь курс лекций по приглашению двух американских социологов, Эдварда Хайза из Иллинойского университета и Эдварда Росса из Висконсинского университета. С молодости питавший симпатии к Америке, Сорокин не задумываясь решает здесь остаться. Несмотря на его «ужасный», по его словам, английский язык, которым он наспех занимался в первые трудные месяцы в Нью-Йорке, и несмотря на оппозицию и интриги среди прокоммунистически настроенных профессоров и студентов, его лекции, в общем, получили положительный отклик. Миннесотский университет предложил ему продолжить его преподавательскую деятельность. В Висконсине завязалась его многолетняя дружба с проф. М. И. Ростовцевым, известным историком Греции и Ближнего Востока. Весной 1924 года, под Нью-Йорком, он заканчивает работу над «Социологией революции», пишет публицистический очерк «Страницы из русского дневника» (часть которых включена в его автобиографию) и встречается с приехавшей к нему женой. Летом они совместно переезжают в Миннесоту, где и обосновываются на 6 лет. За эти годы, которые он называет «поистине счастливыми», Сорокин пишет «Социальную подвижность» (1927), «Современные социологические теории» (1928), а также, совместно с соавторами, «Принципы сельско-городской социологии» и «Систематический сборник источников по сельской социологии» в трех томах, финансируемый Министерством земледелия.

Эти труды вскоре создали Сорокину мировое имя среди социологов, хотя реакция на них далеко не была однородной. Автор даже утверждает, что велась организованная кампания за «дискредитацию Сорокина», то ли за антикоммунизм, то ли за ненаучность, то ли по личным мотивам. Такое утверждение, вероятно, преувеличено, но Сорокин признает, что большинство рецензий на его книги в научных журналах носило отрицательный характер (что, конечно, отнюдь не умаляло известность его имени). Наиболее красноречивым признанием его заслуг было то, что в 1930 году Харвардский университет его избрал профессором на установленную там впервые кафедру социологии. Кафедра социологии была вскоре превращена в Отделение социологии, заведующим которым делается Сорокин. Свои первые «харвардские» годы Сорокин посвящает работе над капитальным трудом «Социальная и культурная динамика» в четырех томах, вышедших в свет в 1937-1941 гг. «Динамика», со своим широким, интердисциплинар-

ным подходом, требовала сотрудничества целого ряда специалистов по истории искусства, литературы, народного хозяйства, права, войн и революций, и Сорокин привлек этих специалистов, главным образом, из среды русских ученых за рубежом. Появление в свет «Динамики» снискало Сорокину длинный ряд почетных титулов от научных организаций в Америке и других государствах. Закончив этот труд и тяготясь чисто административной деятельностью, в 1942 году Сорокин слагает с себя полномочия заведующего Отделением социологии в Харварде, которое дало Америке немало талантливых ученых, его учеников.

Под влиянием событий и собственных внутренних настроений в годы войны Сорокин отходит от науки в сторону публицистики, которая никогда не была ему чужда. Выходят в свет его лекции «Кризис нашего времени» (1941), книги «Человек и общество в бедствии» (1942), «Социокультурная причинность, пространство и время» (1943), «Россия и Соединенные Штаты» (1944); уже после войны, но под влиянием тех же настроений, он пишет «Общество, культура и личность» (1947). Ужасы войны и нависшая над миром угроза атомного пожара заставляют его вспомнить латинские слова: «Прежде всего жить — а потом философствовать»; и это сознание приводит его, в заключительной фазе его научной карьеры, к созданию «Харвардского центра по изучению творческого альтруизма».

В личном плане «харвардские» годы Сорокиных сложились вполне счастливо. В 1931 и 1933 годах родились их сыновья — Петр и Сергей. Оба окончили Харвард — один по физике, другой по медицине. Одно время, вспоминает Сорокин, когда к телефону просили «доктора Сорокина», он вынужден был спрашивать, которого из четырех? (Супруга П. Сорокина — биолог по образованию, занималась также научной и педагогической деятельностью). Скучая в городской обстановке Кембриджа по лесам, озерам и лугам Миннесоты (или вологодского края?), Сорокины с 1932-го года поселились в далеком пригороде Бостона, на окраине заповедника в 20.000 га, где П. Сорокин в своей усадьбе занимается садоводством. Из личных знакомств в Бостоне Сорокины ближе всего сошлись с семьей дирижера Сергея Кузевидского (ныне покойного), с которым Сорокин познакомился еще когда оба служили при Временном правительстве — один уполномоченным по музыкальному образованию в министерстве просвещения, другой — секретарем при премьер-министре Керенском.

Основной философский вывод, сделанный Сорокиным из своего жизненного и научного опыта, сводится к тому, что мир переживает глубокий кризис — кризис распада «чувственной» культуры, на смену которой должна прийти культура «идейная». Читая его неоднократно повторяемые тезисы о том, как духовное развитие человечества «отстает» от развития материального, невольно вспоминаешь *Введение* к «Схеме Национально-Трудового Строя» подпольного издания 1943 года, перекликающееся с его

писаниями не только содержанием, но даже интонациями. И если «Схема» видела выход в водительстве духовной элиты, то Сорокин мечтает о времени, когда «правительство политиков» будет заменено «правительством ученых, святых и поэтов». Восставая против господствующих на Западе взглядов, он утверждает, что войны и революции не могут быть прекращены изменением политических учреждений, а только «значительной альтруизацией людей, групп и культуры». Для него очевидно, что в современной обстановке ни церковь, ни другие «идеологические» учреждения, ни наука, ни образование такой «альтруизации» не дают. Вопрос — что же ее может дать, как «производится, накапливается и используется» энергия любви в понимании Нагорной проповеди? Отмечая, что современные общественные науки сосредоточили свое внимание на анализе душевной и социальной патологии, он решает заниматься исследованием душевного и социального здоровья и, в частности, альтруистического поведения.

С помощью пожертвованных известным фармацевтом-филантропом Эли Лилли 145.000 долларов, Сорокин в 1949 году создает свой «Харвардский центр по изучению творческого альтруизма» и привлекает к работе в нем целый ряд врачей, психологов, историков и юристов. За десять лет своего активного существования Центр выпускает два научных сборника: «Исследования в области альтруистического поведения и любви» (1950) и «Формы и техника альтруистического и духовного роста» (1954), а также восемь книг самого Сорокина: «Реконструкция человечества» (1948), «Альтруистическая любовь» (1950 г., статистическая сводка биографических данных о 4.600 христианских святых), «Социальная философия в век кризиса» (1950 г., о Данилевском, Шпенглере, Тойнби, Нортропе, Крэбере, Швайцере, Бердяеве, Шубарте и др.), «С.О.С. : Смысл нашего кризиса» (1951 г.), «Пути и сила любви» (1954 г.), «Моды и причуды в современной социологии» (1956 г.), «Американская половая революция» (1956 г.) и «Власть и нравственность» (1959 г.).

Выйдя на пенсию в конце 1959 года (свою педагогическую деятельность в университете он окончил в 1955 году), Сорокин продолжает выступать на различных съездах и конгрессах и писать статьи, которые намерен выпустить под общим заглавием «Очерки целостной социологии, психологии и философии», а также работать над своим последним трудом — «Социология нравственных явлений и ценностей».

В короткой рецензии, излагающей содержание его автобиографии, не место заниматься критическим разбором научных достижений и философских взглядов Питирима Сорокина. Бесспорно, что многих его читателей шокирует несколько наивное смешение положительной науки и проповеднического пыла, смешение, которому не чужда была Россия ни в девятнадцатом веке, ни теперь. Коробят его читателя, и, в частности, читателя ав-

тобиографии, и другие личные нотки, как непрерывные правоучения и морализаторство, своей назойливостью не уступающие Льву Толстому в его преклонном возрасте; раздражает и повторное утверждение собственною превосходства над не видящей истины толпой, дышащей «выхлопными газами чувственной цивилизации» и нуждающейся (в противоположность автору) в психиатрах. Неуместными кажутся как словесные эффекты в стиле «я не принадлежу ни к какой организованной религии, не состою в болельщиках ни одного футбольного клуба», так и повторные сомнения автора в том, достаточно ли он был продуктивен (это написав с три десятка книг!!). Спранно-неуверенным и двойственным кажется его собственное отношение к западным общественным наукам и их терминологии: он как бы сам не знает, стоит ли их принимать всерьез или нет. И вовсе уж неактуальными в наши шестидесятые годы кажутся отголоски славянофильской идеи о том, что, быть может, Россия ближе к «идейной» культуре будущего, чем якобы декадентский Запад. С одной стороны, все эти штрихи, конечно, оттеняют колорит незаурядной личности автора, дышащей динамикой, упорством, юношескими контрастами пессимизма и оптимизма, решимостью плыть против течения и нежеланием смириться ни с причудами американского быта, ни с фактом первородного преха. Но с другой стороны, эти черты характера создают ненужные плевелы, которые скрывают от многих читателей те многочисленные зерна истины, которые автор в течение своей жизни скопил. Когда несколько рассосется «кризис нашего времени» (кризис, которого, перефразируя Ильфа и Петрова, на самом деле, может быть, вовсе и нет), когда людям надоест летать на мертвую Луну, посылать фотонные ракеты во Вселенную и ломать голову над бездонной сложностью субатомных частиц, сама жизнь их заставит обратить больше внимания на те дела, к которым их призывал проповедник из зырянского села.

Б. Сергеев

Люди культурной миссии

Хотелось бы обратить внимание русской общественности в эмиграции и в России на большое культурное дело, уже много лет ведомое в США русскими литературоведами проф. Глебом Струве и Борисом Филипповым.

Конечно, некоторые российские литературоведы, библиотекари и хра-

Н. Гумилев. Собрание сочинений в четырех томах. Под редакцией проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Том первый. Стихи 1903-1915 гг. Изд-во книжного магазина Viktor Kamkin, Inc. Вашингтон, 1962. Стр. 333.

нителю архивов, вопреки власти, делают все, что в их силах, чтобы спасти для будущего сокровища русской культуры. И если что издается, переиздается или просто хранится, это исключительно их заслуга. Но возможности их крайне ограничены, плавным образом, из-за партийной цензуры.

Что же касается Струве и Филиппова, то они, при почти полном отсутствии средств, вдалеке от архивов и книжных богатств России, скромно и незаметно уже проделали гигантскую работу, которой время несомненно воздаст по справедливости. Их трудами созданы образцовые по полноте, по текстологической тщательности и по строгости научного аппарата издания Клюева, Мандельштама и Пастернака. А теперь вышел первый из четырех томов Гумилева.

Готовятся к выходу новые дополненные издания Мандельштама и Клюева, а также М. Волошина, Заболоцкого, Ахматовой и других.

Первым по времени изданием Струве-Филиппова был однотомник Мандельштама в издательстве им. Чехова. За короткое время он разошелся полностью, несмотря на трудность распространения поэзии на рынке и на скудность средств эмиграции.

Со свойственной им настойчивостью, составители собрали все существующие за рубежом издания, в которых помещены произведения Мандельштама, в том числе и такие редкие, как альманахи «Абракадабра», «Весенний салон поэтов», «Лёт», «Дракон» или журналы «Гермес», «Камена», «Творчество» и многие другие. Не оставили они без внимания ни «Огонек», в котором им удалось обнаружить два стихотворения и целый ряд рецензий, ни даже ежедневные газеты. К сборнику прибавлено 44 страницы примечаний, включающих все существующие разночтения опубликованных текстов.

Это первое издание вобрало в себя все известные до того времени стихи Мандельштама, за исключением пяти текстов, не найденных за рубежом. Приведенная в книге библиография публикаций поэта состоит из 66 номеров, к которым прибавлено 7 номеров переводов на иностранные языки.

Возможно, что рядовому читателю, интересующемуся только текстом произведений, эти технические подробности покажутся утомительными и излишними. Но я счел нужным их привести для того, чтобы дать представление о том труде составителей, к которому с полной справедливостью относится латинское изречение: *labor improbus omnia vincit*.

Новое, дополненное, издание Мандельштама в двух томах включит прозу, для которой не нашлось места в предыдущем, а также большое число неизданных стихотворений, переданных составителям из СССР, где, по-видимому, их неутомимый труд был достойно оценен российскими любителями и знатоками поэзии.

Все вышесказанное относится и к полному двухтомному изданию Клюева. Разве только можно добавить, что оно еще совершеннее и по своей

полноте и по обилию привлеченного, старательно проработанного материала. Здесь библиография состоит уже из 263 номеров, включая и обширную литературу о Клюеве и 62 страницы примечаний, составляющих как бы дополнительную, весьма обстоятельную, талантливо написанную монографию, полную малодоступных сведений о творчестве Клюева. Кроме того, в издание входит обширная работа Б. А. Филиппова, скромно озаглавленная: «Николай Алексеевич Клюев. Материалы для биографии». На самом же деле это блестяще написанная сводка почти всего, что о Клюеве известно. Во второй том вошли духовные песни скопцов, стихотворения учеников Клюева, а также составленный О. Анстей словарь малоизвестных слов и имен, встречающихся в произведениях поэта.

Главной же заслугой этого издания является опубликование дотоле неизвестной поэмы Клюева «Погорельщина» — последней из дошедших до нас, и то благодаря счастливой случайности: текст ее был подарен автором итальянскому слависту профессору Этторе Ло Гатто, что и спасло ее от гибели.

Последнюю же, крупнейшую по размерам и наилучшую, по рассказам всех с нею знакомых, поэму Клюева «Песнь о Великой Матери» приходится, увы, считать потерянной навсегда, как и все стихотворения последнего периода. Это одно из бесчисленных непрощаемых преступлений коммунистической власти перед Россией.

Появление четырехтомного собрания сочинений Пастернака было большим событием русской зарубежной жизни, которое русская и иностранная печать многократно отметила.*)

Последняя работа Струве и Филиппова, для которой им удалось найти издателя — четырехтомное собрание сочинений Гумилева. Если основной труд над Клюевым выпал на долю Б. Филиппова, то заслуга нового издания Гумилева принадлежит, в первую очередь, Г. П. Струве. Выполнен первый том с такой же добросовестностью и эрудицией, как и предыдущие издания. Первый том отличается исчерпывающей полнотой. В примечаниях даны все могущие быть полезными сведения о библиографической судьбе каждой из выпущенных Гумилевым книг. Биографический очерк Г. П. Струве привлекает все налично существующие материалы и свидетельства о Гумилеве, порою противоречивые и отрывочные. Осторожность и трезвость, с которыми автор подходит к их оценке, заслуживают особого внимания, ибо качества эти не так уж часто встречаются в исследовательской работе. Вместе с тем, очерк читается легко и создает живой облик поэта, яркость которого только выштрывает от обилия умно подобранных подробностей.

С большим интересом любители поэзии ждут выхода следующих томов

*) См. С. Сокольников. Несколько изданий сочинений Бориса Пастернака. Грани № 53, 1963 г. — Ред.

Гумилева, а также и дальнейших работ издателей. В заключение приведу выдержку из частного письма Б. А. Филиппова (за что прошу у него всемерно прощения), в надежде помочь его большому делу:

«...Так трудно находить средства для издания, что каждый раз трачу вдесятеро больше сил на отыскание фондов, чем на само соби́рание и редактирование».

Надеюсь, что читатели оценят общенациональное значение трудов Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, патриотов и ученых, которых добром помянет не только эмиграция, но и культурная общественность современной России.

Э. Райс

Ожившая старина

Люди старых поколений, вероятно, хорошо помнят, как скучны и томительны были уроки по отечественной истории, лишь дело доходило до событий татарского ига и княжеских междоусобиц: множество наименований уделов и княжеских имен, множество хронологических дат — и очень мало повествования, знакомящего с состоянием, с духовными недрами, с бытом тогдашней Руси. Ученики из старательных просто заучивали наизусть уроки, чтобы после экзамена с облегчением их забыть. А между тем, это был долгий драматический период в жизни нашего народа — в трудах и муках, под татарским игом, зарождалось и зрело Московское государство, выросшее впоследствии в могучую российскую державу.

По-видимому, этот период не особенно интересовал и писателей на исторические темы. Вспоминается поэма Хераскова «Россиада», вспоминаются исторические романы Загоскина, Лажечникова и Мордовцева, относящиеся к более позднему времени отечественной истории, — и больше, кажется, ничего. В исторической памяти народа, поскольку в ней прошлое отлагается не только в документах, уцелевших обычаях, поговорках, но и в художественных произведениях, осмысляющих и живописующих прошлое, образовался некоторый пробел — удельно-вечевой период на Руси.

Теперь этот пробел в значительной мере заполнен. В далеком Уругвае наш соотечественник, историк и инженер М. Каратеев написал блестящую историческую трилогию на темы событий периода владычества татар; трилогию, имеющую не только художественную ценность, но и научно-познавательный характер; трилогию, основанную на глубоком знании и проникновении в события и дух родной страны, согретую любовью к земле отцов и ее прошлому.

М. Каратеев, романы: «Ярлык Великого Хана», «Карач-Мурза» и «Богатыри проснулись» (книга первая). Издание автора. Буэнос-Айрес, Аргентина.

Перед нами вторая книга трилогии роман «Карач-Мурза». Сразу вызывает интерес и подкупает научно-популяризаторская щепетильность автора: роману предшествует предисловие, затем сжатый очерк об общем политическом положении на Руси и в татарских улусах XIV века; очерк дополнен политической картой и таблицами родословных данных Золотоордынской и Белоордынской династий. Читатель уже заботливо подготовлен, он уже ориентирован в обстановке, на фоне которой будут развиваться события романа.

Переходим к самому роману.

«Первым, как обычно, ударил к ранней заутрене «Лебедь», невеликий, но ясноголосый колокол Чудова монастыря: владыка Алексей, митрополит Московский и всея Руси, проживающий в Чудове, был строгим ревнителем благочестия. Звонари всех храмов московских к этому часу стояли уже на своих звонницах, расплетив вервья колоколов и распятив для устойчивости ноги, в ожидании первого удара чудовского «Лебеда».

Едва лишь проплыл и медленно замер над просыпающимся городом его неназойливый, но уверенный звук — будто властный голос самого владыки-святителя — тотчас ему опозвался царственным басом «Великий Чуд» Успенского собора, лучший из пяти колоколов, отлитых знаменитым мастером Бориской; звонко и радостно ударили ему вслед подголоски Спаса на Бору; словно только и ждал того — подстроился «Иван Лествичник» и, разом проснувшись, рассыпались красным звоном все семь колоколов Архангела Михаила... Торжественным звоном встречая наступающий день, десятки московских храмов разноголосым, но издавна слаженным хором колоколов призывали православный люд к утренней молитве, с коей каждому христианину подобало начинать свои житейские дела».

Вы в древней Москве, читатель, вы у предков! Сжимается историческая перспектива, прошлое становится близким и живым, вас обволакивает, завораживает родная старина. И вы сразу верите автору — ведь столько мелких деталей в картине просыпающейся древней Москвы, что вы сразу угадываете в нем тонкого и добросовестного историка-знатока.

Появляются люди той эпохи: великий князь Димитрий Иванович, митрополит Алексей, другие князья и бояре, служилый и мастеровой люд. Происходит постройка надежных городских стен — ведь время сейчас тревожное. А вот и представитель другого, враждебного мира — знатный татарин Карач-Мурза, посол Великого Хана. Он не настоящий татарин, он сын русского князя Василия, бежавшего от происков врагов в Белую Орду и там женившегося на татарке. И вы сразу начинаете понимать, вернее предчувствовать, что Карач-Мурзе отведена особая символическая роль в романе — он как бы предвещает будущее объединение врагов в едином российском государстве.

Не будем излагать дальнейшего содержания романа «Карач-Мурза», читатель сам прочтет его. Собственно говоря, «Карач-Мурза» не роман, а историческая хроника, изложенная языком и приемами романа (первая книга трилогии «Ярлык Великого Хана» со значительно большим правом может быть названа романом). Но эта хроника читается с неослабевающим интересом: ее персонажи живут и борются, любят и ненавидят, служат Богу и родине или своим интересам, совершают подвиги или предательства. И снова хочется повторить — вы верите писателю-историку, словно свидетелю седой старины, чудесным образом появившемуся среди нас. Сам автор в предисловии к роману «Богатыри проснулись» свидетельствует, что его «книга изобилует почерпнутыми из летописей и документов эпохи подробностями, мало известными рядовому читателю, и фантазии в ней отведено очень немного места». Это замечание автора можно с полным правом распространить на всю трилогию.

Что хочется сказать о романе «Карач-Мурза» и вообще о всей исторической трилогии Каратеева?

Перед читателем развернута большая историческая панорама: Русь показана в жестокой борьбе за свою самостоятельность, за устранение внутренних раздоров, за дальнейший рост. С научной и психологической добросовестностью показаны и соотечественники и враги-татары с их доблестью и страстями: перед читателем, как живые, встают образы Димитрия Донского, первого собирателя земли Русской, митрополита Алексия, подлинного первосвященника Руси, татарских ханов, русских воевод и простых ратников. Особенно хочется подчеркнуть, что Каратеев, может быть, впервые в литературе, широко показал татарский народ того времени: его историю, обычаи, отношение к религии, отношение к побежденным, взаимную борьбу ханов. Читатель татарского происхождения не без удовлетворения прочтет изложение кусочка истории родного народа русским историком и несомненно найдет кое-что и для него новое, ранее неизвестное.

Язык трилогии — отличный литературный язык, в монологах и диалогах придерживающийся старинного речеобразования. Картины природы красочны и полны очарования, описания битв — превосходны.

К числу достоинств трилогии следует отнести ее историко-популяризаторскую ценность. Каждая глава предваряется эпиграфом, содержащим выдержки из старинных летописей и других документов эпохи, положенных автором в основу содержания главы: почти на каждой странице читатель найдет примечания, разъясняющие непонятные слова, понятия и названия татарского или древнерусского происхождения; любители генеалогии найдут даже родословные многих русских дворянских родов. И читатель лишний раз убедится, что Каратеев не только историк и романист, но и научный популяризатор. Обладая громадной эрудицией, Каратеев иногда поле-

мизирует с советскими историками: так, например, он с достаточной убедительностью дает иные исторические образы в. князя Димитрия, митрополита Алексия, чем это принято в советской истории, и выделяет их высокое значение в собирании Русской земли.

И, наконец, еще одно замечание, пожалуй, частного порядка. В писательской манере автора обращает на себя внимание его человеческая и патристическая чуткость к малоизвестным или забытым скромным персонажам истории. Каратеев с заметной гордостью приводит имена русских строителей храмов, укреплений, а на бранном поле — имена второстепенных военачальников, монахов, купцов и сермяжных ратников народных ополчений. В примечании к описанию Куликовской битвы («Богатыри проснулись») сам автор говорит, что он «привел все имена русских людей, участников Куликовской битвы, которые ему удалось обнаружить в летописях и иных документах эпохи. Они заслуживают, чтобы их не забыло потомство».

Общее впечатление от трилогии, помимо указанных отдельных достоинств, — ее исторический оптимизм, незримо разлитый во всех книгах. Русь не раз была в трудных положениях, почти на краю гибели. Но во всех перипетиях исторической судьбы она восставала к новому расцвету — еще более могучая и славная.

Вы дочитываете последнюю страницу романа, трилогии. Несколько часов, дней вы были во власти родной старины, в вас билось русское сердце... Нет, и теперь, в современном лихолетье, не погибнет, не растлится Россия. Порукой тому ее прошлое, страницы которого ожили под пером Каратеева.

Вот в этом-то — в оптимизме, в возбуждении национального чувства и бодрости, может быть, и заключается главное достоинство трилогии.

Л. Дувинг

О религиозно-философском Ренессансе

Книга Н. Зернова «Русский религиозный Ренессанс» заслуживает особого внимания уже по той простой причине, что до сих пор не появилось ни одного труда, систематически посвященного этой теме. Даже для русских читателей, знакомых с произведениями Бердяева, Булгакова, Вышеславце-

ва и других корифеев русского религиозно-философского Ренессанса, книга эта содержит много интересного и порой мало кому хорошо известного материала. Что же касается англо-американских читателей, для которых она предназначена, то книга Зернова, без сомнения, станет незаменимым пособием для изучения русской культуры XX века. Ибо большинство иностранных читателей, даже интересующихся проблемами русской культуры, имеет весьма туманное понятие о том, что в начале этого века в России, по крайней мере, в элите русской интеллигенции, происходил процесс религиозного возрождения. Большинство русских мыслителей XX века, вознесших русскую мысль на мировую высоту, были творцами или последователями религиозно-философского Ренессанса. Имена многих из этих философов хорошо известны на Западе. Однако сама исторически-общественная подпочва, подготовившая в порядке реакции расцвет русской религиозной философии, до сих пор мало исследована. Имеется, конечно, большое количество ценнейших материалов по этой теме, — главным образом, характеристик эпизодов и главных вех этого процесса его участниками. Но лишь в книге Зернова впервые воссоздается целостная картина зарождения и развития русского религиозного обновления — как она рисуется в ее теперешней, уже исторической перспективе.

Общая структура книги Зернова и манера его изложения свидетельствуют о том, что автор не только немало потрудился над своей темой, но и вжился в нее и пережил при создании чувство вдохновения. Книга Зернова, насчитывающая более 300 страниц текста, читается с интересом от начала до конца.

Автор правильно видит в расколе XVII века и в позднейшем отрыве интеллигенции от народа главные исторические факторы, обусловившие собой сам облик русской интеллигенции, ставшей вскоре врагом породившей ее Империи. Ибо борьба против Империи, которую русская интеллигенция вела в течение полутора веков, расшатав и сокрушив, в конце концов, Империю, привела к тому, что интеллигенция стала, в свою очередь, жертвой угнетения и чуть ли не ликвидации ее же крайне-левым флангом — большевистской партией. Сама несчастная любовь интеллигенции к народу, которой она благородно страдала и которая нашла столь яркое выражение в народничестве, — была трагическим явлением в истории России. Ибо интеллигенция пыталась воспитывать народ — долгое время безуспешно — в духе атеизма, материализма и крайнего социализма (все это во имя свободы и равенства!) — с тем, чтобы самой отшатнуться от чудовища, порожденного этими идеями, когда они, наконец, насильственно были привиты на русской почве.

Отчетливо и в должной исторической перспективе описывает автор то полупарализованное (в социально-политическом отношении) положение, в

котором находилась русская православная церковь в течение почти всего ее синодального периода. В то же время Зернов подчеркивает и ту живую струю религиозного подвижничества и взыскания «Града Божьего», которая никогда не иссякала в русской церкви. Именно эта живая душа церкви дала ей впоследствии силу выдержать страшный удушающий натиск воинствующего материализма.

Религиозное обновление, о котором пишет автор, начало, под влиянием огненной проповеди Достоевского и В. Соловьева, приносить реальные плоды с конца XIX и начала XX века. Встречи представителей православной церкви с представителями интеллигенции, начатые по инициативе Мережковских, и переход нескольких исключительно одаренных молодых русских мыслителей «от марксизма к идеализму» и далее — к православному христианству, имели пионерское значение. Эти начинания подготовили собой возврат интеллигенции к церкви, который радикально преобразил и просветил ее облик.

Оздоровительные процессы, начавшиеся в русской культуре в начале века, — сближение интеллигенции с церковью, преодоление пропасти, отделявшей традиционное церковное благочестие от живого потока культурной жизни, наступление новой культурной весны (Серебряный век), — все эти и родственные им явления обрисованы автором четко и с приведением многочисленных характерных деталей и эпизодов этого процесса.

Автор дает краткие и яркие характеристики выдающихся деятелей религиозного возрождения — Бердяева, П. Струве, Булгакова, Франка, Тернавцева, Розанова, Флоренского, поэтов Блока, Белого и В. Иванова (последних в аспекте его темы), — и ряда других, менее известных, но игравших важную роль деятелей этого периода.

Историческая обстановка и общественно-культурная атмосфера того времени описана им с приведением богатого и хорошо подобранного материала.

В двух специальных главах автор описывает судьбы русской православной церкви за границей. Особенно хорошо обрисована им история Христианского студенческого движения, деятельным участником которого он сам был.

В заключительной главе автор так характеризует роль и значение избранной им темы: «Значение христианского Ренессанса XX века можно рассматривать как один из поворотных пунктов в истории русской культуры. Деятели Ренессанса обращались преимущественно к русской интеллигенции, но их призывы имели гораздо более широкое значение...»

И далее: «Русский Ренессанс дал русской церкви целую плеяду замечательных богословов и религиозных философов. Он продемонстрировал, что люди высшего интеллектуального уровня и культуры, хорошо знакомые с

современной философией и наукой, могут быть в то же время преданными членами Церкви и разделять ее верования и обычаи... Интеллектуальная и художественная жизнь России была углублена и стимулирована накануне революции, и целый ряд философов, поэтов и композиторов подняли русскую культуру на высочайший уровень». Автор тут же добавляет, что это религиозное и культурное возрождение захватило лишь элиту страны. Однако он отмечает также, что накануне революции полным ходом шел процесс приобщения к этим высотам духа все более широких кругов русской интеллигенции. Процесс этот, как слишком хорошо известно, был сорван Октябрьским переворотом.

В книге Зернова много интересных, хорошо документированных наблюдений ряда частных аспектов процесса религиозного обновления.

Единственный упрек, который можно сделать Зернову, заключается в том, что он нигде почти не входит, хотя бы в кратком изложении, в самую суть религиозно-философских систем XX века, упоминаемых им мыслителями. Из его книги читатель не выносит конкретного представления о философских учениях Бердяева, Булгакова, Франка и других.

Но уже изложение общей истории русского религиозного возрождения в книге Зернова, несомненно, даст многим читателям стимулы ознакомиться с учениями характеризуемых им мыслителей.

Во всяком случае, книга Зернова восполняет чрезвычайно важный пробел в истории русской культуры XX века. Нет сомнения в том, что многие читатели, особенно студенты и профессора английских и американских университетов, изучающие русскую культуру, получают большую пользу от этой книги, за которую можно только поблагодарить автора. *С. Левичкий*

„Первая боевая организация большевиков“

За шестьдесят лет, отделяющих нас от первой русской революции, большевистские историки и пропагандисты усердно потрудились над фальсификацией событий, связанных с революционным движением 1905-1907 годов.

Советские фальсификаторы не только увеличили до самых фантастических размеров роль РСДРП в подготовке и руководстве революционными событиями (в январе 1905 года число членов РСДРП лишь немногим превышало 8 000, из которых значительная часть жила в эмиграции), не только беззастенчиво исказили множество фактов, связанных с революцией, но и скрыли ряд фактов, проливающих свет на характер и подоплеку деятельности некоторых революционных кругов как в ходе, так и во время подготовки в России революции 1905 года.

С. М. Познер. «Первая боевая организация большевиков». Изд-во «Старый большевик», Москва, 1934 г.

Изданная в 1906 году, наделавшая много шума, базирующаяся на документальных данных брошюра «Изнанка революции» вскрыла глубоко идущую закулисную роль японского правительства и его европейской агентуры в российских событиях 1905-1906 годов.

До 1917 года и в первые годы после захвата власти большевики упорно отрицали участие японцев в финансировании революции 1905 года, и если вообще где-либо в советской литературе указывалось на иностранные источники финансирования революционного движения в России, то в таких случаях назывались «некоторые американские круги», которые, кстати сказать, приняли позднее довольно значительное участие в финансировании второй русской революции — революции 1917 года.

Вышедшая в 1934 году в Москве в издательстве «Старый большевик» и вскоре изъятая советской цензурой книга «Первая боевая организация большевиков» проливает некоторый, правда, весьма скудный, свет на вопрос финансирования мероприятий по подготовке революции 1905 года, финансирования широко поставленного и блестяще организованного снабжения революционных кругов оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и различным военным снаряжением.

Составительница и редактор книги, С. М. Позенер, не скрывает того, что японские средства использовались российскими революционерами для закупки оружия; наоборот, Позенер приходит, на основании анализа цитируемых в книге документов, к выводу, что участие японских кругов в финансировании революции 1905 года является бесспорным фактом. Однако, придя к такому выводу, Позенер использует его для доказательства «национально предательской роли буржуазных и мелкобуржуазных партий» и одновременно выгораживает большевиков, якобы уже в 1905 году разгадавших «предательскую роль мелкобуржуазных партий» и не имевших с ними ничего общего.

Приведенное в книге «Первая боевая организация большевиков» подробное описание, данное в нескольких вариантах, авантюристического предприятия с пароходом «Джон Графтон» дает нам возможность, с одной стороны, опровергнуть утверждения как Позенер, так и ряда других советских историков и пропагандистов, об отсутствии тесной связи и координации действий между большевиками и т. н. «мелкобуржуазными революционными партиями», с другой же стороны, доказать непосредственное участие большевиков в афере с пароходом «Джон Графтон», что указывает на причастность их к широкому использованию японских средств в их революционной деятельности в 1905 году.

II

28 августа 1905 года департаментом полиции в Петербурге была получена из Гельсингфорса телеграмма:

«26 августа близ Якобстада в море взорвался пароход с контрабандными боевыми припасами. Обнаружено много плавающих ружейных прикладов и шлюпка с магазинными ружьями. Подробности донесу.

Ротмистр Комендантов».

Подробности же этого весьма интересного дела, официальное начало которому дала вышеприведенная телеграмма, сводятся к следующему:

В Лондоне, 28 июля 1905 года, мелким торговцем Робертом Ричардом Диккенсоном было куплено у фирмы «Стивенсон, Кларк и Ко» судно «Джон Графтон», вмещающее 650 тонн полного груза, за которое было уплачено 100.000 франков.

После приобретения судна Диккенсоном, который как судовладелец в лондонских кругах был неизвестен, командование «Джоном Графтоном» принял капитан Ян Страутман, член латвийской СДРП, политический эмигрант из Вильянди, известный в кругах российских социал-демократов под кличкой «Каптес».

«Джон Графтон», не принимая груза в лондонском порту, вышел под командой Страутмана в море и 31 июля стал на якорь на рейде Флиссингена — маленького голландского городка в устье Шельды.

Суда, останавливающиеся во Флиссингенской бухте, принуждены были из-за мелководности становиться на якорь далеко от берега, настолько далеко, что никто, даже при помощи сильного бинокля, не мог следить с берега за происходившим на судне.

Во Флиссингене произошла смена команды судна, вышедшей из Лондона на «Джоне Графтоне».

При наступивших сумерках самая большая весельная лодка судна отправилась на берег и вскоре вернулась обратно, но с другими гребцами. Такие рейсы повторялись несколько раз, и экипаж был обменен, причем в городе никто не обратил внимания на такую, не совсем обычную смену судового экипажа. Прибытие нового состава экипажа было обставлено таким образом, что, кроме капитана, никто из старой команды не мог видеть вновь прибывших.

Сменив экипаж, «Джон Графтон» снова вышел в море и стал на якорь в Большом Рёселе, между островами Херм и Сарк (группа Нормандских островов в заливе Сен-Мало) за пределами французской трехмильной зоны.

2 августа к стоящему на якорь «Джону Графтону» подошел пароход «Фульхам», вышедший из Лондона. «Фульхам» был куплен у пароходства «Ллойд» японской фирмой и вскоре после описываемых событий был переименован в «Ункай Мару».

В открытом море произошла перегрузка пароходов. С «Фульхама» на «Джон Графтон» было спущено 35.000 винтовок, среди них винтовки системы «Росс» и системы «Веттерлей», а также 7.500.000 винтовочных патронов.

После разгрузки «Фульхам» снялся с якоря и ушел в неизвестном направлении, а к «Джону Графтону» подошел пароход «Эллен» из Копенгагена, перегрузивший большую партию револьверов и револьверных патронов. Оружие и боеприпасы, привезенные «Эллен», прибыли в Копенгаген из Германии пароходом «Элла», пришедшим в конце июля из Гамбурга с фрагтовыми документами фирмы «Бакке и Вильгельмсен».

Перегрузка пароходов прошла незамеченной французскими береговыми властями, и единственный свидетель, экипаж французского рыболовного судна, проходившего случайно мимо, не обратил на перегрузку ни малейшего внимания.

Нагрузив оружие, «Джон Графтон» поднял американский флаг и взял курс на северо-восток.

В конце августа пароход достиг Балтийского моря и вошел в Финский залив. 26 августа «Джон Графтон», направляющийся к берегам Финляндии, был обнаружен пограничниками, которые на катерах стали объезжать судно.

На пароходе кончился запас угля, уйти было трудно, и, лавируя в прибрежных шхерах, пытаясь скрыться от пограничной охраны, «Джон Графтон» сел на мель.

Экипаж парохода покинул на парусной шлюпке судно, на котором в 4 часа дня произошел сильный взрыв, в результате которого корма и средняя часть судна скрылись под водой.

Прибывшие пограничники и рыбаки нашли в уцелевшей от взрыва части судна большое количество винтовок и три ящика с шестизарядными револьверами. Призванные для исследования затонувшей части судна водолазы обнаружили в среднем трюме много ящиков с оружием и боеприпасами.*).

III

Один из главных организаторов описанной выше экспедиции парохода «Джон Графтон», Конни Зиллиакус**), в своей книге «Революция и контрреволюция в России и Финляндии», описывает весьма подробно это дело.

*) Описание дается по четырем версиям истории с экспедицией парохода «Джон Графтон» из книги «Первая боевая организация большевиков», стр. 259-270.

**) Конни Зиллиакус, основатель и руководитель «Финской партии активного сопротивления». Партия близко стояла к русским эсерам.

Из книги К. Зиллиакуса явствует, что в 1905 году, на ряде совещаний представителей российских революционных партий, участники этих совещаний, хорошо осведомленные о ходе событий в различных частях империи, пришли к заключению, что общее и одновременное восстание в различных частях страны зависит, главным образом, от первого взрыва, который должен быть достаточно внушительным. Организация сильного революционного взрыва в Петербурге считалась всеми наиболее целесообразной.

Для подготовки восстания в Петербурге был организован комитет, о составе которого известно, что в него, наряду с другими, входили Зиллиакус, Азеф и Гапон.

Комитет вырабатывает детальный план восстания, намечавший захват власти в Петербурге. Оно должно было послужить сигналом для одновременного взрыва в остальных местах...

План был весьма смел и фантастичен, ибо, как пишет Зиллиакус в своей книге, «революционеры не имели в своем распоряжении достаточно людей, сторонники их не были сосредоточены в одном месте и еще менее они были организованы, они были рассеяны по городам и весям опротившей империи, и возможность в относительно короткое время сплотить их в достаточно многочисленные организации казалась невероятной»...

Планом предусматривалось, что необходимое оружие, снаряжение и боеприпасы должны были быть закуплены за границей на средства, полученные Кони Зиллиакусом якобы из «специального пожертвования американских миллиардеров на вооружение народа», и доставлены на грузовом судне в заранее условленный пункт на северном побережье Финского залива. Там груз должен был быть распределен между двумя другими судами, и все три судна должны были отправиться в Петербург и пристать в заранее определенный день в точно установленных пунктах различных рукавов Невы.

Выполнение этой части плана поручалось Кони Зиллиакусу, в руках которого находились средства финансирования революционной работы...

В плане данной статьи нас интересуют два вопроса: вопрос происхождения средств, которыми распоряжался Зиллиакус и на которые рассчитывали «революционные партии», разрабатывая проект петербургского восстания, и вопрос связи Зиллиакуса с большевиками, т. е. причастность последних к использованию средств, находящихся в руках вождя финских активистов.

В книге «Первая боевая организация большевиков» мы находим данные, не оставляющие ни малейшего сомнения в происхождении средств, которыми финансировалось авантюристическое предприятие с пароходом

«Джон Графтон», а дело с «Джоном Графтоном» было частью задуманного плана петербургского восстания в 1905 г.

Задолго до начала русско-японской войны Зиллиакус знакомится с японским военным атташе в России — Акаши, который весьма благосклонно отнесся к революционеру, мечтающему о свержении российского самодержавия. Зиллиакус знакомит Акаши также со своим друзинским единомышленником — Деканози, и эта тройка заключает союз, основой которого является стремление партнеров ослабить российскую государственную систему.

С началом русско-японской войны Акаши покидает Россию, но остается в Европе и поддерживает постоянную связь со своими друзьями Зиллиакусом и Деканози, при помощи конспиративной переписки — телеграммами, письмами, записками, часть которых впоследствии попала в руки царского правительства.

Зиллиакус получает от Акаши опромные, по тогдашнему времени, средства, которые исчисляются миллионами рублей*) и которые Зиллиакус получал не только для финансирования работы собственной партии, но и для передачи ряду других революционных организаций. Так, в одном из донесений Азефа сообщается: «Зиллиакус имеет сношения с японским посольством и доставил большие суммы финляндцам и итальянкам» («Былое» № 1, июль 1917 г. «Донесения Евно Азефа», стр. 221.).

Письмо Зиллиакуса, адресованное Акаши, от 25 апреля 1905 года, написанное из Копенгагена, является наилучшим подтверждением финансирования плана восстания в Петербурге и предприятия с пароходом «Джон Графтон» японскими средствами. Вот текст этого письма:

«Дорогой друг!

Благодарю вас за письмо, которое пришло чересчур поздно по случаю праздников для ответа из Стокгольма. Что касается моего путешествия, то я намерен уехать отсюда в пятницу вечером в Гамбург, где пробуду один день, уеду в субботу вечером и прибуду в Париж в понедельник полудни. Там я останусь, по всей вероятности, очень недолго перед поездкой в Лондон, но если вам возможно вручить мне в Париже 4000 фунтов за счет тех, кому я обещал как результат сбора в Америке, я буду вам очень благодарен. Приготовления идут превосходно, и деньги тают, как снег. Надеюсь, вам вручили обещанное донесение перед вашим отъездом, оно отправлено отсюда в субботу вечером. Как только приеду в Париж, я

*) На предприятие «Джон Графтон» (приобретение парохода и закупку оружия) было затрачено около 1.000 000 рублей.

тогда же сообщу вам свой адрес. До свидания через неделю или приблизительно.

Дружески ваш Конн Зиллиакус».*)

С. Позенер в книге «Первая боевая организация большевиков», анализируя известные ей документы, подчеркивает, что не может быть сомнения в том, что Акаши предоставлял средства для революционной работы. С. Позенер пишет: «Не ограничиваясь одной перепиской, Зиллиакус, Акаши и Деканози назначают друг другу свидания, местом которых служат Париж, Лондон, Гамбург, Берлин, Копенгаген, Женева. По-видимому, они очень спешат с этим делом, и в конце переписки появляется сообщение, что в середине июля пароход куда-то отходит. Ясно также, что источником средств для этого таинственного предприятия является Акаши... (курсив мой. — О. К.). Из приведенных выше фактов, наводящих на сопоставления, является также и тот, что не был ли Деканози, принимавший самое активное участие в закупке оружия, тем самым лицом, на имя которого был куплен в Лондоне пароход «Джон Графтон» и который в материалах архива называется Диккенсон...» (стр. 274).

Итак, на первый поставленный нами вопрос о происхождении средств, которыми финансировались, по меньшей мере, некоторые планы российских революционных партий в 1905 году, дан ответ — средства эти были японского происхождения.

Последнее опровергнуть не в силах даже советские историки, которые однако пытаются выставить дело таким образом, будто бы японцы финансировали деятельность «буржуазных и мелкобуржуазных партий», с «темной, национально-предательской возней» которых большевики не имели ничего общего. Так, цитируя письма Акаши и Зиллиакуса, С. Позенер замечает: «Письма эти, появившиеся в 1906 году, в брошюре «Изнанка революции», произвели впечатление злобной инсинуации, но теперь, когда явилась возможность исследовать этот вопрос, они производят впечатлительные правдоподобия и выявляют не «изнанку революции», а изнанку мелкобуржуазных партий...» (стр. 282).

Даже поверхностный читатель книги «Первая боевая организация

*) В связи с этим письмом следует обратить внимание на следующее утверждение А. В. Лучинского в его книге «Великий провокатор Евно Азеф» (стр. 38): «Деньги на это предприятие («Джон Графтон» — О. К.) были взяты из специального пожертвования на вооружение народа от американских миллиардеров в сумме миллиона франков, переданных через финского революционера Конни Зиллиакуса». Такова была официальная версия о происхождении средств в широких эсеровских кругах, но это отнюдь не означает, что руководство эсеров не знало действительного источника финансирования.

большевиков» с недоумением принимает к сведению делаемые С. Познер выводы, из которых следует непричастность большевиков к деятельности «мелкобуржуазных партий» вообще и к предприятию с пароходом «Джон Графтон» в частности, ибо из воспоминаний старых большевиков, участников событий 1905 года, помещенных в книге, становится ясным, что последние не только имели ряд деловых контактов и связей с Зиллиакусом, Азефом и Гапоном, но и принимали самое активное участие в деле «Джон Графтон», что исключает их неведение касательно происхождения средств, которыми финансировалось это дело.

Так, В. Е. Ландсберг, член РСДРП, в своих воспоминаниях пишет:

«Герман Федорович (Н. Е. Буренин)*) подготавлил меня также к предстоящему приходу груза оружия на пароходе «Джон Графтон», но я, по совести говоря, плохо верил в возможность справиться с таким большим транспортом, не обратив на себя внимание полиции. От Буренина я знал, дело это до русской границы предложено устроить путем целого каравана финских возчиков, которые должны были подвезти оружие в имение «Гриши», где готовились соответствующие хранилища... помню, затем, что по хранению оружия и т. п. мне пришлось быть на Волковом кладбище (лютеранском) и я по поручению организации (РСДРП — О. К.) ходил туда и удостоверился путем личного осмотра в пригодности избранного места хранения. Это был склеп с подвижной надгробной плитой, и к нему, как было намечено, надо было подвезти оружие через брешь задней ограды, выходившей на малопосещаемую проезжую дорогу. Сторож был латыш или эстонец, фамилии его не помню. Это хранилище предполагалось использовать для ожидавшейся большой партии оружия с парохода «Джон Графтон» (В. Е. Ландсберг, «Повседневная конспиративная работа в 1905 г.» — «Первая боевая организация большевиков», стр. 174-175.).

Что же касается личных связей большевиков с участниками подготовки петербургского восстания из «мелкобуржуазного лагеря», то тут интересно следующее замечание того же Ландсберга: «Летом 1905 года «Герман Федорович» просил меня помочь ему в сопровождении М. Горького для очень важной поездки вглубь Финляндии. Впоследствии я узнал, что целью поездки было свидание М. Горького с Гапоном» (стр. 174).

М. М. Литвинов в своих воспоминаниях («Первая боевая организация большевиков» — стр. 110-111) сообщает, что Н. Е. Буренин передал ему летом 1905 года поручение ЦК РСДРП принять организацию выгрузки оружия с парохода «Джон Графтон».

Литвинов пишет: «... Я выработал следующий план: на берегу острова заранее заготавливается достаточное количество глубоких ям, способных

*) Н. Е. Буренин — большевик, занимавшийся в 1905 году снабжением оружием и боеприпасами.

вместить все количество привезенного оружия. Пароход с потушенными огнями прибывает к острову ночью и выпружает оружие на собственных лодках через посредство собственной же команды. На берегу люди выпружают оружие из лодки и прячут его в заготовленные ямы.

В книге «Первая боевая организация большевиков» читатель находит, кроме вышеприведенных, целый ряд других указаний на непосредственное участие большевиков в деле «Джон Графтон», в последней и самой ответственной части его, а также на наличие деловых связей и контактов между «мелкобуржуазными партиями» и большевиками, которые со стороны последних осуществлялись М. Горьким, Л. Красиным, Н. Бурениным и П. Румянцевым.

Приведенные выше цитаты из воспоминаний старых большевиков говорят сами за себя, они полностью опровергают утверждения о неучастии большевиков в деле «Джон Графтон», а следовательно подтверждают наличие теснейшей связи последних с «мелкобуржуазными партиями». Таким образом и на второй, поставленный нами, вопрос ответ ясен.

К сожалению, ограниченность источников — мы вынуждены пользоваться лишь тем, что прошло через руки советских цензоров — не позволяет полностью вскрыть тех связей большевиков, используя которые они пытались уже в 1905 году достичь поставленных целей. Но даже те советские материалы, которые имеются в нашем распоряжении, дают возможность доказать, что большевики, даже в период их наивысшей «идейности», не брезговали никакими средствами для достижения своих целей.

О. К.

Новое о Жанне д'Арк

История делается целыми народами и отдельными личностями. Как в калейдоскопе, прошли перед лицом времени мудрые правители, гениальные полководцы, фанатичные вожди и коварные тираны. Но только несколько раз на экране истории метеорами вспыхивали великие и непонятные для нас фигуры, совершали чудесные деяния и вновь уходили в небытие, как гости из какого-то чужого, вышестоящего мира.

Такой личностью была Жанна д'Арк, прозванная Орлеанской девой. Двадцатилетняя крестьянская девушка из деревушки Домреми на границе Шампани и Лотарингии остановила победоносное шествие англичан, подняла национальный дух французов и вернула фактически утерянную корону слабому и нерешительному королю Франции Карлу VII.

Жанна д'Арк родилась 6 января 1412 года, 28 апреля 1429 г. семнадцати лет одрнула она одержала первую победу, прорвавшись со своим отрядом в осажденный англичанами Орлеан. В мае 1430 года она попала в плен к

англичанам и была сожжена 30 мая 1431 года по приговору трибунала, составленного из находившегося под английским контролем духовенства под председательством Пьера Кошон (Cauchon), епископа Бовезского (Beauvais). 7 июля 1456 года Жанна д'Арк была посмертно реабилитирована на новом процессе, а 16 мая 1920 года причислена Папой Римским к лику Святых. Такова короткая хронология истории Орлеанской девы. Вокруг нее сложилось множество легенд и преданий. О Жанне д'Арк написано множество книг, лучшие артистки мира играли ее роль в многочисленных фильмах. Теперь, пятьсот лет после совершившихся событий, трудно отличить правду от фантазии, действительные факты от легенды.

К счастью, во Франции почти полностью сохранились протоколы обоих процессов: осуждающего и реабилитационного. Сейчас эти протоколы изданы в общем сборнике*).

Уже то, что в протоколах первого процесса подробно описывается процедура суда Инквизиции, представляет большой интерес для современных читателей. Но главная ценность протоколов в том, что по ним можно восстановить образ Жанны д'Арк, не искаженный последующими столетиями.

Во время первого процесса ученые мужи Парижского университета и католической церкви пытаются запутать Жанну, вызвать противоречия в ее показаниях, чтобы придать хоть тень законности своему приговору, заранее продиктованному англичанами.

Простая крестьянская девушка, образование которой заключалось, как выяснилось в начале процесса, только в знании трех молитв, держит себя перед судом высшего духовенства с необыкновенным достоинством и смелостью. Она категорически отказывается дать обещание не пытаться бежать из тюрьмы.

Как известно, Жанна осознала свое призвание под влиянием таинственных голосов: ангелов и Святых Маргариты, Екатерины и Михаила. Судьи упорно пытаются добиться признания, что голоса исходят от темных сил, а не от святых, или хотят вселить в сердце девушки сомнения, но Жанна отвечает с такой твердой верой в свое призвание, что вопросы и высказывания судей звучат как беспомощный и жалкий лепет. Никакими уловками им не удастся обить или смутить Жанну. Приведу несколько примеров (перевод мой — В. Ц.):

«Один из судей: Жанна, нуждается ли вы в исповеди, если верите откровению ваших голосов, что будете спасены?

Жанна: Я думаю, что если бы я была в состоянии смертного греха, то Святые Екатерина и Маргарита меня тотчас же оставили. Всё же я считаю, что никогда нельзя отмыть свою совесть добела.

*) *Der Prozess Jeanne d'Arc. Akten und Protokolle 1431-1456.* Deutscher Taschenbuch Verlag. München. 232 стр.

Один из судей: Разве Бог ненавидит англичан?

Жанна: О любви или ненависти Бога к англичанам или о том, что он сделает с их душами, я не знаю. Но я хорошо знаю, что они будут изгнаны из Франции, за исключением тех, которые погибнут здесь, и что Бог пошлет победу французам над англичанами.

Один из судей: Но Бог был на стороне англичан, когда они имели успех во Франции?

Жанна: Я не знаю, ненавидел ли Бог французов, но Он допустил их поражение, чтобы наказать за их грехи.»

Читая эти диалоги, трудно поверить, что 20-летняя крестьянка может так ловко парировать вопросы ученых Парижского университета.

Под давлением судей и под угрозой пыток Жанна д'Арк была вынуждена подписать составленное за неё признание, в котором она отказывалась от своих видений и признавала себя обманщицей и еретичкой. Через четыре дня она обрела вновь силу отказаться от ложного признания.

Жанна умерла на костре, окруженная врагами, но полная мужества и веры. Последним ее словом, как показали потом свидетели казни, было имя Христа.

В течение второго процесса, начатого по инициативе Карла VII и с благословения папы Мартина V в Соборе Парижской Богоматери, Жанна д'Арк была полностью оправдана от возложенных на нее обвинений.

Вся жизнь Орлеанской девы была реконструирована во время процесса, допросу подвергались люди, знавшие ее с самого детства и до казни.

Я не буду касаться многочисленных высказываний о высокой нравственности Орлеанской девы; ее целомудрие и смирение были особенно показательны в годы, когда папы и епископы имели любовниц, а короли и придворные, посещая какой-либо город, в первую очередь направлялись в публичные дома, содержащиеся за счет городских управлений.

Большой интерес для истории представляет роль Жанны д'Арк как военачальника. То, что ее непоколебимая уверенность в победе и ее прекрасная девичья фигура в блестящих доспехах впереди войска могли воодушевить французов и повести их на подвиги, вполне понятно. Но ее тактические и стратегические способности не поддаются рационалистическому объяснению.

«Жанна была молода и проста, говорит о ней старый испытанный воин — герцог Аленсонский (Alençon), но в военном искусстве она прекрасно разбиралась. Она так же хорошо владела копьем, как и умением сформировать войско и составить план расстановки отдельных единиц, особенно артиллерии; все удивлялись, как она распоряжалась с уверенностью и расчетом, будто вела войны в течение 20 или 30 лет.»

Примерно то же говорит рыцарь д'Арманьяк: «Вне боя она (Жанна —

В. Ц.) была простой и скромной, но в применении войск и управления ими, расстановке их перед битвой и ободрении солдат она вела себя как самый опытный командир в мире и лучший военно-стратегический эксперт ее времени».

Во всяком случае, военное руководство англо-французской войной находилось до конца в руках Жанны д'Арк, и все, начиная с короля и кончая солдатом, следовали беспрекословно ее указаниям и приказам.

Но наиболее интересный и наиболее спорный вопрос — это наличие сверхъестественных мистических способностей у Жанны д'Арк.

Обыкновенно именно мистические явления подвергаются наибольшим искажениям на протяжении истории и вызывают больше всего сомнений. Но в данном случае сопоставление двух процессов, целью одного из которых было увеличение подсудимой в колдовстве, позволяет как-то восстановить прошедшие события и с этой точки зрения.

Жанна начала свою деятельность под влиянием голосов и явлений святых, которые сообщили ей о ее призвании и снабжали ее советами до конца. Жанна безошибочно узнавала людей, которых она не видела никогда перед тем, по ее указанию был найден меч, закопанный за алтарем в Фиербуазской часовне, о котором не знал никто.

Особенно интересна история с «оживлением» ребенка в городе Lagny. Вот как просто и лаконично Жанна сама описывает этот случай.

«Ему (ребенку — В. Ц.) было три дня от роду. Его привезли в Lagny к образу Богоматери. Мне сказали, что все девушки города собрались перед образом. Меня просили помолиться Богу и Божьей Матери, чтобы они даровали младенцу жизнь. Я пошла туда и молилась вместе с другими. И наконец младенец стал подавать признаки жизни, он три раза зевнул, его немедленно окрестили, после чего ребенок умер и был похоронен в освященной земле. В течение трех дней, как мне сказали, он не подавал признаков жизни. Он был черен, как мое одеяние, но когда ребенок зевнул, краска начала возвращаться к нему. Я стояла на коленях вместе с другими девушками перед иконой Божьей Матери и молилась».

Голоса и видения являются симптомом нескольких психических заболеваний, в первую очередь параноидной формы шизофрении, но когда они не сопровождаются распадом личности и когда их предсказания сбываются — современная психиатрия становится в тупик. Только парапсихология, приобретающая все большее значение, занимается изучением подобных явлений. Вероятно, с развитием этой науки будет пролит свет и на неповторимый феномен Жанны д'Арк, девушки из деревушки Домреми.

В. Цветков

Хронология важнейших событий

(январь-июнь 1964 г.)

- 1.1. — Президент Кипра архиепископ Макариос объявил о расторжении гарантийно-союзного договора с Англией, Турцией и Грецией.
 - Прекратила существование и распалась на составные части федерация трех британских протекторатов в Африке: Северной Родезии, Южной Родезии и Ньясаленда.
- 4.1. — Поездка папы Павла VI в Палестину (по 6. 1.).
- 5.1. — Встреча папы Павла VI с патриархом Афиногором в Иерусалиме.
- 7.1. — Багамские острова, принадлежащие Великобритании, получили внутреннее самоуправление.
- 8.1. — Первое послание президента Джонсона конгрессу США о положении страны.
 - Умер бывший австрийский канцлер Юлиус Рааб.
- 9.1. — Кровавые столкновения в зоне Панамского канала между панамской молодежью и североамериканскими охраняемыми войсками.
 - Поездка Чжоу Энь-лая в Тунис, Гану, Мали, Гвинею, Судан, Эфиопию, Сомали (по 5.2.).
- 11.1. — Раскол в Итальянской социалистической партии. Образование «Итальянской социалистической партии пролетарского единства».
- 12.1. — Захват власти в Занзибаре левыми элементами. Провозглашение республики.
- 13.1. — Организация Американских Государств образовала комиссию по урегулированию конфликта между Панамой и США.
 - Поездка итальянского президента Сеньи в США (по 18.1.).
 - Конференция 13-ти арабских государств в Каире (по 16.1.).
- 15.1. — Поездка Эрхарда в Англию (по 16. 1.).
 - Лондонская конференция о Кипре.
 - Британская колония Белиз (британский Гондурас) получила внутреннее самоуправление.
- 16.1. — Поездка Роберта Кеннеди в Токио, Манилу, Куала-Лумпур, Джакарту, Лондон (по 27.1.).
- 17.1. — Панама отозвала из США всех своих представителей и потребовала отзыва североамериканских дипломатов из Панамы.
- 20.1. — Военный мятеж в Танганьике .
- 21.1. — Возобновилась работа Комитета по разоружению в Женеве.
- 23.1. — Военный мятеж в Уганде.
- 24.1. — Военный мятеж в Кении.
- 25.1. — Усмирительные операции британских войск против мятежных солдат в Танганьике, Уганде и Кении.
- 26.1. — Поездка канцлера ФРГ Эрхарда в Италию (по 30.1.).
- 27.1. — Франция признала Китайскую Народную Республику.
- 28.1. — Американский учебный самолет сбит над территорией Советской зоны Германии.
 - Поездка генерального секретаря У Тана в Африку (по 5.2.).
- 29.1. — Опубликован «Меморандум правительства СССР о мерах, направленных на ослабление гонки вооружений и смягчение международной напряженности».

- США запустили при помощи ракеты «Сатурн-1» спутник весом около 17 тонн.
- 30.1. — Переворот в Южном Вьетнаме. Генерал Нгуен Кхань арестовал президента Зыонг Ван Миня и премьер-министра Нгуена Нгок Тхо.
- 30.1. — СССР запустил одной ракетой два спутника: «Электрон-1» и «Электрон-2».
- США запустили космический корабль «Рейнджер-6» на Луну.
- 3.2. — На основании данных всенародного голосования Гана объявлена однопартийным государством.
- 7.2. — Бои на границе между Сомали и Эфиопией.
- 8.2. — Образовано правительство Южного Вьетнама во главе с премьер-министром Нгуень Кхань. На пост президента назначен Зыонг Ван Минь.
- 10.2. — Визит британского премьер-министра Хьюма в Оттаву и Вашингтон (по 14.2.).
- Свидание между филиппинским президентом Магасапалом и малайзийским премьер-министром Тунку Абдул Рахманом в Пном-Пене.
- Примирение между арабами и курдами в Ираке.
- Пленум ЦК КПСС по вопросам интенсификации сельскохозяйственного производства (по 15.2.).
- 11.2. — Китайская Республика (Тайвань) порвала дипломатические отношения с Францией.
- 12.2. — Конференция министров иностранных дел и обороны африканских государств в Дар-эс-Саламе.
- 13.2. — Кровавополитные схватки между греками и турками в Лимасоле на Кипре.
- 14.2. — Поездка Эрхарда в Париж (по 15.2.).
- 17.2. — Военный переворот в Габоне.
- 19.2. — Подписано соглашение между Алжиром и Марокко об урегулировании пограничного конфликта.
- Визит итальянского президента Сеньи во Францию (по 21.2.).
- Французские войска восстановили режим президента Леона Мба в Габоне.
- 22.2. — Поездка филиппинского президента Магасапала в Индонезию.
- 25.2. — Австрийский канцлер Горбах ушел в отставку.
- 29.2. — В Никозии подписано соглашение о воздушном сообщении между Кипром и СССР.
- 1.3. — Конголезский президент Касавубу объявил о своем решении не созывать парламента до выработки новой конституции.
- 2.3. — Встреча лидера английских социалистов Вильсона с президентом США Джонсоном в Вашингтоне.
- 3.3. — Переговоры между делегацией Румынской рабочей партии и делегацией Коммунистической партии Китая в Пекине (по 10.3.).
- 4.3. — Резолюция Совета Безопасности о создании вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (сроком на три месяца).
- 6.3. — Умер греческий король Павел I. На престол вступил наследный принц Константин.
- 7.3. — Иранское правительство Алама ушло в отставку.

- 8.3. — Новое иранское правительство Хасана Али Мансура утверждено шахом.
- 10.3. — Американский самолет сбит над Советской зоной Германии.
- 13.3. — Свидание алжирского президента Бен Беллы с французским президентом де Голлем в Париже.
- 14.3. — Джек Руби, застреливший Ли Освальда, предполагаемого убийцу американского президента Джона Кеннеди, судом присяжных в Далласе приговорен к смертной казни на электрическом стуле.
- 16.3. — Визит де Голля в Мексику (по 19.3.).
— Коммюнике об установлении дипломатических отношений между СССР и Республикой Конго (Браззавиль).
- 19.3. — Поездка британского премьер-министра Хьюма в Нигерию (по 20.3.).
— Умер Норберт Винер, основоположник кибернетики.
- 21.3. — Подписан договор о дружбе между СССР и Йеменской Арабской Республикой.
- 23.3. — В Женеве открылась Конференция ООН по вопросам торговли и развития.
- 28.3. — В Бирме запрещены все партии, кроме правящей партии «Бирманский путь к социализму».
- 29.3. — Кронпринц Фейсал объявлен регентом Саудовской Аравии.
- 31.3. — Военный переворот в Бразилии.
— Визит советской партийно-правительственной делегации, во главе с Хрущевым, в Венгрию (по 10.4.).
- 1.4. — Забастовка врачей в Бельгии (по 17.4.).
- 3.4. — Соглашение о восстановлении дипломатических отношений между Панамой и США.
— Опубликованы постановление пленума ЦК КПСС от 15 февраля 1964 года «О борьбе КПСС за сплоченность международного коммунистического движения» и доклад Сулова 14.2.64 г.
- 5.44. — Умер американский генерал Дуглас Макартур.
- 9.4. — Конференция СЕАТО в Маниле (по 15.4.).
- 11.4. — Маршал Умберто Кастело Бранко избран президентом Бразилии.
- 13.4. — Визит польской партийно-правительственной делегации в СССР (по 16.4.).
- 15.4. — Коммюнике о переговорах иорданского короля Хусейна с президентом США Джонсоном в Вашингтоне.
- 19.4. — Военный путч в Лаосе. Образование «Революционного комитета национальной армии», правой ориентации, во главе с генералом Купрасит Абхай.
- 20.4. — Правительства СССР и США объявили о сокращении производства ими сырья для ядерного оружия.
— Установлены дипломатические отношения между Индонезией и Северной Кореей.
- 21.4. — Правительство Великобритании объявило о сокращении производства сырья для ядерного оружия.
- 22.4. — Соглашение об образовании союза между Танганьикой и Занзибаром.
- 24.4. — Соглашение между правительством Суванна Фумы и «Революционным комитетом национальной армии» в Лаосе.
- 25.4. — Парламент Танганьики и Революционный совет Занзибара ратифицировали договор об объединении обоих государств.

- Визит алжирского президента Ахмеда Бен Беллы в СССР (по 7.5).
- 27.4. — Сирия расторгла военный союз с Ираком, заключенный 8.10.63 г.
- 30.4. — Посылка британских войск на усиление охраны границы Адена с Йеменом.
- 1.5. — Южновьетнамские коммунистические партизаны потопили в гавани Сайгона американский военный транспорт «Кадр» водоизмещением 15 700 тонн.
- Массовая антиправительственная демонстрация молодежи в Праге.
- 3.5. — Прокламирована новая временная конституция Ирака.
- 4.5. — В Женеве открылись переговоры 42 государств о таможенных тарифах («раунд Кеннеди»).
- 6.5. — Поездка Хрущева в Египет (по 25.5).
- 9.5. — Смена кабинета в Южной Корее. Чун Ир Квон назначен премьер-министром.
- 10.5. — Марко Роблес избран новым президентом Панамы.
- 11.5. — Подписание сводного акта на приемку всех сооружений Асуанского гидроузла.
- 13.5. — Манлио Брозио избран генеральным секретарем НАТО.
- Бразилия порвала дипломатические отношения с Кубой.
- 14.5. — Салах эль-Битар сформировал новое правительство Сирии.
- 17.5. — Умер Отто Куусинен, член Президиума ЦК КПСС.
- 18.5. — Переговоры между Румынией и США в Вашингтоне (по 1.6.).
- 21.5. — Подписан закон об аграрной реформе в Перу.
- 24.5. — Совместное заявление о переговорах между Хрущевым и Насером.
- 27.5. — Умер Джавахарлал Неру, премьер-министр Индии.
- 29.5. — Визит Ульбрихта в СССР (по 13.6.).
- 31.5. — Виктор Пас Эстенсоро переизбран президентом Боливии.
- 1.6. — Визит йеменского президента Саляля в КНР (по 10.6.).
- В Москве подписана консульская конвенция между СССР и США.
- Визит югославского президента Тито в Финляндию (по 7.6.).
- 2.6. — Совецание послов шести стран во Вьентяне по лаосскому вопросу (по 29.6.).
- 5.6. — Поездка императора Эфиопии Хайле Селласие в Кению, Танзанию и Занзибар.
- 6.6. — Румыния, Болгария и Венгрия начали в Женеве переговоры о вступлении в международную организацию Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ).
- 8.6. — Встреча между Хрущевым и Тито в Ленинграде.
- 9.6. — Поездка Эрхарда в Канаду и США (по 14.6.).
- Конференция по вопросам Южно-Аравийской Федерации в Лондоне (по 4.7.).
- Лал Бахадур Шастри сформировал новое правительство Индии.
- 10.6. — Открытие памятника Т. Г. Шевченко в Москве.
- 12.6. — Шведский полковник Стиг Веннерстрем приговорен к пожизненной каторге за шпионаж в пользу СССР.
- В Москве подписан Договор о дружбе, взаимной помощи и сотрудничестве между СССР и ГДР.
- 14.6. — Поездка Хрущева в Данию, Швецию и Норвегию (по 6.7.).

- Франсуа Дювалье избран пожизненным президентом республики Гаити.
- 16.6. — В Женеве закончилась Конференция ООН по торговле и развитию.
- 19.6. — Поездка делегации Верховного Совета СССР во главе с Микояном в Индию, Индонезию, Бирму и Афганистан (по 6.7.).
- 20.6. — Резолюция Совета Безопасности о продлении мандата вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре до 26.9.64.
- 21.6. — Поездка премьер-министра Турции Исмета Иненю в США, Англию и Францию (по 2.7.).
- 22.6. — Встреча Тито с Георгиу-Деж на румынско-югославской границе.
- 23.6. — Посол США в Южном Вьетнаме Генри Кэбот Лодж ушел в отставку. Его преемником назначен генерал Максвелл Тэйлор.
- Поездка греческого премьер-министра Папандреу в США и Францию (по 1. 7.).
- 24.6. — Визит главы государства Камбоджи принца Нородома Сианука в Париж.
- 25.6. — Поездка Тито в Польшу (по 2. 7.).
- Суд в Бонне вынес приговор по делу 26 хорватских эмигрантов, устроивших в ноябре 1962 года террористическое нападение на югославскую торговую миссию в Мелеме.
- 26.6. — Отставка коалиционного правительства Моро в Италии.
- 27.6. — Плебисцит о новой конституции Конго.
- 30.6. — Окончание военной акции ООН в Конго.
- Отставка правительства Адулы в Конго.

Copyright by „Possev“

Главный редактор **Н. Б. Тарасова**

Редакционная коллегия:

А. Н. Артемов, Л. Н. Дувинг (литературный секретарь),
Б. А. Нарциссов, А. Н. Неймирок, А. И. Поплюйко, В. Д. Самарин,
Б. А. Филиппов.

Адрес редакции журнала «Грани»:

Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M.-Sossenheim, Flurscheideweg 15

Условия подписки на «Грани»: цена отдельного номера 6 н. м.,
подписка на четыре номера — 22 н. м.

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

О Б Р А Щ Е Н И Е
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ, ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ
И ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА И НАУКИ,
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ

Доводим до сведения писателей, поэтов, литературных критиков, деятелей искусства и науки, не могущих опубликовать свои труды у нас на родине, что русское издательство «П О С Е В», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, *предоставляет эту возможность.*

Повести, романы, рассказы, стихотворения, литературоведческие, публицистические, философские и научные статьи будут опубликованы в журнале «Г р а н и».

Отдельные художественные произведения, сборники стихотворений, сборники статей и научные труды могут быть изданы также отдельными книгами.

В течение последних лет журнал «Г р а н и» опубликовал в семи номерах (№№ 32, 34-35, 36, 39, 43, 47 и 49) стихи, переданные из Советского Союза. Среди них стихотворения из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» (опубликованы анонимно еще до выхода за границы самого романа). Дважды журнал «Г р а н и» опубликовал прозу авторов, живущих в СССР (№ 32 и № 48). № 52 целиком посвящен материалам, переданным из Советского Союза, и содержит произведение Валерия Тарсиса «Сказание о синей мухе» и подпольный поэтический сборник московской молодежи «Феникс».

Издательство «Посев» уже выпустило отдельной книгой две повести В. Тарсиса: «Сказание о синей мухе» и «Красное и черное».

УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

1. Издательство «Посев» принимает рукописи, *подписанные также и псевдонимами.*

2. Издательство «Посев» обязуется немедленно *перепечатывать* присланные рукописи на пишущих машинках, чтобы уничтожить малей-

шую возможность установить личность автора по почерку или по шрифту его машинки. После перепечатки рукописи будут уничтожены. Издательство «Посев» гарантирует, что ни одна рукопись не попадет в чужие руки.

3. Все права на рукописи авторы передают издательству «Посев», включая сюда разрешение переводить рукописи на иностранные языки и печатать в любых странах за рубежом. Право на заключение договоров с иностранными издательствами также передается авторами издательству «Посев».

4. Издательство «Посев» обязуется откладывать авторский гонорар в размере, соответствующем установленным в издательстве ставкам. Деньги будут храниться в издательстве до того времени, когда автор найдет возможность их получить.

5. Сорок процентов чистого дохода от издания беллетристических произведений или научных трудов как на русском, так и на иностранных языках, поступают в распоряжение автора. Остальные шестьдесят процентов поступают в фонд издательства «Посев» для расширения печатной базы и покрытия расходов по бесплатному распространению в СССР, через подпольные каналы, журнала «Грани» и книг, в том числе и произведений данного автора.

6. Если автор хочет издать свое произведение за рубежом, но не в издательстве «Посев», издательство берет обязательство передавать рукописи в другие русские зарубежные и иностранные издательства по указанию автора. В таком случае издательство «Посев» берет на себя защиту интересов авторов.

7. Не принятые издательством «Посев» или другими зарубежными издательствами по каким-либо причинам рукописи будут храниться в неперепечатанном виде до того времени, пока автор не найдет возможным затребовать их обратно.

8. Во избежание возможных недоразумений при последующем установлении авторского права рекомендуется прилагать к рукописи «вещественный пароль». Например: половину узорно разрезанной открытки, копию какого-либо рисунка или чертежа и т. п. У себя автор сохраняет другую половину открытки, оригинал рисунка или чертежа и т. п. Когда автор сможет и захочет — он предъявит этот «вещественный пароль», который совпадает с «вещественным паролем», хранящимся в издательстве, и легко утвердит свое авторство и свои права.

ЧЕРЕЗ КОГО ПЕРЕСЫЛАТЬ РУКОПИСИ ИЗ СССР
В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»?

а) Через моряков торгового и военного флота, плавающих в иностранных водах.

б) Через туристов, посещающих государства свободного мира.

в) Через членов различных научных и общественных делегаций; спортивных команд, артистических групп, выезжающих из СССР за границу.

Примечание: Во всех этих случаях необходимо иметь доверенное лицо или личного друга, который не подведет и не предаст.

г) Через иностранных туристов, посещающих СССР, через иностранных артистов, спортсменов, ученых, моряков. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не обратиться по ошибке к ненадежному, нечестному человеку.

д) Через иностранные посольства — при имеющихся определенных связях и возможностях. И в этом случае требуется соблюдение осторожности.

На передаваемой рукописи указать следующий адрес:

Possev-Verlag
V. Gorachek KG
623 Frankfurt/M. - Sossenheim
Flurscheideweg 15

Издательство «Посев»
Франкфурт-на-Майне /Зоссенхайм
Флуршайдевег № 15

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ РУКОПИСИ ЗА РУБЕЖОМ

Для тех, кто привезет рукопись за границу, имеется два пути ее дальнейшей отправки по месту назначения:

1. ИЗ РУК В РУКИ

Представители издательства «Посев» есть во всех европейских странах, в Австралии, США, странах Южной Америки, Канаде, Северной Африке и др. Представители издательства «Посев» часто встречают моряков, туристов и делегатов, приезжающих из СССР в западные страны.

В связи с этим приехавший за границу имеет возможность связаться непосредственно с представителем издательства «Посев» и передать ему рукопись из рук в руки, указав в устной форме все свои пожелания.

2. ПО ПОЧТЕ

Для этого требуется надписать на пакете указанный адрес издательства «Посев» и бросить в почтовый ящик или сдать на почту в любом западном государстве.

В случае, когда покупка почтовых марок явится затруднительной, можно посылать пакет без марок. Рукопись все равно дойдет по адресу, почтовые же расходы по ее отправке в этом случае оплачивает получатель — издательство «Посев».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Участвуйте в духовной революции нашей Родины — РОССИИ!

Активно, свободно и горячо выражайте подлинное общественное и политическое мнение всей страны!

На российскую интеллигенцию, прежде всего, на молодежь, возлагается исторически ответственнейшая задача — стать свободным рупором нашего народа, его стремлений, чаяний, борьбы.

За свободное творчество!

За свободную Россию!

С дружеским приветом,
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»

Цена 6 нем. марок